

ISSN 2587-8719

ФИЛОСОФИЯ

ЖУРНАЛ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ

2020 — Т. IV, № 2

PHILOSOPHY

JOURNAL OF THE HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS

2020 · VOLUME IV · № 2

PHILOSOPHY

2020 IV (2)

PLACES AND MODELS OF EXISTENCE OF RUSSIAN PHILOSOPHY

<https://philosophy.hse.ru/> · philosophy.journal@hse.ru

ISSN: 2587-8719 · REGISTRATION: ЭЛ №ФС 77-68963

ROOM 417A, 21/4 STARAYA BASMANNAYA STR., 105066 MOSCOW, RUSSIA · +7 (495) 7729590 * 12032

EDITORS

Editor-in-Chief: Vladimir Porus (NRU HSE, Moscow)

Deputy Editor: Alexander Marey (NRU HSE, Moscow)

Executive Editor of the Issue: Andrey Teslya (IKBFU, Kaliningrad)

Executive Secretary: Maria Marey (NRU HSE, Moscow)

TeX Typography: Nikola Lečić (NRU HSE, Moscow)

Copy Editor: Sophia Porfirieva

Russian Proofreader: Yaroslav Mikhailov

EDITORIAL BOARD

Diana Gasparyan (NRU HSE, Moscow) · Viktor Gorbatov (NRU HSE, Moscow) ·

Yulia Gorbatova (NRU HSE, Moscow) · Stefan Hessbrüggen (NRU HSE, Moscow) ·

Irina Makarova (NRU HSE, Moscow) · Alexander Mikhailovskiy (NRU HSE, Moscow) ·

Sergey Nikolsky (IPH RAS, Moscow) · Alexander Pavlov (NRU HSE Moscow) ·

Petr Rezvykh (NRU HSE, Moscow) · Pavel Sokolov (NRU HSE, Moscow) ·

Maria Shteynman (RSUH, Moscow) · Andrey Teslya (IKBFU, Kaliningrad; PNU, Khabarovsk) ·

Anastasia Ugleva (NRU HSE, Moscow)

INTERNATIONAL ADVISORY BOARD

Zhang Baichun (Beijing Normal University) · Roger Berkowitz (Bard College, New York) ·

José Luis Villacañas Berlanga (Universidad Complutense de Madrid) ·

Claudio Sergio Nun Ingerflom (National University of San Martín, Buenos Aires) ·

Alexander Filippov (NRU HSE, Moscow) · Vladislav Lektorsky (IPH RAS, Moscow) ·

Teresa Obolevich (Pontifical University of John Paul II, Krakow) · Boris Pruzhinin (*Voprosy*

Filosofii Journal, Moscow) · Alexey Rutkevich (NRU HSE, Moscow) · Tatiana Schedrina (MSPU,

Moscow) · Tatiana Sidorina (NRU HSE, Moscow)

ФИЛОСОФИЯ

2020 — Т. IV, № 2

МЕСТА И МОДЕЛИ ВЫТОВАНИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ

<https://philosophy.hse.ru/> · philosophy.journal@hse.ru
ISSN: 2587-8719 · РЕГИСТРАЦИЯ: ЭЛ № ФС 77-68963
СТАРАЯ БАСМАННАЯ 21/4, 105066 МОСКВА (КОМ. 417А) · +7 (495) 7729590 * 12032

РЕДАКЦИЯ

Главный редактор: Владимир Порус (НИУ ВШЭ, Москва)
Заместитель главного редактора: Александр Марей (НИУ ВШЭ, Москва)
Выпускающий редактор: Андрей Тесля (БФУ им. И. Канта, Калининград)
Ответственный секретарь: Мария Марей (НИУ ВШЭ, Москва)
Технический редактор: Никола Лечич (НИУ ВШЭ, Москва)
Литературный редактор: Софья Порфирьева
Корректор: Ярослав Михайлов

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Диана Гаспарян (НИУ ВШЭ, Москва) · Виктор Горбатов (НИУ ВШЭ, Москва) ·
Юлия Горбатова (НИУ ВШЭ, Москва) · Ирина Макарова (НИУ ВШЭ, Москва) ·
Александр Михайловский (НИУ ВШЭ, Москва) · Сергей Никольский (ИФ РАН, Москва) ·
Александр Павлов (НИУ ВШЭ, Москва) · Петр Резвых (НИУ ВШЭ, Москва) ·
Павел Соколов (НИУ ВШЭ, Москва) · Андрей Тесля (БФУ им. И. Канта, Калининград) ·
Анастасия Углева (НИУ ВШЭ, Москва) · Штефан Хессбрюген (НИУ ВШЭ, Москва) ·
Мария Штейнман (РГГУ, Москва)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Хосе-Луис Вильяканьяс Берланга (Университет Комплутенсе, Мадрид) · Чжан Байчунь
(Пекинский педагогический университет) · Тереза Оболевич (Папский университет
Иоанна Павла II, Краков) · Роджер Берковиц (Бард-колледж, Нью-Йорк) ·
Клаудио Серхио Нун Ингерфлом (Национальный университет Сан-Мартин,
Буэнос-Айрес) · Алексей Ружкевич (НИУ ВШЭ, Москва) · Александр Филиппов
(НИУ ВШЭ, Москва) · Татьяна Сидорина (НИУ ВШЭ, Москва) · Владислав Лекторский
(ИФ РАН, Москва) · Борис Пружинин (журнал «Вопросы философии», Москва) ·
Татьяна Щедрина (МПГУ, Москва)

CONTENTS

[From the Executive Editor of the Issue] 9

PUBLICATIONS

ANDREY TESLYA

Shest' besed i dve stat'i o Mikhaile Geftere

[Mikhail Gefter: Six Conversations and Two Articles] 13

ANDREY TESLYA

Dva razgovora s Glebom Pavlovskim o Mikhaile Geftere

[Two Conversations with Gleb Pavlovsky About Mikhail Gefter] 16

GLEB PAVLOVSKIY

Al'ternativy i protivoal'ternativy v deystvii i v istorii

[Alternatives and Counter-Alternatives in Action and in History] 30

ANDREY TESLYA

«Russkiy vopros — eto odin iz voprosov u Geftera vedushchikh» : beseda s Mikhailom Rozhanskim

[“The Russian Question is One of Gefter’s Main Questions” : A Conversation with Mikhail Rozhanskiy] 54

ANDREY TESLYA

«...Kazhdyy raz nachinayet-sya s segodnyashnego dnya» : beseda s Klaudio Serkhio Ingerflomom

[“...Every Time It Starts From Today” : A Conversation With Claudio Sergio Ingerflom] 92

ANDREY TESLYA

«Avtor — voprosatel' togo, kak dumat' ob istorii» : beseda s Valentinom Gefterom

[“The Author is a Questioner, How to Think About the History” : A Conversation with Valentin Gefter] 111

ANDREY TESLYA

«Lenin zanimal yego chrezvychayno mnogo» : beseda s Vyacheslavom Igrunovym

[“Lenin Extremely Interested Him...” : A Conversation with Vyacheslav Igrunov] 144

STUDIES. PART 1

GLEB PAVLOVSKIY, KONSTANTIN GAAZE

Marks i teoriya sobytiya Mikhaile Geftera

[Marx and Michael Gefter’s Theory of the Event] 165

VIKTORIYA FAYBYSHENKO

Po tu storonu printsipa vnenakhodimosti : sobytiye revolyutsii i problema metazyka
v sovet-skoy mysli 1960-kh gg.

[On the Other Side of the “Vnenakhodimost’” Principle : The Event of the
Revolution and the Problem of Metalanguage in Soviet Thought of the
1960s]

203

STUDIES. PART 2

FEDOR GAYDA

«Russkaya intelligentsiya»: rozhdeniye ponyatiya

[“Russian intelligentsia”: the Birth of the Concept]

229

ALEKSEY PANCHENKO

Ot obshchego k chastnomu i obratno : osobennosti proizvodstva znaniya narodnikami

[From the General to the Quotient and Backward : Peculiarities of Knowledge
Production by the Populists]

249

ANDREY TESLYA

A. I. Gertsen v istolkovaniyakh G. V. Florovskogo i kontseptsiya istorii russkoy filosofii
v «Putyakh russkogo bogosloviya»

[A. I. Herzen in the G. V. Florovsky Interpretations and the Concept of the
History of Russian Philosophy in “The Ways Of Russian Theology”]

282

TAT'YANA REZVYKH, GENNADIY ALYAYEV

Lyudvig Binsvanger: mezhdru metafizikoy S. L. Franka i analitikoy prisut-stviya M. Khay-
deggera

[Ludwig Binswanger: Between the Metaphysics of Simon L. Frank and Martin
Heidegger's Analytics of Dasein]

308

СОДЕРЖАНИЕ

От выпускающего редактора 9

ПАМЯТИ МИХАИЛА ГЕФТЕРА ПЕРЕВОДЫ И ПУБЛИКАЦИИ

АНДРЕЙ ТЕСЛЯ Шесть бесед и две статьи о Михаиле Гефтере	13
АНДРЕЙ ТЕСЛЯ Два разговора с Глебом Павловским о Михаиле Гефтере	16
ГЛЕБ ПАВЛОВСКИЙ Альтернативы и контральтернативы в действии и в истории	30
АНДРЕЙ ТЕСЛЯ «Русский вопрос — это один из вопросов у Гефтера ведущих» : беседа с Михаилом Рожанским	54
АНДРЕЙ ТЕСЛЯ «...Каждый раз начинается с сегодняшнего дня» : беседа с Клаудио Серхио Ингерфломом	92
АНДРЕЙ ТЕСЛЯ «Автор — вопрошатель того, как думать об истории» : беседа с Валенти- ном Гефтером	111
АНДРЕЙ ТЕСЛЯ «Ленин занимал его чрезвычайно много» : беседа с Вячеславом Игруно- вым	144

ГЕФТЕР: ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛЕБ ПАВЛОВСКИЙ, КОНСТАНТИН ГААЗЕ Маркс и теория события Михаила Гефтера	165
ВИКТОРИЯ ФАЙБЫШЕНКО По ту сторону принципа вневходимости : событие революции и проблема метаязыка в советской мысли 1960-х гг.	203

КОНЦЕПТЫ (САМО)ОПИСАНИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ
ИССЛЕДОВАНИЯ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ФЕДОР ГАЙДА «Русская интеллигенция»: рождение понятия	229
АЛЕКСЕЙ ПАНЧЕНКО От общего к частному и обратно : особенности производства знания народниками	249
АНДРЕЙ ТЕСЛЯ А. И. Герцен в истолкованиях Г. В. Флоровского и концепция истории русской философии в «Путиях русского богословия»	282
ТАТЬЯНА РЕЗВЫХ, ГЕННАДИЙ АЛЯЕВ Людвиг Бинсвангер: между метафизикой С. Л. Франка и аналитикой присутствия М. Хайдеггера	308

ОТ ВЫПУСКАЮЩЕГО РЕДАКТОРА

Второй номер журнала по сложившейся с 2017 г. традиции посвящен истории русской мысли. На сей раз он посвящен двум основным сюжетам: во-первых, интеллектуальному наследию Михаила Гефтера (1918–1995) и, во-вторых, осмыслению ряда ключевых концептов (само)описания русской интеллектуальной истории. В обоих случаях речь идет об осмыслении сложных интеллектуальных феноменов в плотном контексте — начиная с идейных влияний и отталкиваний вплоть до институциональных аспектов формирования и развития философских идей.

Блок материалов, посвященный памяти Михаила Гефтера, открывается серией интервью с его учениками и близкими — ГЛЕБОМ ПАВЛОВСКИМ, МИХАИЛОМ РОЖАНСКИМ, КЛАУДИО ИНГЕРФЛОМОМ, ВАЛЕНТИНОМ ГЕФТЕРОМ и ВЯЧЕСЛАВОМ ИГРУНОВЫМ. Дополнительный интерес представляют фотографические материалы, основная часть которых любезно предоставлена для публикации наследниками Михаила Гефтера. В качестве приложения к интервью с Глебом Павловским мы публикуем 1-ю главу из его готовящейся к публикации книги, «Слабые», содержащую фрагменты бесед Глеба Павловского с Михаилом Гефтером и комментарии первого к ним.

Продолжают гефтеровскую тематику номера две статьи — исследование ГЛЕБА ПАВЛОВСКОГО и КОНСТАНТИНА ГАЗЕ, посвященное реконструкции гефтеровской теории события, и статья ВИКТОРИИ ФАЙБЫШЕНКО, анализирующая особенности функционирования и проблематизации идеологического дискурса в рефлексии позднесоветских философов, в первую очередь Михаила Гефтера, Эвальда Ильенкова и Михаила Лифшица.

Второй блок исследований посвящен концептам (само)описания истории русской мысли и открывается статьей ФЕДОРА ГАЙДА, анализирующей процесс появления и оформления понятия «интеллигенция» в России. Работа АЛЕКСЕЯ ПАНЧЕНКО посвящена особенностям производства знания «народниками» в 1870–90-е гг. и выделению общих характерных черт интеллектуальной эволюции народников-этнографов. Статья АНДРЕЯ ТЕСЛИ рассматривает эволюцию интерпретаций философского наследия А. И. Герцена в работах Г. В. Флоровского 1920-х — 1-й пол. 1930-х гг. и отражение выработанной им концептуальной схемы в «Путиях русского богословия». Замыкающая номер статья ТАТЬЯНЫ

РЕЗВЫХ и ГЕННАДИЯ АЛЯЕВА анализирует онтологию и гносеологию Людвига Бинсвангера в контексте концепций Семена Франка и Мартина Хайдеггера.

Андрей Тесля

ПАМЯТИ МИХАИЛА ГЕФТЕРА

ПЕРЕВОДЫ И ПУБЛИКАЦИИ

PUBLICATIONS

АНДРЕЙ ТЕСЛЯ*

ШЕСТЬ БЕСЕД И ДВЕ СТАТЬИ О МИХАИЛЕ ГЕФТЕРЕ**

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-2-13-162.

Первоначальный замысел этого раздела восходит к 2018 г., к Первым Гефтеровским чтениям, прошедшим в Иркутске в сентябре того года, в первую очередь, трудами Центра независимых социальных исследований в Иркутске (ЦНСИО) — к столетней годовщине со дня рождения Михаила Яковлевича Гефтера (1918–1995)¹. Тогда это была совершенно туманная задумка — связанная с собственными вопросами о том, чем может быть интересен Гефтер теперь, не превращается ли он в предмет сугубо исторического интереса — с некоторой толикой мемориального — понятной привязанности к памяти о нем со стороны тех, кто был с ним знаком, учился у него, на кого он повлиял когда-то. Трудностями собственного понимания — почему эти тексты, которые читаешь с трудом, которые кажутся все время идущими «мимо», отвечающими на какие-то вопросы, которые остаются не сформулированными в тексте и которые не очень понятно, как именно реконструировать — почему эти тексты столь значимы для собеседников, представляются им дающими какое-то другое видение, понимание реальности — и от этого недоумения нельзя никак отмахнуться, поскольку в свою очередь способны видеть и понимать, присутствующие этим собеседникам — принципиально важны для тебя самого.

Год спустя, в суматохе подготовки Вторых Гефтеровских чтений, в диалогах с коллегами из ЦНСИО замысел стал приобретать первые

*Тесля Андрей Александрович, к. филос. н., старший научный сотрудник, научный руководитель (директор) Центра исследований русской мысли Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (Калининград), mestr81@gmail.com, AnATeslya@kantiana.ru.

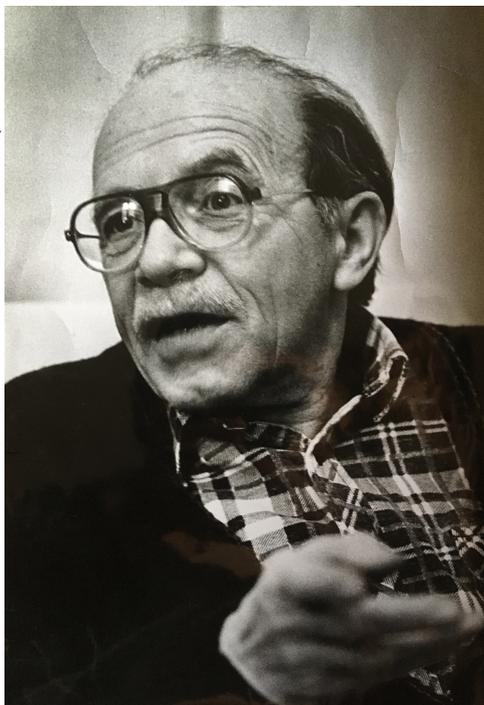
**© Тесля, А. А. © Философия. Журнал Высшей школы экономики. Работа поддержана из средств субсидии, выделенной на реализацию Программы повышения конкурентоспособности БФУ им. И. Канта в рамках Проекта 5–100.

¹Состоялись 17–18 сентября 2018 г. См. программу: <http://cnsio.ru/pervye-gefterovskie-chteniya>.

реальные очертания — оказалось, что далеко не у одного меня возникали подобные вопросы и сомнения, и отнюдь не частным интересом диктовалось стремление «разомкнуть» Гефтера, по крайней мере, попытаться это сделать. Первоначально думалось сделать пару небольших интервью — опубликовать их перед началом чтений как своего рода введение к ним. Как обычно и бывает — в срок ничего не получилось, сами Чтения уже прошли, но стремление проговорить и прояснить сохранилось, так что замысел быстро трансформировался. Поскольку ушла срочность, можно было уже не торопиться — а поскольку оказалось, что созревавший проект вызвал теплый прием в редакции «Философии. Журнал НИУ ВШЭ», то стало возможным настроиться на долгий разговор.

В итоге возникла та серия текстов, которая теперь выходит в свет. Из первоначальных очерков и зарисовок, представленных Константином Гаазе и Викторией Файбышенко на Вторых Гефтеровских чтениях (15–17 сентября 2019 г.)², претерпев сложное развитие, выросли представленные в данном номере статьи, позволяющие оценить как теоретическую силу, так и актуальное значение гефтеровской мысли в ее историческом контексте.

Двойному преломлению — как «времени и месту» прошлого, так и перспективе, исходящей из настоящего момента — по самой природе жанра



М. Я. Гефтер (1980-е). Фото из семейного архива Гефтеров. / M. Gefter (1980s).

²См. программу: <http://cnsio.ru/gefterovskie-chtenia/2019>.

посвящены шесть бесед о Михаиле Гефтере. Два разговора с Глебом Павловским были записаны в Иркутске (17.IX.2019) и в Москве (26.IX.2019) — в приложении к ним публикуется первая глава готовящейся к выходу осенью этого года книги Глеба Павловского «Слабые». Беседа с Михаилом Рожанским состоялась 5 и 6 ноября 2019 г. в Иркутске, а уже в 2020 г. были записаны разговоры с Клаудио Ингерфломом (23.V.2020), Валентином Гефтером (29.V.2020) и Вячеславом Игруновым (31.V.2020) — по условиям нашего карантинного времени беседовать пришлось online. Важной частью этой серии бесед являются фотографии, в первую очередь позаимствованные из семейного архива Гефтеров — за возможность представить их публике глубоко благодарю, прежде всего, Асию Гефтер, чьими советами и содействием имел счастливую возможность пользоваться при подготовке данного номера.

Teslya, A. A. 2020. "Shest' besed i dve stat'i o Mikhaile Geftere [Mikhail Gefter: Six Conversations and Two Articles]" [in Russian]. *Filosofiya. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki* [*Philosophy. Journal of the Higher School of Economics*] IV (2), 13–15.

ANDREY TESLYA

PHD IN PHILOSOPHY, SENIOR RESEARCH FELLOW, SCIENTIFIC DIRECTOR RESEARCH CENTER
FOR RUSSIAN THOUGHT, INSTITUTE FOR HUMANITIES,
IMMANUEL KANT BALTIC FEDERAL UNIVERSITY, KALININGRAD

MIKHAIL GEFTER: SIX CONVERSATIONS AND TWO ARTICLES

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-2-13-162.

АНДРЕЙ ТЕСЛЯ*

ДВА РАЗГОВОРА С ГЛЕБОМ ПАВЛОВСКИМ О МИХАИЛЕ ГЕФТЕРЕ**

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-2-13-162.

РАЗГОВОР ПЕРВЫЙ (17.IX.2019, ИРКУТСК)

Андрей Тесля: Вы познакомились с Гефтером в 1970 г. Собственно, кто в это время в этой оптике для вас Гефтер?

Глеб Павловский:¹ Учитель. Мы приехали в Москву нашей тогдашней одесской странноватой философской коммуной, со списком учителей жизни — выбирать. И обходили этих учителей. Собственно, первым стал Генрих Батищев — философ, диалектик достаточно известный. А он уже меня направил к Гефтеру.

Но Гефтер был у нас в списке. Потому что список формировался на базе крамольного сборника «Историческая наука и некоторые проблемы современности». Поэтому там были Гефтер, Арсеньев, Библер, кажется, Трубников.

А. Т.: Поскольку сборник все время вспоминается в разных контекстах, то отсюда вопрос — а что тогда настолько помещало его в фокус внимания, что делало его из ряда вон выходящим?

Г. П.: Абсолютная случайность — произвол тематики, свободная речь. Но — случайность в стиле, который любит Константин Гаазе — которая является кумулятивной необходимостью.

Сборник я нашел, перебирая книги в юношеской библиотеке Одессы. Как он туда попал — я не знаю.

Но я сразу, открыв, обратил внимание на его структуру.

*Тесля Андрей Александрович, к. филос. н., старший научный сотрудник, научный руководитель (директор) Центра исследований русской мысли Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (Калининград), mestr81@gmail.com, AnATeslya@kantiana.ru.

** © Тесля, А. А. © Философия. Журнал Высшей школы экономики. Работа поддержана из средств субсидии, выделенной на реализацию Программы повышения конкурентоспособности БФУ им. И. Канта в рамках Проекта 5–100.

¹Глеб Олегович Павловский, директор Русского института (Москва).

Это было время очень жестких и притом обязательных форм языка — и форм публикаций выраженного. Начало «второго оледенения», суловской чистки гуманитарных наук. А сборник выделялся тем, что в нем, во-первых, были дискуссии — по каждому вопросу за статьей следовала некая стенограмма обсуждения, более интересная, иногда, чем основной доклад. И конечно, статья Гефтера о Ленине. Я попытался ее сразу прочесть, сломал о нее зубы и начал уже читать медленно. Собственно, я ее тему даже не помню, что-то об аграрном вопросе. Это был... просто совершенно божественный процесс вхождения — трудного, но заслуженного. Когда мозг чувствует, что «заработал своей обед».

Значит, преодолевая... Ведь там не было, это я хорошо помню, специальных усложнений — оборотов и гегельянских конструкций, отсекающих «профанов». Простой на вид русский язык, которым обсуждались совершенно необычные вещи. И даже не особенно важно, что дело касалось Ленина, как основателя данного государства, в котором мы жили и в механизме которого пытались разобраться. А важен был сам способ мыслить — наглядное как сложное. Мы начинаем здесь и сейчас, не откладывая, обсуждать то, что касается... нашей жизни.

Этот сборник меня очень сильно толкнул в сторону марксизма и диалектики как метода. Последнее статьей Арсеньева, которая там была...

Михаил Рожанский: «Историзм и логика [в марксистской теории]».

Г. П.: Да. Прокламация тотальной диалектики как открытой системы. Диалектика может все — и мы всем сейчас это покажем. Показывать он не показывал, но, в принципе, у него даже сильнее, чем у Батищева, был выражен этот пафос. Марксизм как открытая система, кажется.

А мы чувствовали, что живем в системе, которая закрывается... Видеть все это напечатанным — уже было необычно.

Благодаря этому сборнику Гефтер попал в список ближайших целей, особенно для меня. И в итоге оказался главным моим попаданием. Мальчишка выбежал на улицу и налетел на Сократа.

А. Т.: Хорошо. Здесь такая тропинка от Батищева...

Г. П.: Батищев — это, конечно, учение о человеческой деятельности, деятельная сущность как философский принцип. Мы пришли к нему — и он нас принял, поселил у себя. Сейчас трудно такое представить в Москве, а тогда он нас принял и действительно ближайшие несколько лет он был моим гуру.

А Гефтер... с Гефтером мы познакомились потом, он мне написал — о Марксе, что тоже было необычно. К сожалению, наша переписка пропала на обывках.

И в 1972 мы уже основательно вступили в общение...

А. Т.: А все-таки формулируя более жестко — 72-й, ближайшее к этому время, еще раз возвращаясь к исходному: Кто и что в это время для вас в вашей оптике Гефтер? Что он из себя представляет? Чем он является для внешнего взгляда, чем он является для вас тогда?

Г. П.: Гефтер был марксист, совместимый с чтением самиздата. Человек, который правильно, то есть опасно мыслит Маркса и Ленина. Мне это было близко. В это время мы уже глубоко зашли в самиздат. Я хотел мыслить главные вещи в открытом языке, не на сленге. Центральной проблемой была, конечно, демаркация — где мы и кто мы? В какой точке событийной вселенной Октября?

Потому что Советский Союз легитимировал себя как исторический процесс, представал длящимся историческим событием.

Но тогда — в каком месте этого события мы расположены? Для нас это был абсолютно жизненный вопрос. Из него следовало — что дальше? Как войти в эту историю, кем в ней быть — или просто укрыться от нее, закрыться, как делали многие из наших сверстников?

Я не хотел закрываться, я хотел — войти.

Поэтому Гефтер был как бы маршрутизатором, что ли... По аутентичному своему взгляду на происхождение моей страны, Советского Союза — и на мировую историю, где у него была мощная подводка. И все это было завязано на главное — на проблему действия.

Он дал почитать статьи, отражавшие тогдашний его взгляд на проблему действия — «Марксизм и проблема исторического действия», эссе о Гамлете... И «Диалог о народничестве» — в одной из ранних версий.

Вся эта сцена была близка нашей. Мы тоже кружили в темах народничества, к тому времени я перечитал уже много народнической литературы. Гефтер предлагал систему координат. Он учил мыслить окружающее как историю, как ее фрагмент, как событие. Быть может, я недостаточно жестко говорю? Дело в том, что я не искал, кто бы мне объяснил, как бороться с советской властью или быть «настоящим марксистом». Наверное, я бы нашел, если бы искал этого.

Гефтер мне показал, как мыслить, не попадая в чужие сети.

Но поначалу я ближе общался с Генрихом Степановичем Батищевым. Тот был в переходе от марксистской диалектики к...

М. Р.: ...к экзистенциализму.

Г. П.: Это нет! Он шел к теологии, но сложными путями. В этот период он через «Агни-йогу» проходил. Искал совершенства, как очень многие в Москве тогда.

Уже тогда «история» для меня значила больше, чем специальность, предмет. Она казалась не менее емкой, чем диалектика. А понятия «исторический метод» и «диалектический метод» для меня были почти идентичны — быть может, в силу невежества. Зато у нас [с Гефтером] рано пошло сближение по ряду позиций. За исключением раннего «антропологического» Маркса, тут он меня сразу разнес, за мои розовые сопли. Он показал мне Маркса-стойка. Это первое меня ошеломившее из времени первых бесед: Маркс-стойк. И стойком должен быть всякий, кто хочет войти в историю, тем более ей заниматься. Потому что слишком многое надо стерпеть и прощать...

Но это уже некоторое, быть может, выпрямление — я не уверен, что желание «прощать» во мне было тогда.

Но была близка мысль: что история поглощает смертельные конфликты в прошлом. Они не исчезают — наоборот, проявляются, но уже не можешь встать на чью-то сторону, не выпав из процесса, не взяв себе роль какого-то абсурдного судьи. Тогда это в первую очередь касалось, конечно, Сталина.

Ведь я начал читать самиздат — и мне сразу не понравилось, как пишут о Сталине. Как о закрытой исторической теме. Понятой, оцененной и снятой.

А. Т.: Любопытно, что несколько из тех ключевых понятий, которые я намечал для себя, готовясь к разговору, только что были произнесены. Это действие, практика, практичность — и вопрос, который должен был быть следующим. Тот интерес к Гефтеру, который сейчас формулировался, — если я правильно понимаю, если я правильно свожу — он заключен в интересе к пониманию устройства системы, системы координат, для того чтобы практически в ней сориентироваться, для возможности действия, для возможности производства исторического действия.

И у меня в связи с этим два связанных вопроса. Первое: Гефтер здесь воспринимается как тот, кто дает руководство к действию... То есть не руководство, а точнее так: как тот, кто дает ориентиры, кто дает какую-то карту или возможность создать карту реальности. И интерес к Гефтеру, который здесь фиксируется, тот запрос, который существует, он в любом случае связан с практикой? То есть Гефтер сам в этой системе координат, Гефтер сам в этой системе представлений — он как-то относится в вашей оптике к тому, кто сам связан с действием? Действующим?

Г. П.: Конечно — относится. Ведь он как раз тогда был в борьбе с Академией. Иначе он мне не был бы так остро интересен. Но для

меня было важно и то, что он действует, не покидая теории, раздвигает ее пределы.

Примат истории в тогдашнем молодежном понимании означал — примат действия. Что еще точнее — императив поступка. Я пришел к Гефтеру «лавристом», был фанатом Петра Лаврова. Его «Исторические письма» описывают и мое тогдашнее представление, зачем жить. Мы сразу много говорили о народничестве, о том, чем была народническая культура «поступка» и о коварстве поступка, превращенного в абсолютный моральный императив.

А. Т.: И тогда мой второй вопрос — если в этой плоскости, то каким образом действует Гефтер? Что является его историческим действием? Если он выступает в качестве одного из гуру, то чему он учит? Если мы говорим о проблеме исторического действия — и он является здесь учителем, то ведь здесь должен, по логике вещей, если мы уж вспоминаем Лаврова, вспоминаем «Исторические письма», быть поступок, который реализуется самим говорящим.

Г. П.: А... (*вздыхает*) Во-первых, Гефтер задает для моей тогдашней точки зрения, для меня, полноценный контекст. Находясь с ним и выслушивая его бесстрашное высказывание истины, причем как я слышу из его интонации, истины устанавливаемой им самим в момент ее высказывания, я попадаю в сердцевину свободной речи и оказываюсь в самом, извиняюсь, ядре логоса. От него я не требую ничего большего. Он генератор сверхдостаточного для меня истинного контекста. И я не требую от него каких-то добавочных действий. Так работает парресия, но тогда я, конечно, не знал этого понятия.

Я был у ног учителя, слушал его — и мне этого достаточно. И не планировал сам стать историком, каким-то советским гуманитарием. А он — сделал больше того, чего я мог бы ждать от советского гуманитария. Он поставил свои идеи выше своих социальных перспектив, заплатил за это.

Я ведь как раз встречаюсь с ним в то время, спустя несколько месяцев после крушения всех его бастионов, Сектора методологии и второго — в разделенном Институте всеобщей истории.

И он мне показывает — как видеть вещи с их истинной стороны. Нет запроса от меня — Михаил Яковлевич, научите меня, что делать. Он скорее меня придерживает на трудных местах.

Там, в частности, было очень важно, что он объяснил опасность такого хода, опасность экстранравственности. Когда нравственная экстрема как будто дает тебе право на все. Он показывал, что экстремизм этики — именно этики, не номинальной морали, и не идеологии — ведет

к катастрофе. То, что он называет «движением мысли» — видимо, вслед за Писаревым и Чернышевским...

Так вот, он отсекает эти соблазны — довольно быстро. То есть, с одной стороны, «кондитерской антропологии» раннего Маркса, который якобы был прекраснодушен, а после набежала толпа плохих людей — и все испортила, а с другой — очень близкий к нему, в сущности, соблазн экстранравственности.

Гефтер засадил меня за позднего Маркса, за два знаменитых тома дополнительных, 47-й и 48-й... Протащили их публикацию под видом «предварительных» вариантов «Капитала» — «Экономические рукописи 1861–63 гг.».

В это же время я, через самиздат, постепенно втягиваюсь в среду диссидентства в Одессе. Но опять он здесь постоянно тормозит мои резкости, усложняя каждую постановку вопроса. Гефтер — усложнитель вопросов. И у меня в разговоре развивается представление о том, что проблемы, которые для меня жизненно важны, еще недопоставлены. Они еще должны быть поставлены и раскрыты.

А. Т.: А перепрыгивая через годы и переходя к другому. На [вторых] Гефтеровских чтениях, в первый день, было сказано нечто довольно типовое — что для Гефтера, как и для целого ряда других, было принципиальным пытаться влиять на власть, разговаривать с властью и т. д. У меня из этого возникает совершенно другой вопрос, как раз связанный с поздним Гефтером конца 80-х — первой половины 90-х. Хорошо, одна сторона — это стремление влиять на власть, стремление говорить с властью. Но меня интересует другое: а что делает в этих условиях голос Гефтера тем, который звучит, да?

Г. П.: Когда? Нужно уточнять эпоху.

А. Т.: Тот же самый конце 80-х — начало 90-х. Что делает его заметной фигурой, тем, чей голос хоть в какой-то степени слышен? Что придает ему вес? Что делает его возможным? Пусть и на уровне слабого, но, тем не менее, различного голоса — присутствующим в этом разговоре, а не в монологе с властью? В чем источник хоть какого-то влияния?

Г. П.: Здесь есть общий ответ, средовой — и личный.

В средовом отношении, перестройка начинается как партийная реабилитация «золотых перьев» партии, изверженных из нее в ходе чисток 1968–70 гг. И те, кто начинают реабилитацию, дальше этого поначалу идти не собираются. А начинают ее прежде все те, кто в конце 60-х — начале 70-х сам еле удержался на самом краю, как Черняев. Например,

Лен Карпинский и Черняев были примерно в одной номинации, но Лен ушел налево, а Черняев направо...

Гефтер, безусловно, принадлежит к среде изверженных — с точки зрения тех, кто начинает реабилитацию. На 1970-й год квартира Гефтера — это некоторый интеллектуальный «хаб», известный в Москве, один из основных для гуманитарных наук. Библеровский семинар, встречи у Пятигорского, даже диссидентство — это сложится после. В 1968–1969-м году, когда решался вопрос об аресте Гефтера — еще никакого диссидентства нет, есть гражданское демократическое движение. Почему бы в другой версии основным политическим показательным процессом было не стать вместо процесса Якира-Красина, процесс, скажем — Гефтера-Карпинского? Это ближе к концепции Семчастного — он считал, что опасны не политический, а гуманитарный подшерсток.

Гефтер абсолютно иначе живет и действует после того, как он оказывается еретиком. Он не пытается устроиться в тихой заводи, чего от него ждали, где-то в системе, гуманитарной. Практически все так поступили. А он не стал. Потом диссидентство — это замеченный многими ход.

Про историка Удальцову, большую величину в командовании наукой, кто-то говорил, что Гефтер (о чем он так и не узнал) сыграл роль в ее смерти. Какую? Она прочитала в журнале «XX век и мир» интервью Гефтера. А до того была уверена, что этот «ярый антисоветчик» давно посажен или уехал на Запад — а значит не может ничего такого писать. Вдруг она видит его интервью в официальном, почти ЦКовском издании. Это было для нее сильнейшее потрясение, после которого она быстро сошла в могилу. Можно себе представить, как Гефтера воспринимали в Академии!

Его диссидентство было замечено — «Поиски» и т. д. И он еще раз прошел по краю перед возможностью ареста, в 82-м. Это, в общем, известно.

Сборники «Поиски» и «Память» — они создали какую-то другую картину. Его никак нельзя было спутать с Карякиным, например.

Но интересный вопрос — почему он писал властям. Ведь он никогда не выступал, в отличие от практически всех остальных из этого поколения шестидесятников, с идеей, что надо держаться поближе к власти — чтобы воздействовать на власть. У него есть пара памфлетов очень злых именно против, в частности, Лакшина — именно против такой позиции.

Но он считал... (*посмеивается*): «Мы здесь власть». Поэтому он мог во время обсуждения конституции писать с Левадой свой вари-

ант конституции. Он считал себя принадлежащим, видимо, к кругу учредителей этой системы.

А. Т.: Но одно дело, что он считал — но здесь получается, что он отчасти и считался таковым. Он считал с основаниями.

Г. П.: Ну да. Анатолий Черняев — когда еще почти ничего не сдвинулось в режиме — стал осторожно захакивать к Гефтеру — по вечерам, как стемнеет. Они выгуливали гефтерова пса Топа и беседовали. А ведь он перед этим порвал с Гефтером еще в 70-м году. И вот в восемьдесят шестом возвращается — как ни в чем ни бывало.

То есть Гефтер продолжает считаться каким-то скрытым имамом, полусвоим-получужим. В это время у него и появляется Юрий Афанасьев. Видимо, Черняев Гефтеру его прислал — и дальше Афанасьев очень плотно с ним общается. Гефтер передает Горбачеву письма, скорее всего, через Черняева.

М. Р.: Через Черняева, это точно. Он говорил.

Г. П.: И эти письма доходят. С одной стороны, это манера, не чуждая диссидентству — писать письма власти. И требовать чего-то. С другой стороны, он вносит в это дух XIX века, века писем. Он ценил письмо «Народной воли» царю Александру после 1 марта [1881], сочиненное Львом Тихомировым. Оно ему очень нравилось — как после этого страшного убийства отца его сыну предлагают примирение.

М. Р.: Ну, и... о письме Гамсахурдия Ленину.

Г. П.: Да, тонкий гефтеровский разбор письма 1921 года.

М. Р.: ... несостоявшийся диалог.

Г. П.: Гефтер сильно посмеивался, когда я перед арестом, в 1981 начал зачем-то писать наставительные письма в Политбюро, так сказать, учить вождей... Но сам он был не чужд этого. Здесь, понимаете, проблема русской власти. Она была нашей темой все эти годы. С момента, когда мы с ним познакомились, до самой его смерти. Пульсируя, солируя, присутствовала в той или иной форме, во всех вариантах — от противостояния до исторического компромисса. Но никогда не исчезала.

И как раз в этой проблеме у нас были большие разногласия. То сильные, то поменьше.

А. Т.: А если постараться ядро этих разногласий определить?

Г. П.: Гефтер исповедовал идею русского социума власти. Что Россия существует в реальности — только в пределах власти. Эта власть — негосударственная, и сама не может себя ограничить и определить. Что порождает вневластные группы тех, кто хочет установить ей за нее пределы. И в этом процессе, «мыслящем движении», появляется

интеллигенция, которая выступает одновременно субститутотом государственности и субститутотом общества.

Со всем этим я соглашался. Разногласия же были в том, что меня всегда тянуло к политизации идей, а старика это тревожило. Здесь нужно пояснить — дело в том, что в диссидентстве власть не считалась целью и не была даже мишенью в собственном смысле слова. Люди, мыслящие политически, в диссидентстве считались опасными. На них посматривали косо. Мой друг Вячеслав Игрунов, который любил политику, раздражал среду. Я хорошо помню: «А, опять этот Игрунов о политике!».

Я был близок к Игрунову, но мне хотелось какой-то неполитической политики, не политической. Об этом, собственно говоря, мой первый текст, в самиздате написанный по просьбе самого Игрунова, еще в 1972 году. В нем я предлагал охватить Советский Союз сетью «координаторов неформальной контркультуры». Собственно, я говорил прозой — ведь самиздат и был этой сетью неформаторов. А когда перестал ею быть, просто исчез.

У меня была склонность политически заострять или сдвигать их к потенциальной платформе. Но для Гефтера всегда там, где возникал политический поворот, возникал и вопрос — а где здесь «табу»? Где осевой запрет на не-должное? Это не-должное не было у него моралистической догмой, идущей «от обратного». Оно не реактивно. Это внутреннее ограничение должно быть присуще самому действующем субъекту. Оно в нем, но оно ему не принадлежит — и он не смеет им манипулировать. Не смеет подделывать разделительную черту должного и недолжного, разрешенного и неразрешенного.

Это Гефтера всегда тормозило в его собственных политических выступлениях. В том числе и в самом последнем, где вначале чеченской войны он предлагает обществу «кодекс ненасильственного сопротивления». Это чисто политическая акция. Историк выступает с радикальным политическим шагом. Но если открыть его кодекс и посмотреть, что им предлагается — вы с изумлением обнаружите, например, что там вообще нет электоральных действий, направленных на выборы. Не упоминается вообще такой институт, как демократические выборы. Там десять пунктов того, что должно делать гражданское сопротивление — и первым пунктом идут круглые столы! Это когда уже идет зверская война в Грозном. То есть, Гефтер все-таки остается внутри диссидентской «неполитической политики».

Разбирая политику, он сильно глубже, чем когда пытается ее сам предлагать. Что только бедный Горбачев мог подумать, когда Гефтер предлагал ему «посоветоваться с нашими живыми мертвыми»! Это важный концепт историка, но совершенно неполитический. Михаил Гефтер свободно включал свои теологические и метафизические образы в актуальный текст — а к такому мало кто был готов...

ВТОРОЙ РАЗГОВОР (26.IX.2019, МОСКВА)

Г. П.: ...Моя проблема в том, что я заканчиваю книгу о Гефтере, и она меня измучила. Мне трудно говорить простыми формулами, все проблематизировалось и поплыло.

А. Т.: А вот тогда, может быть, сразу с этого и начать? С книги о Гефтере. Природа сложности, почему сложно.

Г. П.: Есть простая сложность и сложная сложность. Простая состоит в том очевидном, что Гефтер мыслил сложно и еще сложнее выражался. И он не соблюдал требование идентичности. Он занимал разные интеллектуальные позиции по поводу одного вопроса, если у него возникало ощущение, что на вопрос надо взглянуть иначе. При этом от предыдущего он тоже не отказывался.

А это вело к тому, что он, думаю, не по своему желанию стал довольно герметичным мыслителем. Характерологически ему не свойственна герметичность, как и его исходному языку советского интеллектуального марксизма. Но движение в эту сторону прослеживается еще с последних подцензурных статей в Секторе методологии. Почему он с ним, наверно, и расстался в конце концов.

А сложная сложность в том, что во мне «поплыли» топики Гефтера, его темы, и я увидел, как узко их представлял. Так, например, тема холодной войны в наших диалогах была мной забыта. А теперь я увидел в ней одну из главных тем последних лет жизни Гефтера. Теперь во мне спорят несколько рамочных тем, и все восходят к последним годам нашего общения. Я начинаю видеть именно последние годы как разрыв какой-то его с самим собой. Я вспомнил, как упрямо настаивал Гефтер на том, что не Советский Союз разваливается, а разваливается последний проект единого человечества, а тем самым и некатастрофического выхода из холодной войны. Но тогда и на выходе ждите катастроф. Гефтер нисколько не думал, что Холодная война закончилась. Потому что она была определенным миропорядком, не столько геополитическим, а антропологическим скорей. Человек Холодной войны никуда не делся, и Гефтер говорил про неизбежность ее «римейка». Однако есть шанс

или, как он говорил — «гипотеза неисключенного спасения» — в том, чтобы Россия вернулась к идее альтернативы, растоптанной Сталиным. Не альтернативы западному миру, а альтернативы всему миропорядку холодной войны. Отсюда гефтеровская идея России как «страны стран в Мире миров». Множественность русских цивилизаций внутри мнимой единой советской, диктует, полагал он, выход на договорную федерацию. Что не сделает Россию «авангардом прогрессивного человечества», но создаст некоторую возможность продвижения к Миру миров.

Все происходящее в 1989–91 гг. смотрится для меня иначе в этой забытой перспективе.

Потом проблема слабости. Тема слабости — рамочная гефтеровская тема. Она возникает у него ведь еще в письмах Горбачеву, последнее — открытое, перед этим было два неоткрытых. Где он подчеркивает странный образ слабо-сильной державы, которая может уничтожить мир, начав мировую войну, но не способна выпускать подгузники, и не умеет приказывать даже их выпустить.

Наши дебаты о силе и слабости государства шли постоянно вокруг политических тем, а в 1993-м году вокруг судьбы Николая Бухарина, когда Гефтер работал над «Апологией Человека Слабого». После октября 93-го начинается теологический его поворот, он все больше интересуется слабостью в истории, слабостью как потенциалом.

В «Апологии Человека Слабого» он вглядывается в тридцатые годы, в падение тогдашнего «поколения сильных», которым всегда восхищался. Он спрашивает — как вообще могла случиться Вторая мировая война? В отличие от Первой — она, в общем, случайна, искусственна. Она не была настолько неизбежна, как неизбежна Первая. Вторая... она необъяснима, на самом деле. И он считал, что это спазм слабости — сильные люди оказались не способны остановить войну. Основания их силы были непригодны для этого. И они оказались в обозе Сталина.

Но Гефтер и Сталина включает в список падших в тридцатые. Он считает, что в Сталине погиб другой, масштабный Сталин — лидер «великой антифашистской империи». То же касалось поколения большевистских антифашистов. Прежде всего Бухарина, которому посвящена «Апология». Именно через Бухарина Гефтер рассматривает случившееся. И лишь после того, как люди тридцатых потерпели катастрофу — кто на Лубянке, кто при падении Парижа, кто 22 июня 1941, начинает возникать и становится возможной их новая сила. На краю они находят в себе другие ресурсы, другие основания и возвращают себе способность

сопротивляться. Гефтер считал, что Бухарин на Лубянке — это уже другой Бухарин именно потому что прежняя игра была проиграна, но когда он пытался как бы вернуть Сталина на путь, скажем так, антифашизма, и, пользуясь особыми отношениями — даже арест его был признаком особых отношений Сталина к нему, и то, как с ним обращались и так далее — он пробует уже другим, в нем другое прорастает.

А. Т.: А почему Бухарин оказывается для Гефтера ключевой фигурой размышлений? Это отчасти следствие уже позднесоветского восприятия? Следствие того, о чем, например, даже Г. П. Федотов, в эмиграции пишет, реагируя на 38-й год: он говорит о чистоте, говорит об особом образе. Или в фокусе все-таки в первую очередь восприятие процесса 38 года, выступление Бухарина как слом сценария?



Академик Владимир Александрович Тихонов, Стивен Коэн, Анна Михайловна Ларина, Юра Ларин (1980). Фото из семейного архива Гефтеров. / Vladimir Tikhonov, Steven Cohen, Anna Larina, Yura Larin (1980).

Г. П.: Во-первых, Гефтер — старый друг Анны Лариной, вдовы Бухарина и его сына Юрия. И конечно, он считает, что слом сталинского сценария — то, на что Бухарин стал способен благодаря Лубянке. Но у него интерес к Бухарину возник давно. Он имел какое-то отношение с людьми комиссии Шатуновской, которая готовила реабилитацию

Бухарина, Каменева и Зиновьева, но все кончилось ничем. Но они поднимали бумаги, с некоторыми Гефтер был знаком как я понимаю. Причем не только с теми, что сегодня опубликованы. Он знал некоторые детали, относившиеся к жизни Бухарина в камере — неопубликованные до сих пор. Он знал, что последние дни перед смертью у него страшно болело сердце.

Но Гефтер никогда не был в перестроечном обольщении Бухариным.

А. Т.: А насколько для него была важна вот эта тема особых, интимных отношений с вождем? Особого отношения.

Г. П.: Вы имеете в виду его попытки общения с Горбачевым? Может быть, а может, нет. В его письмах Михаилу Сергеевичу появляется совсем неупотребительное тогда в нашем внутреннем контексте — слово «лидер». И Гефтер говорит Горбачеву — он лидер, и он не должен идти за массой! Не демократическая концепция лидерства. Здесь в нем виден старый меритократ. Он потом пытался и Ельцину писать — и стиль его обращения к Ельцину — он необычный. Есть ли в этом что-то концептуальное — возможно. Он же вообще — он смотрел на историю как... Он даже Горбачеву ввернул в письме свою любимую тему живых-мертвых. Вот Горбачев, наверное, удивился. Письмо он, кстати, читал, Черняев ему передал.

«Наши живые мертвые» — кто это? Это крайняя форма исторического персонализма. С одной стороны, события для него — это важная вещь. Есть альтернативы, протоальтернативы. Альтернативы пронизывают события, но не всегда реализуются в них. Но есть люди, эти самые живые мертвые. Которые являются законченными, завершенными репликами истории. И одна реплика не противоречит другой. Поэтому Гефтер говорил, что здесь не логика, а «логический роман», и в нем действующие лица. И Россия...

Его теология живых-мертвых сама по себе расширявается через его понятие — о значении смерти как человеческой ценности, которая может быть отнята, и тогда человек исчезает. Нацизм и Сталин совершали страшное преступление, отнимая у людей их собственную смерть. Гефтер отличал смерть, гибель, убийство — очень различал. Он считал, что человек появляется с обнаружения своей смерти и происходит это через смерть другого, как свою.

Возвращаясь к Бухарину и Сталину, «диалогу судеб» и «слабому человеку». Это был 93 год, когда Гефтер начал над этим работать. Он чувствовал, что должен высказаться по поводу того, что знал о Бухарине. Вот он пишет в декабрьском [блокноте] — уже 94-й год, декабрь,

совсем плохие дни, идет война в Чечне, и он записывает: «Бедняга» — о Бухарине — Как болит голова перед смертью.

У него была надежда выйти на какой-то более глубокий уровень понимания слабости, человеческой слабости и ее резервов...

Сейчас для меня Гефтер — это пучок каких-то оборванных линий. Я понимаю, что, наверное, те линии где-то увязываются, но у меня нет сил это выявить. И все, что я могу сделать, это использовать себя тогдашнего как грубый прибор доступа к мысли Гефтера — попытаться понять, что там было внутри — в этом черном ящике. Вот, собственно говоря, так и построен мой текст.

Teslya, A. A. 2020. "Dva razgovora s Glebom Pavlovskim o Mikhaile Geftere [Two Conversations with Gleb Pavlovsky About Mikhail Gefter]" [in Russian]. *Filosofiya. Zhurnal Vyshey shkoly ekonomiki* [Philosophy. Journal of the Higher School of Economics] IV (2), 16–29.

ANDREY TESLYA

PHD IN PHILOSOPHY, SENIOR RESEARCH FELLOW, SCIENTIFIC DIRECTOR RESEARCH CENTER
FOR RUSSIAN THOUGHT, INSTITUTE FOR HUMANITIES,
IMMANUEL KANT BALTIC FEDERAL UNIVERSITY, KALININGRAD

TWO CONVERSATIONS WITH GLEB PAVLOVSKY
ABOUT MIKHAIL GEFTER

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-2-13-162.

ГЛЕБ ПАВЛОВСКИЙ*

АЛЬТЕРНАТИВЫ И ПРОТИВОАЛЬТЕРНАТИВЫ В ДЕЙСТВИИ И В ИСТОРИИ**

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-2-13-162.

УВЕДОМЛЕНИЕ: ПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОРОМ КАК ПРИБОРОМ

«Слабые» — очерки о совместном опыте осмысления истории. И об интерсубъективном, то есть индивидуальном, но различимом и понятном собеседнику опыте политического действия.

С начала девяностых я подолгу говорил с Михаилом Гефтером об исторических координатах России в мире, рождавшемся на глазах. Беседы синхронизировали наш опыт. Говорили то каждый день, то по несколько дней подряд. Гефтер жил в Ватутинках, где я снял дом, постоянно, а я наездами. Но дом никогда не пустовал. К старому солдату приезжали ученики, коллеги, журналисты и целые съемочные группы. Его бытовая жизнь вошла в ровное русло, отвечающее его заслугам, возрасту и желаниям. Он полюбил это место, иногда путешествовал, но редко выезжал в Москву.

...Меня этот дом располагает к тому, чтобы просмотреть книги, общаться, разговаривать. Может быть, из наших разговоров что-то вытанцовывается. Москва — это просто захлопнутый мир. Да, что-то должно вытанцеваться, мне кажется¹.

Говорили и отчасти даже думали мы вместе. Но действовали порознь и в разных средах. В 1993 году член Президентского совета Гефтер пишет письма Ельцину. Содержание их он обсуждал со мной, тогда ярым антиельцинистом. С Ельциным Гефтера сблизило разочарование в лидерстве Горбачева (ему он тоже писал письма). 4 октября 1993-го

*Павловский Глеб Олегович, директор Русского института (Москва), g1eb@russ.ru.

**© Павловский, Г. О. © Философия. Журнал Высшей школы экономики. Данная статья является 1-й главой в готовящейся в данный момент к изданию книги Г. О. Павловского «Слабые». Редакция выражает Г. О. Павловскому глубокую признательность за возможность опубликовать этот фрагмент.

¹Павловский Г. Запись разговора с М. Гефтером. — Архив автора, 1993.

переписка историка с Кремлем прервалась. Но разочарование в Ельцине не могло остаться лишь огорчением, то было разочарование во всей российской «революции сверху».

В свои последние годы Гефтер чуть ли не с чистого листа создавал новую антропологию и социальную теорию, которые вместили бы опыт русских поражений. В его мыслях поселился лубянский арестант Николай Бухарин, пишущий письма Сталину из камеры, прослушиваемой Ежовым. Историк задался вопросом: как все проигравший человек, слабый и сознающий слабость, мог влиять на историю? Развилась идея Гефтера о Homo sapiens как онтологически слабом существе — *Человеке Слабом*, способном воспротивиться силе вещей. Гефтер бичевал государственность девяностых как «социум власти». Он требовал развернуть политику к «человеку очередей». Создать государство для него значило признать Россию непредставленных — людей, стран, цивилизаций в границах РФ.

Текущая российская политика бесплодна — вся в тупиках, вся в ссадинах, потому что мы не вмещаем в нее «куда?». Об этом нам заявляет человек очереди — коренной человек современной России. Это он нам заявляет, что России у нас не получается. Мы не хотим прислушаться к его идиомам, к его мату? Если нет, если это непереводимо на текущие политические диалекты — нам не поможет никто в мире².

Уличая в бесплодности Кремль, Ельцина и интеллигенцию, историк обострял во мне желание преодолеть слабость России силой — раз навсегда! Антиномия «беспомощность–сила» грызла меня, пока не обернулась проектом *эффективной политики*. Но довооружая слабых правителей, я дурно понял Гефтера. Или понял его, наоборот, слишком хорошо? Внутри альтернативы, под которой Гефтер понимал пучок потенциально множественных развилок процесса (иную *сборку* истории, скажут сегодня), я нащупал *противоальтернативу*: чистую негативность власти, ее мерзейшую мощь. Блокаду места, где (не исключая) могла прорасти, но уже не прорастет альтернатива.

Уйдя от власти, годами стараюсь вернуть голос самому Гефтеру. Издал четыре книги разговоров с ним, и архив записей не исчерпан. Есть фрагменты, которыми трудно было распорядиться по своей воле. Но я должен наконец подвести черту, разъяснив, как понимал Гефтера тогда и что понимаю ныне. Здесь я себя тогдашнего применил как

² Павловский Г. Запись разговора с М. Гефтером, 1993, б. м. — Архив автора, 1993.

«прибор», уловивший нечто *в спектре его идей*. Не думаю, что способен понять Гефтера, тем более научно представить картину его мира. Это невероятно сложный мир. Когда-то он будет понят иначе и глубже, чем понимал его я. Не в силах пройти весь путь в этом направлении, я предлагаю пройти мою милю — что в Гефтере я опознал тогда и что, бывшее для историка лишь версией, стало соблазном мне. Но я хотел испытать соблазн и почти не жалею, что так вышло. Сегодня видней, где, отталкиваясь от Гефтера, я злоупотребил его подсказками. Тем не менее моя история — одна из его идейных «варьяций».

Гефтер говорил о молодых сподвижниках Ленина, что, в отличие от «Старика», те росли на брошюрках адаптированного марксизма. Но отсюда не следует, что они не его ученики. Так я рос, адаптируя Гефтера, — то верный ему, то неверный. Готов я оценить, как и куда попал и двинулся дальше? Судить читателю. Знаю лишь, что не вправе скрывать маршрут, пройденный нами с Гефтером вместе и врозь.

ДЕШИФРУЯ ПРЕДСКАЗАННОЕ. ПРОРОЧЕСТВА?

Четверть века тому Гефтер опознал проблематику *сегодняшней* жизни, ее опасный ландшафт. Предлагая стратегию выхода России из холодной войны, историк предсказал острейший ее рецидив, как и то, что «России у нас не получится». Начну с некоторых пунктов предсказанного и затем перейду к вопросу о мышлении Гефтера. В чем содержание его пророчеств? Каковы те и о чем?

Мир, который едва начал выходить из холодной войны и еще не вышел, — это не Мир³,

который покончил с ней всей. Несколько поколений выросли в условиях, когда существование Земли зависело от соотношения ядерных величин двух супердержав. И если одна из сверхдержав... не может ею быть в прежнем масштабе, с той энергией, то что же остальному Миру... жить захлопнутым в однополюсный мир, управляемый США? Тут возникает проблема поиска новой роли России в Море, уходящем, но не ушедшем от холодной войны⁴.

Гефтер предвидел, что в «пространстве отсутствия» СССР Соединенные Штаты сформируют «дирекцию Мира» и потерпят неудачу. Кризис

³Рассуждая о мире в планетарном аспекте, Гефтер пишет слово с заглавной буквы: Мир.

⁴Павловский Г. Запись разговора с М. Гефтером, 11.1993. — Архив автора, 1993.

биполярного мира означал для него, что «убийство высвободилось. Суверенный убийца шагает по планете»⁵. Люди приобщаются «к зрелищу, где убийство играло роль режиссера»⁶. Вскользь брошенная, мысль сбылась в мегатерроре Бен Ладена, Шамиля Басаева и посткрымском телевидении РФ.

Гефтер предсказал, что Россия, не реконституированная на договорных основаниях, неминуемо скользнет в состояние унитарности, гибельное для русского мира и всех людей в мире. Отказавшийся от глобальной дэскалации, Кремль развернет политику к возвратным вариантам холодной войны. Распознал он это еще в начале девяностых: «Здесь научатся управлять своей неуправляемостью, а Запад станет опять нас сдерживать»⁷.

Гефтер предвидел, что худшая волна беженцев двинется в Европу с Юга (а не с постсоветского Востока на Запад, чего тогда сильно боялись).

«Как легко сегодня человек может быть сметен обстоятельствами, психически и физически сметен. Этот Юг, освобожденные молодые миллиарды смести могут все!»⁸

Гефтер твердил, что строить рынок из Кремля — проект безумцев: рынок был всегда — его признают, а не «строят». Рыночные отношения свойственны роду людей тысячи лет. Их не ввести указами президента — фигуры, о которой неясно, чего именно она «президент». Угрозу реформам он видит в их породнении с «социумом власти» — типом русской государственности, где нет дистанции между государством и обществом, а монополия власти унифицирует земли местообитания людей.

Гефтер предсказал, что «революция сверху» сработает на приватизацию верховной власти и на тоталитарный крен новой государственности. В зените демократических мечтаний он показал, как ставка на лидерство «революционера сверху» неминуемо перейдет в тоталитарные импровизации. Классический тоталитаризм не вернется, но тоталитарность в РФ, идущей путем эскалаций, возобновится.

⁵ Гефтер М. Я. Третьего тысячелетия не будет : русская история игры с человечеством. Разговоры с Глебом Павловским. — М. : Европа, 2015.

⁶ Гефтер М. Я. Из записей к «Апологии Человека Слабого», 1994, май–август. — Архив автора, 1994.

⁷ Гефтер М. Я. Третьего тысячелетия не будет : русская история игры с человечеством. Разговоры с Глебом Павловским. — М. : Европа, 2015. С. 326.

⁸ Павловский Г. Запись разговора с М. Гефтером. — Архив автора, б. д.

Выражаясь в терминах, введенных товарищем Сталиным, у нас «революция сверху». [...]Эта персонифицированная «революция сверху», если держаться этого названия [...] не может не тяготеть к тому же, что было имманентно сталинской тоталитарности, выросшей из экстремальных ситуаций. Укреплявшей себя экстремальными ситуациями. Выучившейся создавать экстремальные ситуации ради своего самопродолжения, самовозвеличения, самоувечивания...⁹

Гефтер предсказал мобилизацию «*доверчивой массы*» Кремлем и ее превращение в аудиторную опору управляемых выборов.

Гефтер предсказал, что на таком пути Россия, независимо от демократических заимствований, сама упадет в руки единого лидера. Для этого не потребуется громоздкий партаппарат. «Заместительная узурпация» вытеснит все проблемы страны мифом одной персоны. Лидер становится роковой силой, даже не будучи кровожадным злодеем, Гитлером или Сталиным. Трон ему подготовлен политикой безальтернативности. Персонализация российского «социума власти» равна его закрытости. Закрытая Система «отстреливается» яркими фигурами, непредсказуемыми в действиях, — и страна обсуждает «планы президента», а не свои внутренние дела. Гадания о намерениях «тефлонового лидера» с годами перетекают в проклятья — о, когда он уйдет, постылый! (Люди обожают толковать о тиранах:¹⁰ и их преемниках.)

«Власть персонифицирована постольку, поскольку закрыта»¹¹.

Здесь далеко не все предвиденные Гефтером очертания будущего России. Но мало ли, кто как пророчествовал? И у других были прозрения. Предлагает ли Гефтер теоретически достаточную позицию, чтоб мы действовали на ее основании?

Попробую проследить ход его мысли, сделав ее понятней сегодняшнему читателю. Но нужна оговорка: Гефтер — человек своей эпохи и своих предрассудков. Он не говорит нашим языком и наотрез отказался бы им говорить, он презирал речевое поведение современников. Образ ми-

⁹Запись разговора с М. Гефтером, приложение 13.

¹⁰Это простительно, хотя часто тиран уникален и «вытекает» из самого себя. Разговоры о наследниках Сталина в СССР начались раньше появления одноименного стихотворения Евтушенко (в газете ЦК КПСС «Правда» 21 октября 1962 года). Но прямых наследств не бывает, а вот парадоксальных, гибридных, как любят теперь говорить, — сколько угодно.

¹¹*Гефтер М. Я.* Третьего тысячелетия не будет : русская история игры с человечеством. Разговоры с Глебом Павловским. — М. : Европа, 2015. С. 330.

ровых проблем, рисуемый им, отвечает пословице «Ум человеческий не пророк, а угадчик».

ГРАЖДАНСТВО — ЧЕРЕМУШКИ?

В интеллектуальных летописях новой России Гефтер остался чем-то «вообще приятным». Он не настаивал, чтоб его взгляды определяли, и публика приняла эту игру в молчанку о себе. Неопределенный Гефтер, Гефтер непоименованный, стал с годами несуществующим Гефтером. Такого положения быстро не поменять. Само отсутствие конфликта вокруг его идей означало их пропажу из истории русской мысли¹². Любые наименования, небрежно относимые к Гефтеру, вроде верны и тем самым излишни: Гефтер — бывший марксист. Гефтер — организатор исторической науки; редактор «Всемирной истории», глава Сектора методологии в Институте истории АН СССР (этот Институт разделили и уничтожили, только чтобы разогнать Сектор). Гефтер — интеллектуал перестройки. Гефтер — историк, впрочем, оставивший маловато текстов собственно исторических. Гефтер — диссидент, участник последних крупных проектов в самиздате: Свободного московского журнала «Поиски» и Исторических сборников «Память...». Но где теперь диссидентство в российской памяти?

Его статусы вытеснили предмет его мысли — не много ль ролей для фигуры мирового класса? Остается впечатление суетного шестидесятника, который всюду поучаствовал, немногое оставив в наследство.

Выдворенный из АН СССР, Гефтер превратил свой путь от бойца Красной армии до марксиста-еретика в метод мышления. Стратегия аболиционизма ясно ощутима в основе его трактовок русской истории. Он не притязал на верность традициям, кроме биографически проверенных, а на упрек следователя в непатриотизме отвечал: «Я гражданин Черемушек!» Примем же этот вызов за самоопределение.

МЕТОДОЛОГИЯ ЕСТЬ ПОСТУПОК?

Место Гефтера в интеллектуальном пейзаже шестидесятых сложно оценить. Во-первых, тогдашний ландшафт слишком разнообразен, что сегодня трудно представить. Во-вторых, точки разрыва и красные черты эпохи стерлись от времени. Издали кажется, будто в СССР обитали лишь две интеллектуальные когорты: плохие марксисты и редкие

¹²Составитель книжной серии «Философия России» искренне изумился предложению издать Михаила Гефтера в этой серии.

истинные философы - разумеется, антимарксисты. Гефтер особняком и тут. Неучастник волны «советских кантианцев», откуда выйдут Мераб Мамардашвили, Юрий Давыдов, Михаил Петров, Арон Гуревич, он не собрат и гегельянцам-утопистам, ярчайший из которых Эвальд Ильенков. Для обоих станов Гефтер слишком серьезен в отношении к личному действию, к проблеме человека в истории и событийности как веществу исторического.

«Кантианцы» видели в истории парад культурных ценностей, как Гуревич, и полагали этику фундаментом социальной теории, как Юрий Давыдов. Действия, адресованные порядку ценностей, считались самоценными — историческая каузальность их не затрагивала. Мамардашвили противопоставлял моральный поступок историческому действию: первый (изолированно в себе) адресовал моральному закону, второе — окказионально, случайно. Исторический мир в этом проекте — мир долгих, хаотично спонтанных процессов. Средневековье Гуревича с добавлением народной культуры по Бахтину — живописнейший гомеостаз. В нем нет агонистики, и истории нет — ни в Марксовом, ни в Гефтеровом понимании.

Но и неогегельянцы толка Ильенкова к действию относились без энтузиазма. «Действие столь же чуждо логике, как любовь», — строго выговаривал мне Владимир Библер, философ и боевой товарищ Гефтера. Эвальд Ильенков перенес антагонизмы с уровня личного выбора на сцену борьбы «великих исторических сил». Рассуждая о перспективах человечества в целом, он отверг весомость частной инициативы здесь и теперь. Действуют великие силы истории — пролетариат, прогрессивное человечество, советская власть, — и нечего им мешать субъективным выбором. Крот истории, вернее ее каток, справится сам¹³.

Истоки антропологии Гефтера, вероятно, уходят в идеи Бориса Поршнева о некоторой базальной форме антагонизма, расколовшей гоминидов, прежде чем те стали людьми — отсюда инстинкт каинита-убийцы и тяга Homo sapiens к суггестивным манипуляциям.

Сперва — выломанность человека из эволюции. Превращение, по правилам эволюционных игр, обреченности вида в его преимущество, сделало человека планетарным существом, соподчиняющим среду обитания¹⁴.

¹³Исключением среди младогегельянцев был Генрих Степанович Батицев с его активистским принципом «деятельностной сущности человека». Друг Гефтера, он меня с ним и свел.

¹⁴Павловский Г. Запись разговора с М. Гефтером. — Архив автора, б. д.

Характерно гефтеровский вопрос: отчего перволюди, едва овладев речью как орудием нападения и защиты, кинулись прочь друг от друга, расселяясь по планете до дальних ее неудобий? «*Что их гнало туда? Что их гнало?*» — вопрошает Гефтер. Оказывается, люди не могут жить вместе, но должны. Человек — прирожденный убийца, и, уживаясь с такими же «каинитами», он вынуждаем стать *Homo historicus*. Появляется место индивидуальному выбору, слову и действию.

Первосущество, обреченное с эволюционных позиций, свою обреченность претворило в существование собственно человеческое. Главным атрибутом которого является *слово*, речь¹⁵.

Принципиальная установка Гефтера: история — праксис, а не прогресс. Этот праксис состоит из индивидуально выбранных действий, не столько из побед, сколько из поражений, ошибок, падений. Не абстрактные «силы прогресса породили» декабризм как великий русский эталон и общественную силу. Декабризм — плод двух оглушительных поражений. Первого на Сенатской площади 14 декабря 1825-го и второго, худшего — раскаяний и личных падений на следствии: так и ересь Меноккио произведена была не «дискурсом», а допросами его в инквизиции. Мужество в сибирской каторге и перед казнью не сразу и не вполне искупало слабость. Свидетельствование, акт говорения («*речевого поведения*»), сказал бы Гефтер), есть само историческое действие.

Начиная с шестидесятых ересь историка исподволь меняла методологию советской исторической науки. Он сдвинул фокус исследований с «сил» и «процессов» на действующих лиц — слабых носителей альтернативы: «*неутопических утопистов*», «*событийных людей*». История в целом тоже Событие, имеющее начало и конец. История однократна. Гефтер напрочь отменяет «постепенное развитие» — ложного друга историков и политологов со времен Кондорсе.

С момента, как открыт Большой взрыв, выяснилось, что нет никакого «постепенного развития во времени». Вселенная явилась сразу, и говорить о ее развитии бессодержательно. Земное существование в рамках одноактной Вселенной не может быть безграничным¹⁶.

¹⁵ Павловский Г. Запись разговора с М. Гефтером, 1993, октябрь–ноябрь. — Архив автора, 1993.

¹⁶ Павловский Г. Запись разговора с М. Гефтером, начало 1993 г. — Архив автора, 1993.

То, о чем мы сейчас говорим, уже не история, это уже другая тема. История, кроме прочего, требует ресурса пространства и времени: оба ресурса исчерпаны. Ресурс пространства исчерпан явно — все втиснуто в глобальную колею, ею повязаны. История не может прийти на новую территорию, избрав ее своим поприщем¹⁷.

В эпистемологии Гефтера познание есть поступок. Оно также действие. Его не изолировать от последствий, относя к миру «вечных ценностей культуры», не запереть внутри прогресса с «отражением» его по Энгельсу. История состоит из действий и падений, но и познание из них же. Нет онтологического разрыва между действиями героев историка и действиями самого историка: он один из них. Диссидентскому императиву влияния слова на власть Гефтер останется верен до конца. Это не амбиция. Это логическое следование его видению научного знания как поступка.

ПОЛИТИКА ЧАСТНОГО ЛИЦА?

В послевоенной жизни Гефтера, при всех переменах языка и тематики, видны взломы биографической перспективы. Первый в начале семидесятых: Гефтер уходит с прочно выстроенной академической позиции. Громят Сектор методологии Института истории — его детище; интеллектуальное средоточие Москвы шестидесятых. Но в убежища параллельной культуры он не скрылся, отклонив формат семинарских «квартирников». Он полностью отпадает от академической карьеры. Академический историк капитализма в России, европейский известный марксист, на мнения которого ориентировались иные чины в аппарате ЦК, — все отброшено. Где-то здесь начинается превращение Гефтера в невидимку. Окруженный мыслящей молодежью, он уходит в рейд по тылам эпохи. Редактор «Всемирной истории» и «Истории КПСС» стал просто влиятельным частным лицом.

Гефтер близко сходится с диссидентами. Участвует в создании Свободного московского журнала «Поиски» (в самиздате), переносит обыски КГБ. В 1975-м оформляет военную инвалидность, в 1982-м выходит из КПСС.

Второй перелом в его жизни ожидаемо совпал с «гласностью», но только хронологически. При Горбачеве Гефтеру вернули законное право

¹⁷ Павловский Г. Запись разговора с М. Гефтером, начало 1993 г. — Архив автора, 1993.

печататься и выступать. Но на сцене перестройки явился кто-то другой, а не сошедший со сцены когда-то. Корпорация бывших идеологов с повышением вернулась в прежние кабинеты. Формально Гефтер в их числе — фактически нет. Реабилитированный по списку, Гефтер отклонил дарованный властью статус¹⁸ и издевается над шестидесятниками — «будильниками, которых остановили, а через 20 лет завели, и они трезвонят». Он и пальцем не пошевелил, чтобы вернуть себе отнятое место в Академии. Историк вышел на сцену с опытом сопротивления всей стране — это особый опыт, к нему не готова.

Что отличает его от других, например от Мамардашвили? Ведь и Мераб не впустую провел годы реакции. Уйдя от Маркса и осваивая язык философии XX века, он отселился в западную традицию мысли. Плодотворную технику мыследействия разработал Георгий Щедровицкий в убежищах технического дизайна. Теологию христианского выхода из марксизма наметил Генрих Батищев в «Тезисах не к Фейербаху» (я горд, что их первый вариант посвящен «Оле-и-Глебу»). Ничего подобного у Гефтера нет: иначе прожив годы, названные «эпохой застоя», он резко отвергает сам термин.

Вот мы говорим «период застоя». Что такое «период застоя»? ... Во времена Карибского кризиса соотношение ядерных запасов между СССР и США был 1 к 16 или 1 к 17. В конце «застоя» мы уравнились... стали милитаристской державой, то есть у нас появился новый каркас... Вторым моментом этого «застоя»: у нас впервые появилось достаточно твердое общественное противостояние, мы впервые увидели людей, каждый из которых на свой лад говорил «нет»... И третий момент «застоя»... мы с невероятной быстротой стали превращаться в общество потребления¹⁹.

Не странно ль, что, отстаивая честь семидесятых, Гефтер соединяет несоединимое — гражданское сопротивление, общество потребления и советский «ядерный каркас»? Речь хозяина эпох, прежней и новой, связанных в историке нераздельно. Он государственный и он еретик, непримиримый к власти. Он избегает полемики с грандами гласности — партийными либералами, перезаписавшимися в антикоммунисты,

¹⁸Скрытый компонент политики гласности: она началась внутрипартийной реабилитацией группы членов КПСС, отвергнутых двадцатью годами раньше как «ревизионисты» и «фракционеры». Их реванш намеренно поощряют высшие партийные власти, не собираясь идти дальше. Горбачевское политбюро не ждет, что вернувшиеся принесут нечто иное, чем то, с чем сошли со сцены в конце шестидесятых.

¹⁹Караулов А. «...Пусть жестокий, но компромисс...» (диалог с Михаилом Гефтером) / Вокруг Кремля. — 1993. — URL: <http://gefter.ru/archive/4833> (дата обр. 25 июня 2020)

но с Андреем Сахаровым задумывает и учреждает клуб «Московская трибуна».

Однако прямо пойти в политику Гефтер отказался. Удобная ему форма действия — его теневая роль в беловежской денонсации Союзного договора (это он растолковал идею Геннадии Бурбулису и ближнему кругу Ельцина). От прямого вмешательства в политику Гефтер уходил, гуляя по тенистым черемушкинским холмам с Сахаровым, Черняевым, Яковлевым, Афанасьевым и тихо беседуя в тени. Но модель теневого влияния истощилась. Смерть Сахарова, устранение Горбачева и СССР перевернули сцену и вознесли новую номенклатуру из перебежчиков с их интеллектуальной обслугой.

РУССКИЙ ДЕ МЕСТР?

Трудность понимания текстов-поступков Гефтера (и помеха восприятию его мыслей) — то, что любое высказывание мы относим к «мнениям». Михаил Гефтер исходит из нравственной императивности суждений: философские высказывания для него суть поступки. Они влекут ответственность, и их нельзя взять назад. Человек вправе менять мнения, но это сдвиг в составе личности, в конфликте с его речевым поведением.

Слово «свобода» надо бы писать так: *не-несвобода*. Вот сравнительно точное имя тому, о чем мы говорим. Если нет чувства досады, ужаса, страдания — огромный диапазон оттенков! Если нет проживания человеком своей несвободы, то откуда взяться свободе? Пусть мне объяснят — откуда?!²⁰

Гефтер отказался обменять опыт инакомыслия в виду Лубянки на даруемую свыше свободу. Он требовал отрефлексировать и недавнее бессилие интеллектуалов — ушло ль оно навсегда? Обдумать силу бессильных, когда диссиденты Востока утвердили связь суверенного выбора, справедливого поступка и диалога с властью — той, которой они противостояли. Из-за опасения оскорбить прошлое, тексты Гефтера смотрятся теперь патетично. Это язык, не жертвующий «новым прекрасным временам» ничем из всего, чем жил. Гефтер и сам над своей манерой посмеивается.

Так у меня устроена голова: когда я формулирую какой-нибудь личный поступок (скажем, отказываюсь в КГБ давать показания — будучи негероической личностью, а не потому, что есть нравственный императив), то и сюда ввязываются мои представления о сущем Мира²¹.

²⁰ Павловский Г. Запись разговора с М. Гефтером, 1993, б. м. — Архив автора, 1993.

²¹ Павловский Г. Запись разговора с М. Гефтером, 1993, б. м. — Архив автора, 1993.

На письме и в публикациях²² Гефтера ощутима тайна, мучительная стилистически. По страстной парадоксальности идей, отклонению любого мейнстрима эпохи от него нам следовало ждать радикализма Жозефа де Местра. Гефтеру пристало ниспровергать, сыпать парадоксами — и он мастер парадокса, но только в устной речи! Что-то сдерживало его на письме. Личная благопристойность запрещала ранить чувства друзей? Избегая вслух заострять разрывы, русский де Местр укутывал их в орнаментальную вязь. Покинув академическое письмо, он пишет темным языком молодого Гегеля (гражданина даже в Йенском «зверинном царстве духа»²³). В опубликованном Гефтером плотно закрыта его отчаянная альтернативность.

Гефтер говорил о трех своих языках (на мой взгляд, их больше): «Одним языком я говорил и писал до запрета Сектора, потом стал писать иначе, и сейчас — третий язык»²⁴.

Он «измучен своим языком», но крайне им дорожит в условиях российской «катастрофы речевого поведения», перетекшей в политическое позорище. Соглашаясь, я недооценивал глубины его претензий — у меня были свои²⁵. Исцеления речи Гефтер искал в аутентичности интонации. Интонацией он дорожил бесконечно, как условием правды. Самоограничений, которыми он обуздал письмо, Гефтер зато не соблюдал в разговоре. Обожая формулы, найденные на кончике пера, в устной речи он порождал их десятками, не ценя и не запоминая.

²²Более или менее полный список опубликованных работ Гефтера можно найти здесь: <http://gefter.ru/archive/327>. Однако ими совершенно не исчерпываются его архивы и тексты, хранящиеся его учениками. Не все, имеющееся на руках у одного человека, известно другому. В процессе работы над этой книгой Михаил Рожанский напомнил мне о машинописном наброске Гефтера «Анти-Ильенков», сделанном в конце шестидесятых.

²³*Д'Ом Ж.* Гегель : биография / пер. с фр. А. Г. Погоняйло. — СПб. : Владимир Даль, 2012. С. 194.

²⁴*Павловский Г.* Запись разговора с М. Гефтером, 1993, б. м. — Архив автора, 1993.

²⁵Мои критерии достойной речи выработались в самиздате или чтением редких в СССР подцензурных политических книг, подобно Ясперсовой «Куда движется ФРГ», статей Батищева, Аверинцева, Арсеньева, Кнабе, Пятигорского, Померанца. Гласность, казалось мне, возобновит свободу речевого поведения, но этого не случилось. Ритуальные топики «демократов» с набором связанных идеологием заняли место высокой русской традиции, какой она сложилась в XIX–XX веках. Выходить из речевой ситуации противостояния, которая породила «дацзыбао реформ», я только начал накануне ареста, в 1980–1981 годах. Впоследствии, впрочем, я исходил из прагматики работы с аудиториями: проблемы упрощать мысль не стало.

«Там, где я пишу, „причинно-следственные близнецы поставили крест на беспредпосылочном будущем“, — там я!»²⁶

Язык Гефтера — версия русской речи из немногих, что справились с финальностью как предметом. Русское мышление применяет финализм как лазейку при уходе от труда, — Гефтер заставил его работать в истории, где царит преступная власть и концлагерь. Он развил герменевтику образов русской финальности прошлого и будущего.

ПУТЕМ ОСЛОЖНЕНИЙ?

Гефтер мешал упрощать вопрос, сняв легкие актуальные пенки. Удерживая в труднейшем месте темы, не позволял политически срезать углы.

Разговоры об интеграции (стран СНГ. — Г. П.) бессмысленны, если нет плюрализма. Что интегрировать? Географические топонимы? Политические вывески? Если нет узаконенной разницы в способах человеческой жизнедеятельности, о какой интеграции идет речь? О сверстанном бюджете? Где все платят одинаковые налоги? Бесмыслица. Интеграция — головоломнейшая задача, которая предварительно предусматривает несовпадения — интегрируются несовпадающие! Учреждаются пропорции несовпадений. Интеграция выстраивается по мере того, как снизу естественным ходом вырастает нечто, что мы называем *страна*. Нам надо не потерять эти главные наши точки. От плюрализма этого можно потом к пространственному плюрализму перейти, понимаешь?²⁷

При очередной встрече с пошлостью Гефтер вкрадчиво уточняет: полагаете, человечество вышло из холодной войны, — и куда именно вышло? Выясняется, что говорящий понятия не имеет о миропорядке холодной войны и ее проникающей антропологии.

Выход из холодной войны не менее опасен, чем сама холодная война. И Россия, которая явным образом проигрывает Азии, не выигрывая на Западе. Россия вроде огромная — и ничья, и ничто. Гигантский мировой открытый вопрос²⁸.

Конец XX века в РФ — время, когда от трудных вопросов шли в простое выживание. Только сегодня стало окончательно ясно, что холодная война в стране-обломке биполярного мира — не та политика, которую легко отменить.

²⁶ Павловский Г. Запись разговора с М. Гефтером, 1994, б. м. — Архив автора, 1994.

²⁷ Павловский Г. Запись разговора с М. Гефтером, 1993, б. м. — Архив автора, 1993.

²⁸ Павловский Г. Запись разговора с М. Гефтером, 1994, б. м. — Архив автора, 1994.

Г. П.: Конец холодной войны наступил не путем победы, а через исчезновение одной из сторон. — М. Г.: Он вообще не наступил! Бицентричный мир — это возобновляемая реальность. Почему Жириновский их так больно поразил²⁹.

Миропорядок холодной войны был режимом сдерживания человеческой деструктивности. Свободный мир на пару с восточным блоком каждый посвоему табуировали позывы человека-убийцы. Коллапс биполярного мира означал для Гефтера, что отныне «убийство высвободилось»³⁰.

«Преторианцы самоновейшей истории — ее убийцы, поскольку пре-вращают „избирательную гибель“ в промысел и театр»³¹.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ЛИДЕР?

Тексты, опубликованные им самим, скрывают его яростную жажду альтернативы. Гасят интонацию Гефтера-паррессиаста, которая в беседе твердо вела к истине. Но он не давал ей выйти в текст. Почему? Мы не знаем, и у меня нет ответа.

Историк по Гефтеру не бывает одним лишь наблюдателем старых дел. История общеизвестна как рассказ или story, но актуальна как космос действий. Историк — интеллектуальный медиум и политик. Точка зрения Гефтера бескомпромиссна: исторический мир открыт вмешательству слабого человеческого существа. Открыт насквозь, на любую глубину. Глубинная альтернативность происходящего, по Гефтеру, в его беспрецедентности. Потеряв ясность, люди отзываются на альтернативу, рвутся к ней — это не значит, что они к ней готовы. В 1978-м он пишет американскому другу-историку Стивену Коэну:

В некоей стране, в некоем социуме совместились могущество (реальное!) и груз неразрешенных проблем... Не исключено, что неразрешимы при данных условиях и обстоятельствах. Не исключено, что как раз это более всего другого и делает данную страну (в нынешних условиях) самой потенциально альтернативной. Судьбы Мира оказываются накрепко связанными здесь — и чем? Не просто сочетанием *силы и слабости*, что само по себе опасно... а сочетанием того и другого с альтернативностью, не находящей себя: свою суть и свой статус³².

²⁹ Павловский Г. Запись разговора с М. Гефтером, 1994, б. м. — Архив автора, 1994.

³⁰ Гефтер М. Я. Третьего тысячелетия не будет : русская история игры с человечеством. Разговоры с Глебом Павловским. — М. : Европа, 2015. С. 325.

³¹ Гефтер М. Я. Эхо Холокоста / под ред. Е. Высочина. — М. : Российская библиотека Холокоста, 1995b. С. 236.

³² Из тех и этих лет / под ред. М. Я. Гефтера. — М. : Прогресс, 1991.

В триаде Сила–Слабость–Альтернативность движение идет через выбор, разрешением которого Гефтер 1978 года видел в будущем лидере-реформаторе СССР.

Реформатор, то есть человек, способный не на паллиативы, а на преобразование, объем и характер которых — открытый вопрос. Итак, снова альтернативность, причем с двух сторон. *От альтернативной ереси к альтернативному реформатору*³³

Это не реформизм советского интеллигента. С семидесятых годов Гефтер не видит вариантов реформы Союза в обход радикальной договорной конфедерализации. Россия и СССР должны превратиться в «страну стран» — союз русских и нерусских земель. Гефтер не верит, что его «альтернативный реформатор» выйдет из еретиков-диссидентов, но в них признает эталон альтернативности (именуемый им иногда «добровольной несвободой»). У его идеи «равноразной России» нет шансов быть понятой современниками — даже немногими читателями самиздатовского журнала «Поиски», где в 1979 году напечатано это письмо.

...Семидесятые трагически уютные, катастрофично комфортные, лубянские... Жизнь среди тюремных передач и редких друзей — одни уезжают, других арестовали. Евгений Гнедин, сын скандального Парвуса, эlegantный денди после двадцати лет лагерей, тихо поясняет мне, как переносят пытку (в этом он дока — его пытал лично Лаврентий Берия), а Гефтер жалуется ему на дерзости молодых друзей:

«Мы в безъязычии. Как Сенька Рогинский³⁴. Надо мной издевается! А-а, говорит, — Мир миров, страна стран, улица улиц! Понятно, сколько мне можно талдычить одно и то же»³⁵.

Жизнь среди книг и бумаг, оставшихся после обыска. Незачем дописывать черновики, их не опубликовать все равно. Но беседа с друзьями бесценна, ею не жертвуют в пользу текста, только и перевести в текст невозможно.

Перестройка пробросила мостки в другую эпоху — не для Гефтера. Начало гласности поразило его не публицистикой, а тем, что мозги друзей будто сжались. Все мы судили наспех и торопливо печатались, смягчив мысль в одних случаях, вульгарно заострили в других. Гефтер

³³Из тех и этих лет / под ред. М. Я. Гефтера. — М. : Прогресс, 1991. С. 88–89.

³⁴Арсений Борисович Рогинский (1946–2018) — российский историк, правозащитник, общественный деятель, председатель правления правозащитного и благотворительного общества «Мемориал»

³⁵Павловский Г. Запись разговора с М. Гефтером, 1981, б. м. — Архив автора, 1981.

отверг новейшую манеру, а бунт оплатил жесточайшим инфарктом осени 1987 года³⁶. Но до того он отправил два личных письма Горбачеву — «альтернативному лидеру», которого предрек еще в 1978-м, — и вот как будто дождался.

СЛАБЫЙ ВЕДЕТ СЛАБЫХ?

Первое письмо конца февраля 1986 года написано после саммита с Рейганом в Женеве, накануне XXVII съезда КПСС. Определив генезис СССР как «государства исторической инициативы», Гефтер предостерегает:

«Инициативу... можно и потерять в силу ошибок, отступлений и преступлений, которые тем более необратимы, чем больше масштаб, заданный этой же исходной инициативой»³⁷.

Гефтер напоминает о масштабности миропорядка холодной войны, восходящего к антифашистскому консенсусу победителей 1945 года. Угрозу же связывает именно с потерей *масштаба*.

Сохранением мира с тех пор и до сего дня люди обязаны не только равенству опасностей, пораженных новым оружием, но и зарождению нового взгляда на Мир, — взгляда, отвергающего любой вариант планетарной монополии и исключаящего победу даже самой высокой идеи... через катастрофу, а стало быть, ценой человеческих гибелей. [...] С разных сторон нам следует идти к одной цели (столь же внешней, сколь и внутренней) — сохранению жизни на Земле³⁸.

Второе письмо отправлено в Кремль после Чернобыля, саммита в Рейкьявике — и смерти диссидента Анатолия Марченко в лагере от жестоких голодовок. Гефтер снова приравнивает роль лидера к долгу альтернативности. Говорит, что прорыва в Рейкьявике не было бы без Чернобыля, он требует его во внутренней политике³⁹. И переходит к версии лидера «революции сверху»:

³⁶Триггером болезни стало его же интервью, опубликованное в журнале «Век XX и мир» № 8/87. Я и сейчас считаю его одним из лучших гефтеровских текстов. Но как сказано, Гефтер не признавал себя в записях устной речи.

³⁷Гефтер М. Я. Письмо Михаилу Горбачеву (21 февраля 1986 г.) // Из тех и этих лет / под ред. Е. И. Высочинной. — М.: Прогресс, 1991. — С. 272–278: 273.

³⁸Гефтер М. Я. Письмо Михаилу Горбачеву (21 февраля 1986 г.) // Из тех и этих лет / под ред. Е. И. Высочинной. — М.: Прогресс, 1991. — С. 272–278: 275.

³⁹Как мы знаем, он произошел — Сахаров был возвращен в Москву, а через несколько месяцев политические заключенные были амнистированы.

Мира без насилия, Мира жизнетворящих различий, Мира, которому еще прийти на смену ядерному, ракетному, изобильному и голодному Миру конца XX века. Вот оно — минное поле: поприще Лидера. [...] Он, само собой, реальный политик. Но реальный в меру того, что знает (и обязан знать!), чего делать нельзя... Он знает (и обязан знать!), что не суверен он сам по себе... но и не слуга кого бы то ни было, включая собственный народ, и тем паче не прислужник его⁴⁰.

Гефтеровская утопия Мира миров совместилась с идеей Лидера и его *Weltpolitik*. Союзник Горбачева Гефтер ищет в генсеке воплощение мировой души, императивно свободной от всех:

Признаем: в нашем отечестве при наших обстоятельствах роль лидера страны достигла... предельной точки. И столь же предельной стала зависимость лидера от себя. От самого себя — в этом суть⁴¹.

«Начните с политической амнистии, с возвращения соотечественников к деятельной жизни»⁴².

Его благородное требование политической амнистии вскоре сбудется. Оно-то и примирит Гефтера с кремлевской «революцией сверху» — известным историком злом.

ПАДШИЕ ИДУТ НА РЕВАНШ?

Уйдя в семидесятые в частную жизнь, Гефтер не «забылся философствованием». Выйдя из марксизма, он и от него не ушел вполне, а приостановился и стал размышлять. На этом месте с Гефтером повстречался я. Марксизм в русском мире — место нашей встречи и ее тема. Многие тогда расставались с марксизмом, важно качество расставания: Гефтер сделал его проблемой. Вчерашние марксисты очень по-разному уходили от Маркса: Трубников, Лен Карпинский, Генрих Батицев, Мераб Мамардашвили, Георгий Щедровицкий, группа журнала «Проблемы мира и социализма»... Переосмысление Маркса составило мировой сдвиг семидесятых-восьмидесятых, и *никто в СССР не*

⁴⁰ Гефтер М. Я. Письмо Михаилу Горбачеву (декабрь 1986 г.) // Из тех и этих лет / под ред. Е. И. Высочной. — М. : Прогресс, 1991. — С. 282–292: 286.

⁴¹ Гефтер М. Я. Письмо Михаилу Горбачеву (декабрь 1986 г.) // Из тех и этих лет / под ред. Е. И. Высочной. — М. : Прогресс, 1991. — С. 282–292: 286.

⁴² Гефтер М. Я. Письмо Михаилу Горбачеву (декабрь 1986 г.) // Из тех и этих лет / под ред. Е. И. Высочной. — М. : Прогресс, 1991. — С. 282–292: 290–291.

оставил разбор своего опыта. Гефтер масштабировал свой марксизм. Преодолел ли наконец горизонт Маркса он сам, его не волновало: в беседах он его проблематизировал⁴³.

Логический роман Маркса, катастрофа его коммунизма и результаты ее, духовный опыт, который мы обрели, важен в поисках альтернативы — чему? Альтернативы жизни ради сохранения жизни. Потому что жизнь ради сохранения жизни производна от истории. Она и есть псевдоальтернатива. И у нее будет тот же конец — ядерный гриб⁴⁴.

В разговорах Гефтер воссоздавал историческую панораму рождения, гибели и возрождения альтернатив — но движение их было сумрачно. Революции отменяли русское рабство, пытки и каторгу, а в следующем такте те возвращались. В этом континууме нет победителя, здесь никто не выиграл вполне. Но если гибель *«русских горелык»* всегда бесповоротна, упущенные ими альтернативы продолжают влиять, смещая нормы и правила. Вероятно, оттого альтернативный мир Гефтера так влек меня внутрь.

Надо знать и как Гефтер обошелся со мной. Рефлексией моего падения в советском суде 1982 года он щедро открыл мне новые горизонты. Вот как он пишет обо мне в 1994-м:

Не знаю, понял ли бы Сергей Трубецкой моего молодого диссидентствующего друга, но преломленная Бутырками судьба последнего помогла мне услышать неотредактированный голос «падшего» князя. Самопризнания людей 14 декабря, их мысли «в железках» сверстались в единый текст с кабалой «поисковского» компромисса (все желанны в ненасильственном споре, в непредписанном выборе)⁴⁵.

Препарируя мое отступничество в деле «Поисков», он пробросил пунктир к шатости декабристов под следствием (и к «Николаевской идее» Пушкина, излеченного ею от слома 1825 года). Гефтер подарил мне другую жизнь, дал силу справиться с унынием в ссылке. Во мне образовался тайный «ванька-встанька» — русская версия трикстера.

Г. П.: Подходит ли в нашем случае слово «выкрутимся»? — М. Г.: А почему? Выкрутимся. Ведь мы с тобой уже начали говорить своим языком. Когда

⁴³Но есть и авторский текст Гефтера «Россия и Маркс», написанный в 1978 году для журнала «Поиски» (опубликован повторно в 1988 г. в журналах «Рабочий класс и современный мир» (№ 4. С. 152–170) и «Коммунист» (№ 18. С. 93–104).

⁴⁴Запись разговора с М. Гефтером, 1994, б. м. // Архив автора.

⁴⁵Гефтер М. Я. Мир миров : российский зачин // Иное : хрестоматия нового российского самосознания / под ред. С. Б. Чернышевой. — М. : Аргус, 1995а. С. 61.

на одном полюсе капитуляция, на другом убийство, то, в конце концов, выкрутимся⁴⁶.

Мы годами спорили о русской идее поступка. Мой эталон был в опыте диссидентства, где акция есть явочное, суверенное предъявление силы слабым. Идентичности не бывает вне действий, на компромиссы я шел легко, но лишь ради действия. Язык действия я перенял у Гефтера, однако в средствах историк был осторожен, не поощряя молодежный экстремизм. Я же думал, что «старик тормозит». Теперь, стоя сам перед загадкой начала, я догадываюсь, как она парализовала Гефтера. Он убеждал современников, заверял, звал... Но выступить первым, не дожидаясь других, ему теперь казалось нечестным.

Проблема, смешно сказать, психиатрическая — в раздвоении. Один человек во мне хочет и тянется к тому, чтобы участвовать, когда необходимо, помогать вам что-то делать. Чтобы эту пошлость нынешнюю как-то обойти. А другой человек наблюдает со стороны... Этот второй человек мне мешает, но совсем не берет верх⁴⁷.

Сегодня мы смирились с тем, что история представлена хаосом, опережающим наши страховки. Гефтер исходил из шансов человека действовать исторически актуально. Его *Homo historicus* — существо, творящее историю и опустошаемое ею. Но и противостоящее истории структурами повседневности и культурой — двумя мирами, сдерживающими историческую событийность. Человек имеет божественное право отвечать на вызов истории. Преступив черту данного, он вторгается в ход вещей. Однако при конце истории «мыслить результатами более нельзя. Тогда начинаешь мыслить альтернативами. Не упущенными возможностями, а творимыми невозможностями»⁴⁸.

СОБЛАЗНЕННЫЕ «РУССКИМ ПРОЕКТОМ»?

В моем поколении-1968 «творить невозможное» принималось общепринятую норму. Императив «можешь — значит должен» я понимал в духе 11-го тезиса Маркса, как повеление действовать безотлагательно⁴⁹. Но вставал вопрос об основаниях действия и его шансах.

⁴⁶ Павловский Г. Запись разговора с М. Гефтером, 27.10.1994. — Архив автора, 1994.

⁴⁷ Павловский Г. Запись разговора с М. Гефтером, 1993, б. м. — Архив автора, 1993.

⁴⁸ Павловский Г. Запись разговора с М. Гефтером, 1994, б. м. — Архив автора, 1994.

⁴⁹ Джордж Сорос как-то публично упрекнул меня в том, что (работая в 1989–1992 года директором программы «Гражданское общество») я изучил технологии его фонда и «передал Путину». В конспирологичной гипотезе есть зернышко смысла: хакерский

Нам не избежать отыскания некоей альтернативы нынешнему состоянию. Нам надо заново обрести какую-то точку отсчета для собственного будущего. Любые прецеденты, как бы они ни были для нас существенны (практически, духовно), не исчерпывают нашей ситуации, в которой очень много самого существенного является уникальным. Я думаю, что [...] в поисках альтернативы логикой этих поисков человеческое сознание освободится от обезчеловечивающих чувств и голой ненависти⁵⁰.

Императив действия — соблазн для слабых. Он разрешал делать вещи, которых иначе себе не позволил бы. Двадцать лет нашей дружбы прошли в том, что Гефтер говорит и пишет, а я лишь слушаю и помогаю. Но с начала девяностых мой акционизм перешел в требование противостоять бессилию и упадку. Я требовал прагматизировать Гефтеров концепт альтернативы — безотлагательно! И вот весной 1993 года Михаил Яковлевич изложил нечто, ставшее мне первой зарубкой ПРОЕКТА. Было так: я посетовал на выжидательность нас — ватутинских дачников, как вдруг Гефтер оборвал — зачем ждать?

Давай исходить из того, что трупы умерших от голода не будут тысячами лежать на улицах. Но тем не менее завтрашний день закрыт. [...] То общее, что объединяет всех: от ультрадемократов до крайних правых — они все люди вчерашнего дня. Представь, что параллельно действующим системам... автономно и с прицелом на завтрашний день возникает некая большая коалиция. Общее согласие XXI века (согласие по институционально выражаемым интересам). ...Идея такой коалиции объединена выработкой солидарного, принципиально согласуемого взгляда на XXI век. [...] Я бы назвал ее альтернативной позицией. Даже не «оппозицией» ... но *альтернативным движением, которое, ведя отсчет от XXI века, вносит вызволяющий момент в хаос.* [...] Конечно, желательна большая коалиция евразийского масштаба, но пока это вещь трудноисполнимая. Поначалу попробовать бы в российских размерах. *Войти в самый эпицентр отчаяния и хаоса нынешнего с тем, чтобы опередить его своим движением*⁵¹.

Гефтер очертил пространство вероятной альтернативы — а я услышал долгожданный призыв действовать на опережение. Но разве историк подстрекал меня к электоральной спецоперации? Да и не верил он, что уловки разблокируют мировой кризис. Гефтер делал ставку на долгий

стиль Джорджа питал нестерпимый соблазн шагнуть от философии к масштабному действию, опрокинув правила игры. В девяностые все мы были хакерами.

⁵⁰ Павловский Г. Запись разговора с М. Гефтером, 1992, б. м. — Архив автора, 1992.

⁵¹ Павловский Г. Запись разговора с М. Гефтером, 23.03.1993. — Архив автора, 1993.

марш — приуготовление готовности русских умов к альтернативности, к диалогу на этой основе... Он меня притормаживал:

Нужна систематичная работа в малой среде. Никто не знает, когда, как и где она ляжет на чашу весов... Открывать задним числом преданные имена, умолкнувшие голоса, отклоненные мысли... Дать им ход в речь и в политику. Дать время, чтобы процесс возобновился. Ускорить его могут либо совсем плохие дела, либо подход неизвестных пока свежих сил. То и другое не исключено. Но как иначе, Глеб? Попытаться вдруг сразу повлиять на миллионы людей? Можно, конечно, пытаться. Но эти говорухины тебя все равно обскачат⁵².

Михаил Гефтер был прав дважды — «говорухины» меня обскакали, а дела плохие совсем.

ИЗ РАЗВАЛИН — КУДА?

Я отличаю предальтернативу 1992–1995 от своих тогдашних блужданий и не намерен смешать свои взгляды с Гефтеровыми более, чем те перемешались.

В чем его альтернатива холодной войне? В общих чертах она такова. Холодная война началась с задачи *остановки* сталинского Союза как машины мировой революции, которая не останавливается и не может себя остановить. Октябрь 1917-го в руках Сталина превратился в *противоальтернативную* мощь «неостановленной революции». (И в боине 1993 года Гефтер усматривает «кровавую отрывку неостановленной революции».) Неостановленная, та не революция уже, а оборотень — подвижные фрагменты ее мертвых тел, структуры «сталиноподобия».

«Антикоммунистический коммунизм» Сталина — противоальтернатива и чистая негативность революции — не мог хорошо кончить. Хрущевское поколение пыталось вернуть ему жизнь, пробовал левый Запад. Но ничто уже не могло его оживить. Конец СССР стал концом коммунизма.

Первый же бесповоротный шаг к выходу из холодной войны мог означать сокрушение. И по закону маятника затоптанная мировая альтернатива не могла остановиться у столбов границы СССР — она вернулась внутрь Союза. Попытки удержать советское пространство, вводя в сферу влияния все новые территории Мира (поддержка левых режимов, африканских и азиатских псевдосоциализмов), — это уже крайности деграданса. Процесс с ускоренной

⁵² Павловский Г. 1993 : элементы советского опыта. Разговоры с Михаилом Гефтером. — М. : Европа, 2014. С. 262.

мощью пошел в обратном направлении и, споткнувшись в Афганистане, обрушился внутрь⁵³.

Планета переживает опасную встряску. Истинная «геополитическая катастрофа» 1991-го конечно не распад СССР, а крах мироустройства холодной войны. Но кризис не разрешился. Человек холодной войны не сошел со сцены ни на Западе, ни на Востоке. Конец коммунизма переходит в кризис самого *Homo historicus*: вызов роду людей, причем неопознанный вызов.

В послевоенной истории образовалась такая воронка, что мы все еще из нее не вышли. А поверх надвинулась холодная война, где люди живут под знаком способности уничтожить себя средствами, которые заведомо не будут приведены в действие!⁵⁴

Ситуация, которой, вообще говоря, человек долго выдерживать не способен. И какой же запас прочности в *Homo*, если он теперь из нее выкарабкивается! Начался переход в принципиально другое существование. Но по старой технике истории, по прежнему способу согласования ею разных рядов, — ей трудно их согласовать⁵⁵.

Гефтер видел в происходящем «катастрофу Цели», но открывшую для русских путь к чему-то большему, чем прежде. Он звал прекратить оплакивать Союз и войти в будущее вдумчиво и осторожно. Русская история накопила небывалый опыт: Россия стала полигоном проекта единого человечества. Страна в руинах закончившегося родового эксперимента *Homo sapiens* — из руин надо выйти. Внутри оставаться опасно.

«Не в развалинах, а из развалин!» — звал Гефтер евангельским парафразом. Теперь это выглядит странно: вслед святому Франциску, историк проповедует птицам? Оглушей стране Гефтер проповедовал ее мировые возможности: как это, что нам делать? Строить договорную Россию, «дом Евразии»! Россию как «страну стран»: республиканскую конфедерацию в Мире миров. Он не нашел общего языка с людьми новой России. Тем обидней, что с начала девяностых Гефтер стал мейн-стримной фигурой — он выходил в телеэфир, его охотно публиковали. Не понявшие его темных текстов шли с расспросами — и он отвечал неизменно дружелюбно, но всегда не так, как ждали. Ему не возражали, его просто не слушали.

⁵³ Павловский Г. Запись разговора с М. Гефтером, 1993, б. м. — Архив автора, 1993.

⁵⁴ Павловский Г. Запись разговора с М. Гефтером, 1992, б. м. — Архив автора, 1992.

⁵⁵ Павловский Г. Запись разговора с М. Гефтером, 1993, б. м. — Архив автора, 1993.

«Кому мне все это рассказывать? Давления своего масштабного опыта в России не ощущают»⁵⁶.

Так вышло, что при конце его жизни благодарной аудиторией остался я. Три года диалогов в Ватутинках шла «метисация»: я синтезировал идеи Гефтера, отбирал их и при этом переиначивал.

В НАЧАЛЕ — ВОПРОС ИЛИ ОШИБКА?

Говорить о методе Гефтера сложнее, чем о его языке. Метод речи или метод письма? Или метод речи, метод письма и метод исследования, собственно? Вопрос так поставить можно, но это не гефтеровская постановка вопроса. Его мысль устанавливает первенство вопроса: Гефтер идет к истине, движимый «вопросами без ответа».

«И тут и там не ответы, а лишь всегда вопросы. Вопросы, несводимые воедино»⁵⁷.

Приоритет вопрошания запрещает свести мысли в теорию ли, в школу — вопросы бунтуют! Гефтерово вопрошание дает силу сопротивляться мейнстриму. Но для меня неприемлемой была мысль, что вопросом все и окончится: вопрос переходит в действие, а действие — однозначно! Гефтер выставлял действию ряд жесточайших табу, не отделяя табу для мысли от табу для поступков. Он ставит табу превыше морали — и мы опять расходимся: для трикстера табу неважны. Объявление чего-либо в политике табуированным лишь подстрекает импровизировать. Но и к импровизациям отношение Гефтера двойственно.

Всегда налицо та или иная возможность? Нет, вся история учит: не всегда! Так может человек исторический, собравшись с духом и силами, преодолет былую свою склонность к импровизации, от которой многие триумфы, но и все беды? Вероятнее всего, не преодолет! Да и если смог, остался ль бы человеком?⁵⁸

Гефтер началу действий предпосылает табу — а я думал, что для начала вполне допустима ошибка! Застряв, сдвинуться с места можно фантазмом, визионерской акцией — толстовской «энергией ошибки». Легкомысленно отнесясь к дилемме Начала, я не ставил ограничений действию — ведь будущее альтернативы все равно не в моих руках. Я знал

⁵⁶ Павловский Г. Запись разговора с М. Гефтером, 1994, б. м. — Архив автора, 1994.

⁵⁷ Гефтер М. Я. Россия : диалоги вопросов. — М. : Утопос, 2000. С. 7.

⁵⁸ Гефтер М. Я. «Все мы заложники мира предкатастроф» : письмо Стивену Козну // Из тех и этих лет / под ред. Е. И. Высочинной. — М. : Прогресс, 1991. — С. 85–91.

свою ближайшую цель: сначала вернем страну! Гефтер знал об этой моей ошибке, но рассчитывал меня сдержать.

Pavlovskiy, G. O. 2020. "Al'ternativy i protivoal'ternativy v deystvii i v istorii [Alternatives and Counter-Alternatives in Action and in History]" [in Russian]. *Filosofiya. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki [Philosophy. Journal of the Higher School of Economics]* IV (2), 30-53.

GLEB PAVLOVSKIY
DIRECTOR OF THE "RUSSIAN INSTITUTE", MOSCOW

ALTERNATIVES AND COUNTER-ALTERNATIVES
IN ACTION AND IN HISTORY

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-2-13-162.

АНДРЕЙ ТЕСЛЯ*

«РУССКИЙ ВОПРОС — ЭТО ОДИН ИЗ ВОПРОСОВ У ГЕФТЕРА ВЕДУЩИХ»**

ВЕСЕДА С МИХАИЛОМ РОЖАНСКИМ

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-2-13-162.

Андрей Тесля: Давайте начнем с самого банального, с того, каким образом, когда и почему случилось знакомство с Гефтером?

Михаил Рожанский:¹ Несколько раз писал об этом. Это история такая очень нехарактерная для меня. Не знаю, по каким причинам, по разным, у меня нет стремления — с кем-нибудь значительным познакомиться. Я не очень расположен просить автографы. Чему удивлялись, когда была презентация «50 на 50», рядом сидели Сахаров, другие имена можно называть. И меня буквально толкал в бок кто-то: «Почему книжку не подписываешь?» Потому что все — и авторы, сидевшие на сцене, и зрители — пустили тут же свои экземпляры по рукам — тех авторов, которые там были. Я сидел на сцене, а у меня там автограф только Гефтера и Вероники Гаррос, которым замысел книги и принадлежал, да еще, по-моему, Гали Козловой, как редактора и «мотора» издания. И единственное исключение в жизни, когда сознательное знакомство — это Гефтер. И то такое — в два этапа. У меня было потрясение такое

*Тесля Андрей Александрович, к. филос. н., старший научный сотрудник, научный руководитель (директор) Центра исследований русской мысли Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (Калининград), mestr81@gmail.com, AnATeslya@kantiana.ru.

**© Тесля, А. А. © Философия. Журнал Высшей школы экономики. При участии Елены Коркиной. Работа поддержана из средств субсидии, выделенной на реализацию Программы повышения конкурентоспособности БФУ им. И. Канта в рамках Проекта 5–100.

¹Михаил Яковлевич Рожанский, директор Центра независимых социальных исследований — Иркутск (ЦНСИО).

эмоционально-интеллектуальное, я бы сказал, от книжки «Историческая наука и некоторые проблемы современности»². Я писал несколько раз об этом, и как-то Глеб [Павловский], прочитав, прореагировал, что у него был аналогичный момент. Я сидел себе в библиотеках, в основном в ИНИОНе и в Ленинке, и читал книжки, набирая материалы и мысли к своей диссертации. Смотрел, естественно, книги по методологии истории, потому что меня интересовала возможность реконструкции какого-то исторического состояния сознания и так далее. Читал массу галиматъи, в которой хоть каким-то образом эта тема затрагивалась — истматовской литературы, литературы по общественному сознанию и всякое прочее... Всякую прочую схоластику марксоидную.

А. Т.: Это времена аспирантуры?

М. Р.: Это 1980–82-й год в Москве. Я приехал в аспирантуру в декабре 79-го года, а уехал в январе 83-го.

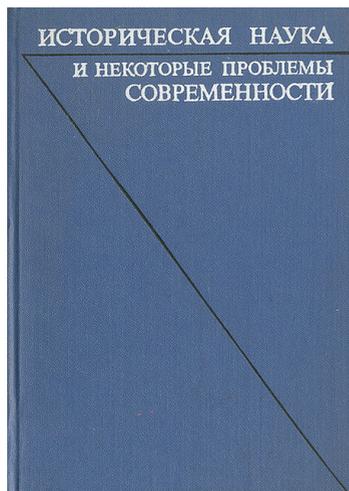
А. Т.: А официальная тема диссертации?

М. Р.: Официально она звучала очень дико. «Законы (или закономерности, я сейчас уже не помню) развития сознания масс». У меня стояло «массовое сознание», но мой шеф — битый-перебитый, двенадцать лет сидевший и очень ориентированный марксистско-ленински и по-большевистски, просто из техники безопасности заменял, настаивал заменять «массовое сознание» на «сознание народных масс». Ну «народных» как-то удалось убрать при обсуждениях. То есть тема звучала совершенно истматовски, а то, что меня больше всего интересовало, это называлось историческая типология общественного сознания. Правда, уже в диссертации, особенно в автореферате и в выступлении [на защите], я само понятие общественного сознания поставил под сомнение. А потом уже откровенно в статьях писал, когда продвинулся в этом направлении. Приехал в аспирантуру философски необразованным совершенно человеком, мне даже в истмат нужно было каким-то образом входить глубже, чем в тот уровень, на котором я два года его преподавал. Поэтому сначала потонул во всей этой литературе, которую нужно было прочитать. Но одновременно читал много раннего Маркса, «Тюремные тетради» Грамши. Читал сборники и статьи 50–60-х, чтобы понять, что у нас происходило с методологией истории.

²Историческая наука и некоторые проблемы современности : статьи и обсуждения / под ред. М. Я. Гефтера. — М. : Наука, 1969.

А. Т.: А «Тюремные тетради» Вы читали русский перевод 1950-х годов, «оттепельные»?

М. Р.: У меня ещё со студенческих времён были «Тюремные тетради». Томик 57-го года или 58-го³. Потом выяснилось, что он сильно купирован, но у меня он был со студенческих времён, курса со второго. А читал я его одновременно, параллельно с молодым Марксом, как сейчас помню, в первые аспирантские каникулы в Иркутске, живя на даче. С собой у меня были «Война и мир», «Тюремные тетради» и три тома Маркса — 40-й прежде всего. Но это и в Москве было. И первые самые тома Маркса, Энгельса — работы сороковых...



Обложка книги «Историческая наука и некоторые проблемы современности» / “Historical Science and Some Problems of Modernity”, book cover.

логия». А потом вот эта книга, синяя. И самым большим потрясением в этой книге... там многое очень зацепило, но самое большое потрясение — это было короткое выступление Гефтера. Короткое оно было

А. Т.: То есть «Немецкая идеология», «Святое семейство»?

М. Р.: Да, вот это всё. Но это я читал ещё и до аспирантуры, поскольку преподавал. А вот тогда открыл для себя «К еврейскому вопросу», журналистские статьи молодого Маркса, из которых потом много чего выросло, ну и «Рукописи», разумеется.

В диссертации главной частью была именно историческая типология — и я стал искать, естественно, какие методологические подходы существуют, как это делается, потому что кроме Гуревича я до этого ничего не видел. И, в первую очередь, искал материалы разных дискуссий, которые были изданы... Там, наверное, впервые именно Гефтера и прочитал. Это был материал одного из совещаний историков, изданного под названием, по-моему, «История и социология».

³Имеется в виду частичная русская публикация «Тюремных тетрадей» в составе издания *Грамши А. Тюремных тетрадей* / пер. с итал. В. С. Бондарчука, Э. Я. Егермана, И. Б. Левина // *Избранные произведения*. В 3 т. Т. 3 / И. Грамши ; под ред. К. Ф. Мизиано. — М. : Издательство иностранной литературы, 1959.

уже в публикации, как мне Гефтер потом сказал. Он его сильно сократил, потому что считал, что просто неприлично, что редактор книги занимает в ней столько места.

Выступление на обсуждении доклада Арсеньева об историзме и логике. И там момент, о котором говорит Гефтер, потом, естественно, выяснилось, автобиографический, про осень 1941-го года под Москвой, стечение случайностей, которые не привели к тому, что немцы зашли в Москву. А привели к тому, что они не вошли. Насколько это было случайно? И концептуализация этого, постановка вопросов из этого эпизода именно к историзму или, как точнее сказать, историцизм при нашем исследовании конкретной истории, конкретных исторических событий, рефлексия по отношению к инерции сознания, к инерции наших представлений, когда инерция держится на целостности системы взглядов. Мы боимся вытащить какое-то звено, поставить под сомнение, потому что рухнет взгляд системный. И вот эта инерция так держит. Я потом на основе своей диссертации монографию готовил под названием «Инерция общественного сознания», но это позднее. А тогда опарашенность от этого открытия, она очень сильно сработала.

Потом произошло следующее. У нас на кафедре, где я был в аспирантуре, была череда семинаров по поводу методологии истории. Это было одно из стержневых направлений кафедры «Философии гуманитарных факультетов» МГУ. Огромная аспирантура: аспирантов было, наверное, раза в три больше, чем преподавателей. И половина аспирантов были историки, выпускники истфаков провинциальных. Остальные выпускники философских, как правило, и иногда филологов, потому что вторым стержневым направлением была тема творчества. Заглавный, первый доклад дал импульс этим семинарам — выступление Михаила Абрамовича Барга. Не знаю, его фамилия сейчас известна или нет, но тогда она была довольно громкой.

А. Т.: То, что он потом оформит в книгу 1987 года, «Эпохи и идеи: Становление историзма»?

М. Я.: Да, в этом русле. Доклад вообще был об отношениях между истматом и методологией истории. Для меня тогда это было одно и то же. Для меня смысл истмата вообще и польза от него была только в том, что это концепция исторического процесса и методология истории. Остальных смыслов я не понимал. И не понимал, как не будучи историком и не занимаясь историческими исследованиями, можно заниматься методологией истории. И я выступал на обсуждениях — уже не на том

семинаре, на котором Барг выступал, а потом был следующий, где выступали аспиранты и преподаватели. И у меня было такое выступление, на которое очень сильно прореагировали многие из тех, кто был на кафедре — именно по поводу отношений между социологией и историей. И самой бурно прореагировавшей была Ирина Александровна Желенина, она работала на кафедре, — историк по образованию, преподавала она в основном историкам. А через несколько дней мы с ней столкнулись в буфете. Она села ко мне за столик и стали разговаривать. На докладе Барга, она руководила семинаром, когда Барг выступал, и когда Барг вспомнил «Всемирную историю», она подала замечательную реплику «„Всемирная история“ — это моя молодость». Все рассмеялись, но так выяснилось, что она работала в своё время в секторе, который занимался подготовкой издания «Всемирной истории», что это была её первая работа после истфака. И она что-то об этом мне рассказывала, а я её спросил: «А Гефтера Вы знали?» Она: «Ой, вас надо обязательно познакомить». Я отнекивался и так далее. И это было, наверное, уже осенью 82-го года. А в январе 83-го я бегал с документами для ВАКа. И где-то в начале 20-х чисел, уже защитившись, я уезжал. Защита была 5 или 6 января. И я с обходным листком зашёл на кафедру. И там была Желенина. Она говорит: «Ой, что я для вас ещё могу сделать? Я же вас с Гефтером должна познакомить!». Я не помню даже, успел ли сказать ей что-то. Она сняла трубку и набрала номер. Я вообще сильно потом это оценил. Я не знал, что Гефтер — *persona non grata*. Понятия об этом ничего не имел. И не каждый поддержит общение с ним даже по телефону. Я оценил потом уже, что Желенина — она только внешне выглядела наивной — сделала. Она мельком переговорила, заинтересовала его уже тем, что у нас одинаковые имена-отчества, и передала мне трубку. Гефтер объяснил, как доехать, договорились о времени. Понятно, что это такой визит-знакомство на час, взял с собой автореферат, как-то подписал. Слава богу, у меня был другой с собой ещё экземпляр автореферата. Я переписал потом надпись прежде, чем ему вручить. После того, как поговорили, я понял, что неуместно то, что я первый раз написал, я не помню, где-то у меня, может быть, лежит автореферат с этим дежурным автографом.

А. Т.: А почему? Что там поменялось?

М. Р.: Я, не зная о человеке, я писал что-то там по поводу уважения к трудам, а когда я с ним поговорил, это было интеллектуальное потрясение. Но поговорили мы не час. Ушел под полночь, вернулся в «Высотку». Это был чуть ли не последний день перед моим отъездом,

перед моим отлётом из Москвы после жизни в аспирантуре. Естественно в общезнании в тот вечер меня ждали аспирантские друзья. Ждали, что я там как-то попрощаюсь. Были какие-то личные отношения и так далее. А я приезжаю такой, под полночь возвращаюсь вместо восьми часов, начала девятого... Мы действительно несколько часов говорили. Это было потрясение, конечно, интеллектуальным уровнем, видением тех процессов. Говорил в основном он. Это вообще была обычная история. Причём отталкиваясь от каких-то сюжетов, о которых он меня спросил, чем я занимался в диссертации, отталкиваясь от этого, развивал методологическую рефлексию.

Потом, всякий раз бывая в Москве, я с ним встречался. И всякий раз возвращался к теме — приехать в Иркутск, чтобы он приехал в Иркутск. В отношении к Иркутску тема декабристов была ведущей — может быть, ещё тема Распутина, позднее. Его очень цеплял феномен Распутина. И что происходило вокруг него.

А. Т.: А чем?

М. Р.: Вот этим выравставшим «русским сознанием» и необходимостью диалога с его лидерами. И попытка понять, способно ли это вот нарастающее к диалогу, или это уровень Кожина остаётся и останется. И Палиевского, может быть, не знаю. О Палиевском тоже, о значении Палиевского я тоже впервые от Гефтера услышал, я тоже не очень понимал.

А. Т.: А каково для Гефтера было значение Палиевского, Кожина?

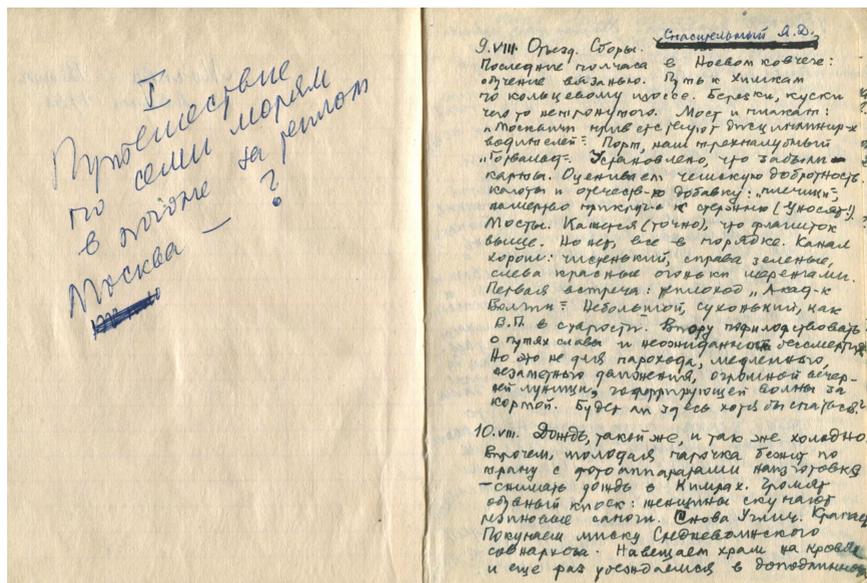
М. Р.: Нет, Кожин — чисто эпизод. У Михаила Яковлевича есть статья по поводу дискуссии «Классика и мы» большая. Там, если Вы читали статью, там главная фигура — это Палиевский. И даже, вручая мне эту статью, когда я заговорил о Кожине, Гефтер сказал, что, конечно, это как бы самый был умный человек там — Палиевский, имея в виду, вероятно, какую-то системность представлений, может быть, проработанность, определённую позицию. «Русская партия» тогда ещё не была обозначена этим понятием, какими-то в разговорах эвфемизмами пользовались. И, кстати говоря, когда Гефтер был в Иркутске, одна из постоянных целей была — искал разные выходы — это встретиться с Распутиным.

А. Т.: А когда он был в Иркутске?

М. Р.: Я его всё время звал в Иркутск. Всё это было такой раскачкой. Я звал просто в гости. Он инвалид войны. У него бесплатный билет был бы. Это же те времена.

А. Т.: И звали просто погостить?

М. Р.: Да, просто в гости. Есть где жить, потому что мы с женой снимали квартиру трёхкомнатную вдвоём. И совсем вот уже август, вот уже осень 85-го года, путешествуем по Средней Азии с Мариной. Она с Алма-Аты, поэтому Казахстан, а потом Узбекистан — родственники, потом ещё где-то возле Узбекистана. Я всё время звоню в Москву, потому что я не знаю, когда возвращаться в Иркутск — когда же он, наконец, к нам приедет. Возвращаемся, начало сентября уже, а он всё откладывает. У него всё неопределённо. И как-то я звоню, трубку берёт Рахиль Самойловна. И говорит: «Вы так не добьётесь, Вы его просто не знаете. Вы скажите твёрдо, что в такое-то время Вы будете



Дневниковые записи М. Я. Гефтера о речном круизе по Волге от Москвы до Астрахани (август 1965 г.). Источник: <http://gefeter.ru/> / Diary entries of M. Gefter on a river cruise along the Volga from Moscow to Astrakhan (Aug 1965).

в Иркутске, надо приезжать в такое-то время. А такое-то время будет занято». Примерно так и было сказано. Он прилетел в начале октября. Было это 7 октября 1985-го года. Самолёт застрял на день в Омске — в Иркутске был обильный снегопад, Михаил Яковлевич приехал с каким-то путевым впечатлением сильным. Его как инвалида войны поселили

в гостиницу и он попал в номер на одну ночь с каким-то человеком из другого совершенно мира. И узнал о нём столько, что это придало сильно объём ещё каким-то его представлениям о России, об истории России. Постоянно всплывали какие-то сюжеты из этой встречи во время иркутских разговоров: судьба конкретной семьи, конкретного человека. Это всё в его записных книжках можно найти. Он коротко всё время записывал. У него была записная книжка. И в Иркутске он писал вплоть до того, что в троллейбусе, в автобусе сядет в кресло, сразу достаёт блокнотик, ручку и начинает записывать, чтобы не забыть что-то. Кажется даже, что он, стоя в автобусе, когда мы ездили по декабристским местам, записывал. Чтобы что-то не забыть.

А в Иркутске он как-то втянулся в общение с моими друзьями, приятелями, в какую-то мою жизнь. Тогда ещё прошёл последний Летний университет⁴, мы ещё собирались со школьниками и не только школьниками на разные лекции, какие-то темы обсуждать. Я ещё вёл философский клуб в университете тогда. Мы провели клуб на тему, кото-



Иркутск, в гостях у Рожанских (1985). Фото из архива М. Я. Рожанского / Visiting Rozhanskys, Irkutsk (1985).

рую подал Гефтер, и с его же подачи клуб решили провести в Спасской церкви вечером, где был тогда отдел музея краеведческого, а сторожем работал мой друг и коллега по кафедре Феликс Козьмин. С подачи М. Я. мы взяли тему (не помню точное название) про человеческое лицо, которое нам является через портрет. Мы после художественного музея разговаривали об этом и М. Я. как-то таким образом сформулировал тему, что она стала темой для дискуссии. На клуб собрался народ, который уже услышал, что тут есть какой-то очень интересный

⁴Летний университет, который Рожанский организовывал в 1979–1985 годах для старшеклассников, интересующихся гуманитарными предметами

человек. Но всё шло довольно вяло, говорились банальности, и М. Я. до определённого момента молчал. А потом в ответ на высказывание некоторых преподавателей философии такого, внешне концептуального, толка выступил с сильным, страстным монологом, потрясшим всех — настолько культурным.

Ещё его очень зацепило моё и моих друзей общение со школьниками. Вот это формула его, возникшая, чтобы это общение описать — «импровизация равенства» — очень многое мне объяснило и в том, как складываются наши отношения с ним, и в его интересе ко мне, который для меня был совершенно неожиданным и до этого совершенно необъяснимым.

И фраза, брошенная тогда в разговоре или в прощальных разговорах с кем-то из моих друзей иркутских. Ко мне домой просто съезжались вечером. Тогда мы очень сдружились во время его пребывания



Иркутск, в гостях у Рожанских (1985). Фото из архива М. Я. Рожанского / Visiting Rozhanskys, Irkutsk (1985).

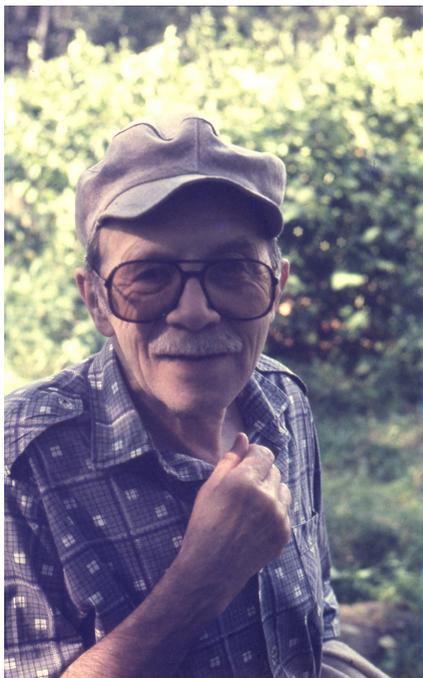
здесь, были на «вы», но он бросил фразу, когда прощался с моими друзьями (правда, не только друзья там были), о том, что ему здесь

по-человечески интересно, важно и так далее, а в мою сторону махнул рукой, что «про Мишу вообще не говорю, он так похож на моих друзей того времени предвоенного». А его поколение для меня было действительно очень важным. До сих пор очень важно — не как пример, как предмет понимания.

Второй важный момент, который он тоже чувствовал. Я уже знал к тому времени, что он там *persona non grata*, что диссидентство, что были обыски, а я тут преподаватель марксистско-ленинской философии вообще. Ну как понять его интерес ко мне? Я же для него должен быть, не знаю, слугой режима. А для него эта тема действительно существовала, видимо. Потому что однажды он мне сказал, мы покупали, по-моему, ему уже обратный билет — очередь была в агентстве. Ходили около агентства, разговаривали. И он сказал, что не советует мне читать лекции по международному положению. А я был лектор-международник — активный, популярный. И вёл кружок международников ещё на истфаке. Когда вернулся из аспирантуры, мы с другом моим Витей Дятловым возобновили кружок в память об учителе, который за несколько месяцев до этого умер, который вёл двадцать лет кружок и который нам очень много дал. И М. Я. сказал, что «не советую вам читать лекции международные, потому что это очень огосударствлевает мозги». Вот для меня эта фраза «огосударствлевает мозги» тоже сыграла очень большое значение, потому что она точно очень попала на тот процесс, который шёл. Надо представить, что такое 85-й год. Дело было даже не в том, что уже Горбачёв пришёл. Процессы в мозгах начались в 83-м, в 84-м году. На том же кружке международников мы делали семинары о противоречиях социализма, например. Уже в эту сторону двинулись. В сторону внутренних процессов от борьбы идеологической. И главная наша тема — спасти мир от ядерной катастрофы, которая казалась иногда неминуемой, сомкнулась с темами внутренними.

И в последний вечер, когда все собрались, был еще примечательный эпизод. Недалеко от места, где я жил, был Дворец культуры профсоюзов. И там было некоторое действо, связанное со славянской культурой. Что могло быть связано в конце октября — начале ноября в 85-м году? А, «Слово о полку Игореве» было почему-то юбилейным! И оттуда пришли восхищённые вечером мой друг Феликс и его умная подруга. Восхищенные от речи Распутина, прежде всего. Феликс стал пересказывать речь Распутина. Если тезисно: русский народ и культура гибнут, армия у нас уже мусульманская, ну и там ещё что-то. И я не помню уже всех этих пассажей и аргументов того времени

о том, как русский народ изгоняют, и «Слово о полку...» — в то время появилась версия насчёт болгарского следа в «Слове о полку Игореве» — что вот и «Слово» хотят отобрать. И два момента просто с этим связаны. Первый. Гефтер искал встречи с Распутиным. Совсем рядом были люди, которые близки к Распутину. Вот мы встречались с этими людьми, ко мне в гости кто-то приходил, но никто на то, чтобы познакомить Гефтера и Распутина, не шёл. А тут Феликс сказал, что «мы подошли к Распутину — и позвали сюда». Мол вот есть человек, с которым можно поговорить. Он [т. е. Распутин] сказал, что он очень устал и так далее. И не пошёл. Такая была какая-то ситуация. И второй момент. Когда Феликс пересказывал распутинское выступление, он вдруг



М. Я. Гефтер на даче под Иркутском.
Фото из архива М. Я. Рожанского /
M. Gefter at the dacha near Irkutsk
(1985).

почувствовал, что я закипаю, и спросил меня о реакции. Я сказал что-то о том, что жутко, если властители дум в стране с ядерным оружием ощущают, что страна унижена и оскорблена, что нас со всех сторон гнобят, затирают. И тут высказался М. Я. внешне спокойно, но чувствовалось, насколько это живущая в нем тема. Там были более мощные какие-то интеллектуальные формулы, сейчас не воспроизведу. И тема эта для него здесь в Иркутске была очень важная — понять, что стоит за этим. Это темой №2 в Иркутске для него оказалось. Он с ней приехал.

А темой № 1 уже в Иркутске оказалась русская Сибирь, которая альтернативна тому, что на первом плане видишь в Москве. Потом об этом и было интервью «Россия в Сибири», которое я у него брал, оно было именно об этом. Когда я его спросил, что

такое Россия в Сибири, он стал формулировать, но это было позднее. Наверное, в восемьдесят восьмом.

А это 85-й год.

Потом я бывал в Москве. И с первой же поездки после этого я жил у Гефтеров, потому что он позвал сразу. И когда была возможность, я жил у них, бывая в Москве. Всю уже вторую половину 80-х годов. Не всегда бывала возможность, потому что иногда там уже Володя с семьёй жил у них в Черёмушках по разным причинам.

А. Т.: Два коротких вопроса. Как долго Гефтер пробыл в Иркутске в 85-м?

М. Р.: Три недели. Второго ноября уехал. Седьмого приехал, октября.

А. Т.: И второй — с Распутиным он в дальнейшем встретился?

М. Р.: Нет. Он никогда с ним не встретился. Он пытался передать ему на подпись письмо об освобождении политических заключённых. Было такое письмо написано. Он передал письмо Распутину, если я правильно помню, через Дмитрия Гавриловича Сергеева, с которым мы тоже тогда благодаря Гефтеру познакомились. Очень хороший писатель, иркутянин. Это отдельная история, откуда Гефтер с Сергеевым знакомы. Ну там ветераны войны и так далее, люди очень оказались созвучны друг другу, но обращались по имени, отчеству. По-моему, до этого они уже встречались, а, может, заочно были знакомы. А в Иркутске Дмитрий Гаврилович приехал к нам домой — ещё многие люди приезжали к нам, чтобы встретиться с Гефтером, из тех, кого он знал заочно. И это была тоже для меня такая череда знакомств уже в Иркутске. А какие-то знакомства и даже дружбы через меня появлялись у него. Распутин передал устный ответ с Сергеевым — насколько я помню то, что сказал Сергеев — Распутин ответил, что он по-другому будет обращаться, будет сам действовать в этом направлении. Я предположил для себя, что «по-другому» — это означает, что как бы там за своих идёт борьба, там как-то определяют, за каких политических заключённых бороться, а за каких нет. В том круге, в котором уже был Распутин — к этому времени символическая фигура, конечно, с очень мощным символическим капиталом.

«Русский вопрос» — это один из вопросов у Гефтера ведущих. Мне уже он точно тоже был не безразличен. Но исследовательски я никак не относился, копил впечатления, пока в Иркутске не стали происходить разные события уже с прямыми столкновениями и расколом среды.

А дальше сближались с каждым моим приездом в Москву, он меня куда-то водил, с кем-то знакомил. Мы с ним...

А. Т.: А жили в Москве по каким обстоятельства?

М. Р.: Я в Москву приезжал либо в чём-то участвовать, либо в библиотеках поработать. Обычно это были командировки всё-таки. В 1985-м, в 86-м, и в 87-м ни один раз. Тогда у нас каждый год была возможность командировки в Москву — в библиотеках поработать. Не говоря уже о том, что раз в несколько лет были какие-то стажировки на несколько месяцев. Естественно, чаще всего ориентировались на кафедру, где учились в аспирантурах — но я уже не ориентировался. Потому что у меня не просто было на кафедре, где был в аспирантуре. Там был скандал, который для меня чуть не закончился волчьим билетом, исключением из партии и так далее. Это была кафедра, где половина людей сидела, а половина людей когда-то, можно сказать, сажала. Во всяком случае с психологией разоблачителей. И там эта борьба была, всё определяла — и я попал в жернова этой борьбы. О поводе рассказывать долго, а причина того, что я стал крайним, именно в том, что я был аспирантом у Григория Георгиевича Андреева и, вообще, был близок на кафедре как раз к людям, кого сажали в своё время, кто сидел. Или кого в иные времена могли бы посадить. Но в результате всякой сложной борьбы и причин, о которых я что-то узнавал, а о чем-то догадывался, из аспирантуры я не вылетел, партийных наказаний не получил и диссертацию защитил.

В общем приезжал в Москву на конференции или работать в библиотеках, но моя повестка дня в Москве складывалась, во многом, из повседневного общения с М. Я. Или почти повседневного, если я жил не у Гефтеров на Новых Черемушках. По-моему, как раз в 1986-м году — то ли поздней зимой, то ли весной мы с ним хоронили такого бывшего деятеля правой оппозиции и заметного автора тамиздата Элькона Лейкина, автора книги «Истоки сталинизма» (под псевдонимом Зимин). Потом разбирали его библиотеку, потому что формальная вдова Лейкина, ухаживавшая за ним последние годы в обмен на московскую квартиру в наследство, сказала: забирайте быстрее, иначе я просто выброшу все эти книги, я — член партии, я не могу это хранить. Это отдельная историю о том времени — описание похорон Элькона Георгиевича. Гефтер что-то отобрал себе из книг, мне он разрешил взять всего Богданова, который там был. А мне тогда это было всё интересно с точки зрения, как применить теорию систем в исследовании сознания. Тогда же я, извините, уничтожил автограф Шаламова. По невежеству — не слышал ещё тогда это имя к тому моменту.

А. Т.: А можно эту новеллу развернуть?

М. Р.: Она простая. Её, по-моему, даже в ЖЖ как-то описывал. Одна моя собеседница, прочитав это, до сих пор простить мне не может, как это... Там на балконе уже завьюженные снегом лежали разобранные по листам — обложки были сняты и листы разделены — толстые журналы, в том числе, и журнал «Юность». То есть просто листы стопами. Я их перебирал и на одном из листов около какого-то стихотворения фотография. Хотя не помню, с фотографией или без фотографии там был автограф. «Дорогому Элькону» или ещё что-то. И подписано «Варлам Шаламов». Но имя «Варлам» непонятное и я в спешке почему-то другое имя какое-то запомнил. И мы уже с Гефтером идём оттуда и тащим на санках или в коляске книги, которые взяли. И я спрашиваю: «А кто такой Виктор Шаламов?» Он остановился. И тревожно: «Варлам? Автор „Колымских рассказов“, а что?». Он уже что-то почувствовал, с подозрением смотрит. Я говорю: «Да там был листок со стихотворением», там был его автограф. И у него был первый порыв — идти обратно. Потом он махнул рукой, и мы пошли дальше.

Тогда же — в конце 1985 или в начале 1986 года — знакомство с Анной Михайловной Лариной. Может быть, даже с Юрием, в смысле, с сыном Бухарина, я не помню, тогда или нет. В кино даже вместе с Анной Михайловной ходили, «Мефисто» смотрели. Спешили с М. Я.: неудобно, если заставим Анну Михайловну ждать, она хоть и бывший зэк, но всё-таки девочка из «Метрополя».

И тогда же, кажется Глеб в Москве появился. К Ларисе Иосифовне Богораз ходили что-то обсудить. И Сашу Даниэля — одного из самых интересных людей нашего поколения — первый раз увидел. Мы уже от Ларисы Иосифовны поднимались и уходили, а он зашёл.

И всё время, повседневно общение шло на какое-то углубление. Масса рассказов о людях, судьбах и, естественно, из истории, обсуждение разных тем.

Или в начале 1987 года. Как раз в тот момент, когда пошли освобождённые политзаключённые через Москву, в том числе через дом Ларисы Иосифовны и она пересказывала их рассказы. И в начале 87-го года ещё был замечательный эпизод. День рождения Анны Михайловны — 27 января 87-го года. Когда Михаил Яковлевич повёл меня. Сидит компания. Что-то интересное рассказывает какой-то человек. И по рассказу я начинаю понимать, что это сын Осипа Пятницкого. Что-то рассказывает М. Я., поднимает тост за то, чтобы в наступившем году случилось, наконец, то, чему посвятила жизнь Анна Михайловна. Не помню, конечно, дословно, но понятно, что речь о реабилитации Бухарина. Потом

приходит какой-то человек, и М. Я., как я замечаю, замолкает. Он потом мне объяснил, что не хотел, чтобы пришедший обнаружил его присутствие. А это был ничего не видящий сын Антонова-Овсенко, который, в общем, и почти не оставлял никому возможности говорить. Рассказывал, как ходил к Кагановичу домой, но тот с ним говорил через дверь, прикинувшись домработницей, еще что-то рассказывает. А потом появляется такой замечательный и в отличие от всех сидящих, какой-то легкий, очень жизнеутверждающий и оптимистичный человек. И до меня вдруг доходит, что единственный, кто это может быть, вот этот человек — это сын Антонио Грамши. Понимаете ситуацию? Не мальчик уже, мне было почти 33 года, но провинциальный товарищ, для которого все эти имена там в где-то в большой истории.

По-моему, где-то в конце 86-го года, когда очередной раз я жил в Черемушках, в день отъезда буквально я ему предложил всё-таки обращаться ко мне на «ты». И он очень обрадовался возможности. Вот это подчёркивание постоянное, которое некоторых окружающих нервировало, подчёркивание особого его отношения, и я пытался всё время объяснить это себе. И не мог объяснять кроме того, что, я, может быть, слушаю иначе, чем другие в чём-то. И вот этой созвучностью поколений просто. Потому что московские его молодые друзья и околomosковские, они как бы из другого поколения. Не его поколения. А я провинциально застрял. Благодаря провинциальности застреваешь в каких-то более, может быть, очень глубинных вещах. Об этом Пастернак писал, кажется в «Люди и положения» — о том, что Маяковский благодаря провинциальности своей мог замечать то, что не видели вот эти ребята из петербургской да и московской элиты интеллектуальной. Или проще говоря, я от московских ритмов и некоторых актуальных мнений, которые иногда горячо или с ироничным апломбом высказывались, был несколько отстранен, относился к ним рефлексивно. И в этом мы совпадали.

А. Т.: Павловский, когда говорил о Гефтере, отмечал характерный для него способ действия — склонность разграничивать, сепарировать круги общения.

М. Р.: Что-то такое было, наверное. Но была ещё всё-таки техника безопасности. Это было очень важно. Я это очень сильно почувствовал. У меня одна из определяющих историй в жизни связана именно с этим. С тем, что я почувствовал, что я могу стать источником риска для Гефтера и для людей, которые рядом с ним, когда один человек, с которым плотно были в жизни связаны — сложные были очень отношения, то приятельство, то разрыв вплоть до нездорования — познакомился

в Иркутске через меня с Гефтером. Настойчиво, буквально напросился в гости в первые же дни, когда Гефтер приехал. Ну это ладно — товарищ этот всегда стремился к знакомствам с известными или статусными. Но скоро он поехал в Москву — еще до меня — и, как я потом выяснил, буквально напросился, чтобы у них пожить. Товарищ этот мне сказал: «Они сами предложили». А они объяснили, что он пожаловался, что такие интересные материалы нашел в библиотеке, а придется уезжать, потому что жить негде. Ну, они из чувства приличия, когда человек говорит, что ему жить негде, предложили пожить у них. Он там жил дней пять или неделю. Не знаю точно, сколько, но мне потом и Рахиль Самойловна, и М. Я. потом говорили, что не думали, что это будет так долго. И вот этот, тогда еще приятель, вдруг задаёт мне вопрос: «Ты не боишься у Гефтеров бывать? Там же всякие люди бывают, я там познакомился с редактором журнала „Detente“». И я всерьез насторожился. Он сам направо и налево говорит о своих знакомствах, рождает всякие мифы — до меня донеслось, что кому-то рассказывал о знакомстве с сыном Бухарина, а я знаю, что Юрий Ларин в это время лежал в больнице на операции — и при этом меня спрашивает, не боюсь ли я. И я почувствовал, что нахожусь в ситуации, когда через меня могут в круг общения Гефтера входить люди, небезопасные для него и других людей. И потом этот человек продолжал представляться моим приятелем, лучшим другом, устанавливая в Москве контакты с неформалами или еще кем-то во время перестройки, когда я был одним из лидеров «народного фронта» в Иркутске. И говорить как бы по моему поручению, хотя я с ним уже резко не оборвал, а как бы обрезал отношения. Но объяснять, почему, не стал — не мог. Это товарищ так до своей смерти и не понял, и не знал, почему я так резко изменил отношения, рождая всякие мифы, свои объяснения для окружающих. А я ему не мог объяснить, потому что у меня же не было прямых доказательств. Только предположения, которые, выскажи я их, были бы приняты за оскорбления. С другой стороны я не мог быть инструментом для того, чтобы о Гефтере кто-то собирал сведения, даже если бы речь шла только о болтливости и склонности моего приятеля к фантазиям. Так что сепарация общения мне очень понятна. У Гефтера, конечно, это было. А я не был натренирован в осторожности. Был, например, эпизод, когда... Знаете, была такая замечательная, Вы знаете это имя — Виктория Чаликова, которая тоже бывала часто дома у Гефтеров? Она работала вместе с Рахиль Самойловной в ИНИОНе, она в ИНИОНе

делала сборники по утопии и антиутопии, по современному либерализму. Мы всегда, когда с ней сталкивались — у Гефтеров или в ИНИОНе, с очень большой и взаимной симпатией общались.

А. Т.: Это с ней связан сборник «Утопия и утопическое мышление», начала 90-х⁵?

М. Р.: Да, это выросло из этих реферативных сборников, которые она делала. Эти сборники для служебного пользования были. И что-то в очередной раз она, прореагировав на какое-то общение со мной, это, наверное, было как раз после приезда из Иркутска. Я показывал у Гефтеров небольшой милой компании слайды о пребывании Михаила Яковлевича в Иркутске, и там была дочка Вики — Галя, которая сейчас тоже, к сожалению, покойная, но она многое успела тоже. Это Галя вместе с Чулпан Хаматовой создала фонд.

Елена Коркина: Это легендарный человек в той среде.

М. Р.: Легендарная? А я не знал.

Е.К.: Она считается одним из буквально нескольких человек, которая всю эту благотворительность создали. Это у людей первого, второго круга вот этих всех фондов это прямо легенда.

М. Р.: Это после смерти Вики, мамы. Вика умерла после операции в Германии, где лечилась от онкологии в начале 90-х. А потом я следы Гали потерял, и мы с Галей за несколько лет до её смерти встретились на юбилее фонда Форда. И она подошла ко мне, она сильно изменилась. А первый раз, когда у Гефтеров познакомились, маме что-то рассказала, видимо, как Михаилу Яковлевичу было хорошо в Иркутске. И Вика сказала, чтобы Гефтер мне подарил сборник какой-то редкий, ею сделанный, про утопию и антиутопию, что она восстановит ему. И как-то в эти дни она как раз звонит по телефону, я беру трубку, мы с ней начинаем мило разговаривать. И я благодарю за то, что сборник подарила. Называю даже сборник, по-моему, по имени. Гефтер *так* на меня смотрит. До меня вдруг доходит, и когда я положил трубку, я извиняюсь и говорю, что «не привык, что меня слушают». Вот эта история. Телефоны на прослушке. Но там эта вся техника безопасности была в голове — и что в доме нельзя держать сборники ИНИОНовские, Д. С. П. И он в этой технике безопасности, конечно, был прав. Через год после этого в нашем университете была громкая история, когда арестовали моих студентов за антисоветские граффити и делали обыски.

⁵Утопия и утопическое мышление : антология зарубежной литературы / под ред. В. А. Чаликовой. — СПб. : Аxioma, 1991. .

И у одного из этих студентов, писавших у меня реферат, было несколько моих книг, среди которых был и сборник Д. С. П. про утопическое сознание, подаренный Викой. Там, конечно, был отрезан номерной знак. Но меня на допросе об этих книгах не спрашивали — может быть, наши местные, иркутские чекисты редко имели дело с такими вещами, всё же не самиздат и не тамиздат.

Причины, чтобы сепарировать круги общения, были безусловно.

Иногда Гефтер специально старался познакомить как раз. И, потом, если я жил у них дома, как там сепарировать?

А. Т.: Если говорить о Гефтере второй половины 1980-х. — у него можно как-то определить, попробовать выделить ключевую тему в это время? Или несколько базовых тем? Понятно, что есть реагирование на внешнее, понятно, что есть что-то приходящее -а вот то, что является долгим и то, на что всё остальное «садится»?

М. Р.: Базовая тема — это, безусловно, «мир миров». Но «мир миров», связанный с угрозой ядерной войны. Неслучайно его статья называлась «От безъядерного мира к миру миров». «Мир миров» — связано, конечно, с возможностью преодоления вот этой угрозы. И очень близко к этому. Это всё в комплексе. Очень близко к этому тема «восстания крови» — то, как можно назвать, он так называл. Это придавало особое значение именно русскому вопросу. Возобновление, возникновение доисторической апелляции к крови, к роду. И условия, в которых это происходит. Вот эта связка. Это то, от чего исходит опасность.

Главная опасность для мира и страны в условиях возможности самоуничтожения мира, когда нарастают такие вещи.

А. Т.: То есть он толковал её как «доисторическую»? Его трактовка была, если совсем спрямлять, как архаизация?

М. Р.: Он не мог употреблять, я думаю, понятие архаизация, потому что для него...

А. Т.: Ну вот отсылка к чему-то доисторическому, внеисторическому.

М. Р.: Он, прежде всего, видел, да, это как некую реакцию на то, с чем не справилась история. Как реакция на тупик вот этой «избирательной выбраковки». Это его формула. То есть история, которая строится на избирательном убийстве. И это избирательное убийство переходит в основание по крови, по почве. Отсюда и значение русского вопроса, конечно, и его важность — понять, что за этим стоит. Дать ответ на этот «запрос», я не знаю, как лучше сформулировать, это важно. И связанные с этим со всем тоже в комплексе невозможности, тема альтернативы, она всегда была, мне кажется. Тема обнаружения

альтернатив. И применение альтернатив. Почему ещё Сибирь оказалась тут важна для него. И, вроде, я тут оказался проводником. Он до этого бывал в Сибири, но очень мало. В пределах Академгородка, как я думаю. И может быть Томск. Какие-то отношения с Томском были, мне кажется.

И в это время всё пошло стремительно. Мы с ним тут [в Иркутске] разговариваем осенью 1985-го года. Весной пришёл Горбачёв. Когда мы с ним здесь были, разговаривали, шло обсуждение — близился съезд КПСС — перед которым обсуждался вопрос об изменениях в уставе и в программе. Мы что-то между делом с ним и об этом говорили. Он тогда сказал, я помню, что самое важное, всё-таки, если какие-то изменения осуществляются. Он пытался понять возможность изменений. И, кстати, ещё одна вещь малоизвестная, Андрей. Которую я узнал от Андрея Алексева, а не от самого Гефтера. Что вот эта знаменитая анкета Андрея Алексева с вопросами про будущее России, которая в начале 80-х годов, там 80 с лишним анкет распространялось, она была отредактирована Гефтером. Алексей советовался с Гефтером. Вот эта тема, естественно — возможность изменений у нас. В один из приездов момент очень существенный был, когда я прилетел в начале мая 1986-го, после Чернобыля. Здесь Чернобыль не был воспринят в соответствующем масштабе вообще. Помню, вот сначала, когда произошло, отсюда мы не видели сначала, насколько это серьезно. А в Москве сразу попадаю в момент, и приехал чуть ли не в тот день, когда ожидалось выступление Горбачёва по телевизору. И вот это выступление Горбачёва, которое было свидетельством того, что не очень изменилась ситуация полуправды, замалчивания. Он за этими вещами очень пристально, нервно следил, переживал. И отсюда, конечно, когда он стал пользоваться возможностью, и искал возможности каким-то образом всё-таки донести, донести что-то из своего понимания, что надо делать, как это всё-таки пытаться политикам. Конечно, возникла надежда на Черняева. Или был момент вообще почти шаржевый. Ирина Александровна Желенина, упомянутая мной, у неё готовился к кандидатскому — я не помню, где он был в аспирантуре — племянник Горбачёва. Сын двоюродной сестры что ли. И Желенина мечтала, сначала она пыталась, чтобы я с ним подружился и на него повлиял. Там была организована какая-то процедура знакомства у друзей Желенина, жили они в Олимпийской деревне. Экскурсия по Олимпийской деревне и глубокомысленная фраза этого племянника «И здесь люди живут». Я там даже что-то резкое сказал в ответ на его реплику. Серёжа его зовут, такой вальяжный юноша.

Она его познакомила с Гефтером не без гефтеровского желания, как я понимаю. Гефтер потом тоже дал резкую такую характеристику. Но всё потому, что он искал какие-то каналы, возможности передать то, что считал важным. Понятно, что это никакого отношения к каким-либо карьерным... Для него единственно нужным было, чтобы что-то поняли, увидели, узнали. Предупредить о чём-то. Он осознавал, что он может видеть какие-то вещи, которые не видят другие, это абсолютно было таким же по отношению к лидерам оппозиции, возникшей в 1988 году, в 89-м, что и по отношению к наличной власти.

А. Т.: Если я правильно понимаю, то одна из таких гефтеровских констант с 50-х годов до последних лет — это желание влиять на власть. Убеждённость в том, что ты видишь, ты понимаешь что-то, что не видят и не понимают другие, причём в большом масштабе, это активное желание разговаривать с властью, доносить до неё. И более того восприятие того, что нормальная власть, условно «нормальная» — должна тебя слышать.

М. Р.: Я в двух вещах сомнение выскажу. Во-первых, власть, как мне кажется, Гефтер вообще как цельную инстанцию не воспринимал, были конкретные люди, система, но были люди, в том числе, в системе власти, которые оставались ему по-человечески близки и интересны. Вот он ценил тех, кто от него не отвернулся, что Пантин, например, с ним поддерживал отношения.

Как там и что было с Черняевым, я не знаю. От самого Гефтера я имя Черняева, по-моему, ни разу не слышал. Поэтому когда Глеб сказал, что через Черняева передавал письма Горбачеву, я удивился этому. Если дневники Черняева читать где-то в начале 70-х — в 74-ом или 75-м он упоминает Гефтера, но там нет ощущения, что у них поддерживались какие-то отношения. Просто сохранялась память друг о друге. И, вероятно, это стало каким-то ресурсом.

А. Т.: Не помню, Павловский это рассказывал или Ирина Чечель — что у Гефтера с Черняевым отношения восстановились уже в 1980-е.

М. Р.: Я думаю, что да, в конце 1980-х.

А. Т.: Так что это как раз не про поддержание отношений. Это про долгий перерыв, и потом уже возобновление... Причём, насколько я помню, там вполне резонно инициатива шла от Черняева, «сверху вниз».

М. Р.: Это могло быть, да. Я этого не знаю. Скорее всего, это было, когда меня рядом не было. Просто я не знаю, всё-таки не жил там. А Глеб ежедневно общался.

Так вот, это не желание влиять на власть, это желание влиять на ход событий, на развитие событий. Та же самая история была, когда я как-то приехал, и он сказал, что «тут на моём интеллектуальном иждивении» или чуть ли не «духовном иждивении» Явлинский. Тем не менее, он общался.

Я помню, как это было или во время партконференции, или сразу после. Как-то тоже приехал, и М. Я. рассказывает, как к нему приходили компания этих свердловских делегатов из этой группы, которая там Ельцина толкала и поддерживала. Через какое-то знакомство, был такой Петров, по-моему, это был из партийных руководителей или руководителей свердловских, но делегат, который стал заметной фигурой именно в отстаивании прав Ельцина на лидерство. Я впервые услышал имя Бурбулиса. Которое потом уже в Иркутске услышал от его однокурсников, своих приятелей, которые с ним учились. И вот с Бурбулисом у Гефтера было общение очень плотное. Потом я слышал, мне говорили, что кто-то на похороны Гефтера не пришёл, потому что там был Бурбулис. То есть, с одной стороны, встречи и разговоры, чтобы узнавать что-то, но и потребность влиять на ход событий.

И та же история была с его письмами. Я однажды был курьером, развозил его письмо. Он пытался, хотел сделать его коллективным, чтобы опубликовать, предупредить, возможно, и о насильственном развитии событий. Или речь шла о том, чтобы ему помогли опубликовать его письмо. В связи с годовщиной пакта Риббентроп-Молотов в августе 1989-го года. К пятидесятилетию в Прибалтике готовилась акция. Как все это называлось — не помню. И висела в воздухе опасность какой-то насильственной реакции на акцию прибалтов. Письмо в «Известия», чтобы предостеречь публично от такой реакции. Я возил письмо Сахарову, Карпинскому и собственно в «Известия». Карпинского не застал, с Сахаровым у них дома на Чкаловской общался. И там были такие отношения непростые. Очень уважительное отношение Гефтера к Сахарову, очень. При этом понимание, что где-то роль Сахарова становится, или разговор об этом, что роль Сахарова становится уже как бы уходящей в сторону непонимания, невидения ситуации. И невозможности следования. Но его возможность общения с Сахаровым была ограничена, насколько могу судить, ревностью Боннэр к Гефтеру. И это уже его ограничивало в том, что он мог позволить себе, чтобы подключить к чему-то, или что-то сказать, или донести своё мнение до Сахарова. Но потребность была. Конечно, очень много делалось через Афанасьева. Афанасьев постоянно, перед любым выступлением важным каким-то

приезжал к Гефтеру обсудить то, что он хочет сказать. То есть это была очевидная потребность Афанасьева в тот момент — мы сталкивались с ним и дома, и на даче. Вот эта необходимость что-то отточить, какие-то формулы найти. И один момент — у Гефтера было такое увлечение в этом смысле, когда я прихожу, как раз чуть ли не в подъезде с Афанасьевым столкнулись, поднимаюсь. И он говорит мне и Рахиль Самойловне: «Нет, Юрий Николаевич будет в Политбюро. Вот увидите, он будет ещё в Политбюро». Год, наверное, 1986-й. Афанасьев только-только проявился. Ну 1987-й может быть. Наверное, 87-й всё-таки, вряд ли 86-й. Это стремление влиять на ход событий и искать вот эти каналы.

А. Т.: Вот то, что я спрашивал и у Павловского, и то, что мне как раз кажется не очень явным моментом, но в силу самой природы вопроса, потому что речь идёт не о власти, речь идёт об авторитете, о способности как раз оказывать влияние. А что придаёт Гефтеру такой вес? Одно дело — стремление влиять на события, а другое дело — то, что к твоему голосу прислушиваются. Причём прислушиваются очень разные люди. Там речь шла о тех же самых свердловских депутатах. Сейчас речь идёт об Афанасьеве. Причём, ещё Афанасьев 1986 — 87 гг. И так далее — вся эта куча довольно близкородственных сюжетов, которая будет продолжаться вплоть до самой смерти Гефтера.

Соответственно, это какой-то не просто большой массив, а достаточно большой массив разнородного — если бы это была история про какую-то вполне конкретную группу, вполне конкретный круг объединившихся, она была бы понятной. А вот то, что у меня вызывает сам по себе вопрос — это, скорее, странная, на первый взгляд, широта влияния и его сохранение даже тогда, когда все стремительно меняется начинается. И, более того, сохранение влияния со стороны человека, который не выступает с какими-то яркими простыми тезисами, который не является, опять же, заметным через какие-то простые и легко считываемые жесты, который не подсвечивается как человек какого-то одного публичного поступка. И далее — он становится символической фигурой, к нему отсылают, его упоминают — так, как если бы это было вполне законченное, не требующее дальнейшего объяснения, раскрытия содержания — высказывание.

Для меня на первом ходе это странный сюжет, когда человек, которого трудно описать через простые слова, которого трудно собрать в какую-то простую фигуру, оказывается имеющим влияние на очень разные аудитории. Его авторитет звучит для самых разных лиц и людей. Как можно подступиться к этому сюжету?

М. Р.: Возникало очень быстро, мгновенно возникало, если был опыт личного общения. Опыт личного разговора производил, причём это самые разные могли быть социальные слои. Люди разных взглядов и так далее. Это я видел в Иркутске. Когда мы с ним приходили к кому-то в гости, или кто-то ко мне приезжал. И всё, как мгновенно реакция возникала. Какой-то разговор, расспрашивание. Естественно, он никаких концепций не излагал. Он просто разговаривал с человеком, пытаюсь что-то узнать, понять и так далее. И это была такая искренняя, ни разу не искусственная заинтересованность в том, чтобы узнать человека, понять, чем живет. Вот этот интерес к человеческой личности, он в самых разных, людей разных взглядов и так далее, которых важны были взгляды или ещё что-то. Цепляла такая рефлексия по отношению к взглядам. Любой разговор был, по сути, методологический разговор. Никогда не употреблялось это слово, но методологический в том смысле, что в любом разговоре он обращал внимание на то, как мы видим. Не концепции и ответы поражали, а точность и интрига вопросов.

При этом это удивительная история. Я уж не говорю — наши разговоры. Даже не интервью, которые были постоянно. Говорил в основном он. Я не всегда, не во всём решался говорить. И тоже в основном, если говорил, тоже в основном на уровне постановки вопроса к сказанному. Вопросов на разъяснение, а не возражение и оппонирование как Глеб. А какие-то вопросы, которые расширяют ещё поле. Расширяют, что ли объём разговора. Это вообще такая важная штука. Можно сказать о том, при всей разности масштабов, у нас совпадение произошло с ним — при всей разности глубины и масштабов — что для обоих была естественна эта кантовская антиномия: причина единственна и не единственна. То есть стремление какую-то найти объясняющую концепцию, выстроить. И одновременно опасения сузить поле объяснения, сузить проблему, примитивизировать её, необходимость удержать объём. Вот эта кантовская антиномия — причина единственна, не единственна, она в этой методологии разговоров и бесед, она была совершенно естественна. Мне кажется, вот, по крайней мере, я для себя как-то объясняю его потребность во мне как в собеседнике. У него вообще была потребность в собеседниках. В слушателях. Я был в основном слушателем. Ну и слушатели, там Юрий Буртин сидел просто, слушал и слушал, только время от времени говорил. И говорил: «Ну записывать же надо, давайте я включу диктофон». Буртин даже когда речь шла о литературе, о Шекспире, например, вообще не встречал, не спорил. Ему нужно было только слушать. По крайней мере, это то, что я наблюдал. Я не знаю, как они

там без меня общались. Я это неоднократно видел. Вечно возражающий и спорящий Глеб. И Арсений Рогинский — там немножко другое. Володя Максименко, который тоже слушал в основном, но что-то и рассказывал сам. Спрашивал, рассказывал, но не обсуждал, не спорил, по-моему. Я тоже в основном слушал, но слушая, задавал какие-то вопросы...

Вот я бы сказал, вот эта методология общения (извините за примитивную формулу) она людей притягивала. И для любого человека это воспринималось как какой-то бесценный ресурс. А имя его стало известно, каким-то образом оно стало работать, конечно, после публикации Глебом этого интервью. Но и результатом публикации был первый инфаркт.

А. Т.: Можно рассказать об этом подробнее?

М. Р.: Это тяжёлая история. Для Глеба, я думаю, вообще. Как он сейчас интерпретирует, описывает, я не знаю. В сентябре, это было начало сентября, не помню точную дату, я должен был прилететь в Москву. Но не у Гефтеров жить — у них, по-моему, в это время Володя с семьёй жил — а у Желениной. Прилетел на день позже, чем собирался. Меня завкафедрой, с которым мы были в жутких контрах, заставил сдать билет и взять на следующий день из-за того, что кафедра должна была ехать копать картошку. То есть я, со слов завкафедрой, дезертирую с копки картошки, а в Москву могу и на день позже полететь, сменить билет, чтобы коллеги за меня не работали. У меня было, да и остается чувство, что, прилети я вовремя и приди к Гефтерам в тот вечер, инфаркта могло и не быть. Я прилетаю, приезжаю к Желениной и звоню Гефтерам. Рахиль Самойловна мне сообщает, что вчера вечером Михаила Яковлевича увезли. Я еду к Рахиль Самойловне и она мне эту историю рассказывает, как она увидела. Я рассказываю глазами Рахиль Самойловны сейчас, которая Глеба очень в тот момент не любила. Это отдельная история. Одна из самых больших таких проблем и дилемм Гефтера: противоречие между семейными делами и его погруженностью в общение с теми, кого называл своими молодыми друзьями.

Приехал Глеб. Михаил Яковлевич, вроде, себя и так нехорошо чувствовал. Приехал Глеб, привёз текст интервью уже в том виде, в каком интервью будет опубликовано. Кстати, весной, когда Глеб брал интервью, я при этом присутствовал по просьбе М. Я., ну и тоже включил диктофон — запись у меня хранится. Глазами Рахиль Самойловны — Глеб чувствовал себя виноватым, что он заранее не согласовал исправления. Я понимаю, что причины могли быть очень разные, и Глеб хорошо знал, что значит, согласовывать исправления с Гефтером, и что так можно

интервью и не опубликовать. Это первая публикация в открытой печати шла вообще после 1973 или 74 года. При этом для Гефтера было важно публиковаться. Это Рахиль Самойловна однажды мне сказала чётко, и не раз слышал от неё, что Михаил Яковлевич очень переживает, что нигде не может публиковаться. И тут первая публикация после такого перерыва. Журнал «Век XX и мир» мало кому ещё известен. Вот новая эра «Век XX и мир» началась с этого интервью, с этой публикации стали журнал этот читать, искать, наращиваться тиражи стали и так далее.

Уже когда Глеб ушёл, стало плохо с сердцем, вызвали «Скорую». Диагностировали инфаркт. И когда увозили на «Скорой», М. Я. позвал Рахиль Самойловну и сказал фразу: «всем говорите, что это не моё интервью». Мы пошли в больницу наутро с Вовкой и Рахиль Самойловной. Ситуация была, в общем, что «всё! Смертельно». Было ощущение, что всё — часы, дни последние. Там надежды никакой не было. Инфаркт был очень тяжёлый. И потом вдруг начались надежды на выздоровление, и мы уже обменивались с М. Я. записками. Его записи тех дней должны лежать у Глеба в архиве. Потом я уехал на советско-польскую школу молодых философов в Суздаль — собственно, это было поводом для приезда. Перезнакомился там со всей нашей молодой философской элитой. Там много было приличных людей. Приятная компания была. С Наташей Козловой подружились навсегда уже — до этого были просто знакомы, поскольку работали в одном тематическом поле. Потом и поле одновременно сменили и опять на одно — ушли от кабинетной философии к человеческим документам советского времени.

И когда я вернулся из Суздаля — уже разрешили М. Я. посещать в больнице, но только родственникам. И он обозначил Рахиль Самойловну, Валю, Володю и меня. Мы четверо могли к нему по очереди ходить. Я в те дни по какой-то причине встретился с Глебом зачем-то. Глеб узнал, что я был у М. Я. в больнице. Для него была полная катастрофа, он решил, что только его семья не допускает. А у меня были считанные дни до отъезда, поэтому, в том числе, был в этом списке, который должен был быть предельно коротким. Долго на Глеба это действовало, вот эта ситуация, что его отлучают или его считают виновником или что-то еще. Вот, собственно, всё об этом эпизоде.

В тот же приезд я ночевал как-то у своего шефа — Григория Георгиевича Андреева и разговаривал, записывал тоже воспоминания. И я ему это интервью Гефтера дал почитать. И Андреев сказал об интервью какие-то мощные слова, он до этого фамилию Гефтера не слышал, в том числе, сказал: «что значит Сталин умер вчера? Сталин ещё не

умер». И ещё что-то такое. И я на следующий день Гефтеру в больнице передал. И просто для Гефтера это было такой эмоционально сильный момент — эти слова Андреева, которые я передал. Он сказал: «Подари ему экземпляр». Я вижу, что он уже на грани выхода из кризиса, выходит, и он уже начинает осознавать, что то, что он сказал и опубликовал это интервью, это важно. Хотя там убрано, или, как ему показалось, что-то утрировано, слишком переведено в какую-то плоскость. Это вот та дилемма, о которой я говорил: причина единственна — не единственна. Эта самая антиномия, когда он к текстам, редактируя их, мне кажется, относился очень с этой точки зрения, как бы это не выглядело плоско, как бы это не выглядело утрированно, как бы это не снижало уровень понимания. Это очень сильно мешало. Глеб поэтому, наверное, и говорит, что он ненавидит письменные тексты Гефтера. «Диалог о народничестве», например, несколько раз переписывался и его читать очень трудно именно в силу этого. Опытный редактор Марина Пугачёва перепечатывала «Диалог о народничестве», одну из версий, и сказала: «Нет, сейчас это опубликовать, незачем, читать никто не будет».

А. Т.: Поясняя воздействие Гефтера, вы в первую очередь говорили об эффекте лицом к лицу, личном впечатлении. О значении разговора — который, прежде всего, был методологическим. И в связи с этим вопрос — не оставляет ли вот этот эффект личного, который обеспечивал и воздействие, и значение, не оставляет ли это по определению Гефтера в его времени, в его ситуации?

М. Р.: Это действительно такой вопрос, который тревожит. У меня на него сейчас нет ответа. И это вполне определённо, потому что, что касается нескольких, думаю, ключевых идей, понятий Гефтера, то они предельно важны и актуальны. Актуальны в смысле их необходимости для прояснения и вообще какого-то исследования ситуации России, движения России, перспектив России как страны. Возможности становления государства, возможности возникновения общества в России и т. д. Они предельно актуальны.

А вот вопрос о том, можно ли их в актуальном виде воспроизвести, донести без Гефтера, и в каком виде они могут быть преобразованы так, чтобы были услышаны, востребованы, это действительно для меня вопрос. Это один вопрос.

А второй вопрос: я убеждён, что есть необходимость и потребность в осмыслении интеллектуального и гражданского опыта поколения, которое Гефтер назвал метапоколением, объединив, если говорить о возрастных рамках, чуть ли не моё и Глеба поколение со своим. Я в этом

убеждён. И не только в смысле, что это необходимая тема как российская. Мне кажется, это тема важнейшая, может для европейско-российской культуры и европейского мира и т. д. Этот опыт с победами и поражениями, альтернативами, несостоявшимися альтернативами и т. д. и здесь фигура Гефтера, это одна из ключевых, на мой взгляд, как раз фигур. Именно как человека, у которого человеческий опыт и интеллектуальная работа, интеллектуальное движение были неотрывны друг от друга — со всеми сильными переживаниями, катастрофами, драмами и выходами из них, с задачами, которые он ставил вроде для себя, но для того, в связи с тем, что Кант называл общественным благом. Вот этот разворот его в том, что он или не он, он подхватил где-то или он назвал это практопией, объединив утопию и практичность. Вот это крайне необходимо, и это очень плотно связано с его фигурой, с его опытом и с его идеями, я бы так это сформулировал. Но есть большая вероятность, что это останется там, понимаете? То есть вот именно в силу этой связанности интеллектуального и человеческого.

Не знаю, мне кажется, в одной из статей как-то и написал, что наше поколение, скажем... тут я объединяю себя с Глебом или, вот, с Наташей Козловой, которая на 9 лет меня старше всё-таки была, но в определённом смысле люди, которые имели достаточно большой опыт советской жизни, и не просто как наблюдатели, а как советские мальчики и девочки, проходившие какую-то эволюцию и потом ещё сохранившие способность к рефлексии, к отстранению этого после. И вот Наталья работу пишет, которая стала книгой «Советские люди». У меня здесь такая позиция, я готов ставить к ней вопросы, но пока на ней стою, что это задача людей именно нашего поколения. То есть потому, что выполнить ту задачу, которую я сказал, в смысле, советского опыта, анализа как опыта человеческого. И этот тезис, он прямо касается вашего вопроса базового для ответа на ваш вопрос, не останется ли Гефтер там. Со своими идеями, которые важны не только для понимания советской истории, хотя это необходимое понимание для движения, ответа на другие вызовы и идей, которые просто необходимы для того, чтобы на сегодняшние вызовы отвечать.

А. Т.: И второй вопрос с этим связан. Тогда не является ли, на ваш взгляд, каким-то значимым ресурсом, возможностью размыкания Гефтера в современность как раз то, что делает, например, Павловский через возвращение в переработанной форме к диалогу. А, поскольку в связи с Гефтером постоянно речь идёт о разговоре, о диалогичности,

я поясню свой вопрос, потому что как раз об этом речь шла с Павловским. Когда я говорил о том, что текст, например, Гефтера мне кажется, например, та же самая «Десталинизация», они кажутся очень находящимися в своём времени, находящимися на своём языке. Причём даже не то, что на своём языке — на гефтеровском языке, очень сильно, как мне кажется, в них ощущается дух того времени. Насколько я, опять же, понимаю по разговорам, на фоне того времени это воспринималось как другой голос, как индивидуальное звучание, временная дистанция во многом сравнивает эти индивидуальные различия и начинает гораздо больше слышаться общий язык, общая рамка. И, соответственно, это делает тексты глухими. Вот эта какая-то воспроизводимая, до какой-то степени имитируемая диалоговость, это, на ваш взгляд, возможный ресурс актуализации или это так не работает?

М. Р.: Понимаете, больше никто ничего не делает. То есть Глеб идёт этим путём. Я просто с большим уважением всегда относился к тому, как он мыслит. Глеб всегда, даже в момент, когда он в силу своих занятий говорил нечто, что для меня идейно звучало чуждо, он был, тем не менее, одним из нескольких авторов, которого я читал обязательно. Потому что я знал, что это тот взгляд, к которому я не способен, который я не смогу сформулировать. Который для меня недостижим — не просто информация, которой он владеет, а именно взгляд, умение видеть. Умение что-то увидеть, о чём-то сказать, может быть, что-то сформулировать очень точно. То есть Глеб для меня был всегда, начиная с начала 1990-х, наверное, очень важным автором. С этой точки зрения отношусь к тому, что он делает.

Книжки по-разному воспринимаю, эти последние три разговоров с Гефтером. К тем, что делала Лена Высочина, настроен более критично, хотя трёхтомник «Аутсайдер», то есть толстые спецвыпуски «Век XX и мир», это хорошая работа. И я знаю реакцию людей, которые до этого не знали Гефтера, умных людей, которые через этот трёхтомник открывали, через статьи в трёхтомнике и через тексты Гефтера, и через статьи о нём. Ну, он, да, неравноценный, неравномерный. Там разные по жанру статьи написаны с разными вроде бы задачами.

И вот то, что Глеб делает с этими книжками, то же самое. Даже его выбор из моря записей, отбор, задачу актуализации мыслей Гефтера выполняет. Но и вынужденно ограничивает. Я его спрашивал, почему без того, что мы называем научным аппаратом, начиная с самого простого, когда приводится фрагмент диалога, обозначить, из какого года этот разговор, какого года эта запись? Глеб мне объяснял, что просто, ну, нет

рук, у него не было помощников. И, возможно, это, ну, даже это может быть какой-то вынужденный отказ от определённой адресной группы. Это вывело книги за пределы круга источников для историков. Сразу снизило эффективность, возможно, таких книг, потому что, если у историков нет возможности, а боюсь, что и обязанности, на это ссылаться, когда будут использовать идеи. Их легче отчуждать от первоисточника. А богатство идей такое и формулировки настолько мощны, что будут использоваться — и идеи, и перелицованные формулировки.

А. Т.: А это не попытка разомкнуть Гефтера исключительно из его времени, вывести его именно из роли исторического источника?

М. Р.: Я вот это не сформулировал. Андрей, я именно это и имею в виду, что, может быть, вот это движение, Глеб жертвует другим, вот ради этого. Я не могу так.

У меня есть сильное чувство вины, ответственности, что тот корпус интервью, который я собрал — прежде всего биографических — что он по-прежнему остаётся в моём архиве. Не только в моём архиве, но работать-то с ним должен я. И некий путь, искать путь. Хотя с самого начала замысел, в общем, был достаточно очевиден, и это достаточно такой замысел. Но прошло больше 30 лет, я начал брать интервью в мае 1986 года под запись на диктофон. И за это время как бы изменились модели книг, представление о книгах, текстах, которые читаются. То есть поиск формы для, и сохранение того замысла, который не ушёл. Замысел в том, о чём я только что говорил. Вот это плотная, неразрывная связь между жизнью человека, биографией человека и интеллектуальным движением и возникновением этих идей. Начинать брать интервью как у человека определённого поколения. Не как у уникального Михаила Яковлевича, хотя я понимал и тогда, что уникальность абсолютная, и для меня он был настолько близок, что уже даже это могло заставлять биографические интервью брать. Но он меня ещё интересовал как человек поколения, для меня исследовательская мотивация была, так скажем, не просто человеческая, а исследовательская. Это — исследовать то поколение и, в общем-то, начал с тех вопросов, которые меня больше всего интересовали в попытках понимания этого поколения, с которым сам Гефтер меня вдруг соотнёс. Для меня это поколение всегда было важно, и до знакомства с Гефтером было очень важно. До этого, может, больше поколение, вернее, люди чуть, на несколько лет помладше, там, начало 20-х, то есть выбитое на войне. Просто среди, ну, начиная с моего отца и ещё какие-то люди, с которыми я встречался по

жизни или авторы, которых я читал, которыми я увлекался вроде Михаила Анчарова, Юрия Левитанского, Давида Самойлова принадлежали к поколению, выбитому на войне. И вот эти оставшиеся, выжившие единицы, один дал мне жизнь, кто-то стал любимыми авторами. Это была вот такая предельная близость. Потом ИФЛЙйцы, которые оказались мне очень созвучны по самому мироощущению, отношению к миру и очень близки без, может быть, реакции, там, на категоричность как поправку на время, на эпоху, на революционное поколение, но очень близки по идеализму, своему отношению к истории, чувству истории. Вот такие вот вещи. И я начал говорить с Гефтером, и сразу у нас первый вопрос, который волновал: как эти люди переживали 1937, мне это нужно было понять, как оно там происходило. Хорошо помню эти первые три кассеты, сразу было записано четыре с лишним часа разговора. И Гефтер сразу со своим способом говорить стал вокруг этого вопроса создавать контекст более объемный. Объёмный, чтобы пытаться мне не прямо ответить на этот вопрос, потому что у него он, этот вопрос тоже был, но вместе со мной пытался всю эту сложность реконструировать, восстановить всё это. И почему то, что назвал, мне кажется, не тогда, а в более позднем интервью имморализм. Я никак с этим справиться не мог. У меня еще в расшифровке было написано «аморализм». Не мог понять, о каком аморализме он говорил? До меня только потом дошло, что это имморализм, и вот этот имморализм, понять его, и что это для него лично значило, как и для поколения.

А. Т.: В собственных текстах и в разговорах, в частности, в разговоре с Павловским, он особенно это сильно подчёркивал, что Гефтер определял себя именно как историка.

М. Р.: Он отнекивался, когда вдруг назвали философом. Считал, что это профессиональное занятие.

А. Т.: А, то есть это именно отнекивание?

М. Р.: Это отнекивание. Андрей, если вы посмотрите мою статью о Гефтере «Черновик мира миров», там есть этот сюжет историк vs философ. История и философия, отношения между историей и философией через феномен Гефтера. Я не уверен, что сейчас что-то добавил к этому, честно говоря. Он отнекивался, да.

А. Т.: Поясню — Павловский как раз интерпретирует это как принципиальную позицию, как понимание именно как историка, не-философа. Что это притязание на историю, историческое мышление, как то, что даёт понимание целого.

М. Р.: В том смысле, в каком Маркс преодолевал философию и приговаривал философию, считая, что философия, да, должна остаться в прошлом. Но Гефтер не считал, что философия (как кстати и религия) остается в прошлом. Необходимость, скорее, была отнекивания вот этого профессионального философствования как того, что уходит этот фактор. Один из постоянных даже не сюжетов, а вот таких моментов, которые именно методологически вносились в каждый второй разговор, может быть, чаще. Это вопрос конкретного, частного. То есть в этом смысле историка. Философ выстраивает концепцию, пренебрегая тем, что факт не влазит, потому что исходит из того, что факт рано или поздно будет пересмотрен, уточнён, почему он должен сочетаться с ответами. Историк не может этого делать. У историков существует трудность факта, и никуда от этого не денешься.

А. Т.: Но при этом история совершенно не выступает для Гефтера как некоторое убежище от современности. Ведь это постоянное, не просто настойчивое внимание к современности, а внимание, в том числе к этой самой пене дней? К газетным новостям, событиям, обсуждениям повестки. То есть вот эта даже не просто «современность» в смысле contemporary, а современность на уровне газет, новостей и сообщений, едва ли не слухов.

М. Р.: Ну, любопытство к жизни очень большое. Рахиль Самойловна подсмеивалась, что когда он гулял с собакой, значит, стоп — останавливался около этих огромных московских киноафиш, что в каком кинотеатре идёт, и изучал. Действительно так, при этом в кино ходил крайне редко. Или мог проходить через комнату, там, идёт какой-то баскетбольный матч, он останавливается, несколько минут смотрит и комментирует какую-нибудь коллизию человеческую на площадке. Вот такое любопытство, любознательность к происходящему ко всему, реакция на всё. Такое отношение к современным книжкам, взять, полистать — заинтересовала фамилия автора. Вот он про Распутина так и сказал, то есть на Распутина наткнулся просто. У кого-то из сыновей валялась книжка, он усмехнулся. Во-первых, фамилия автора Распутин, во-вторых, название — «Живи и помни». Раскрыл на какой-то странице, не смог оторваться, нашёл некое явление для себя социальное. То есть это довольно характерная для него история, в общем. В смысле любопытства. Именно — история не убежище. Самый важный, наверное, для него исторический интерес к моменту ухода из института и вплоть до 1985-1986 — это XIX век русский. И фраза, которую он в одном из интервью мне сказал: я бы уехал, если бы не русский XIX век. Для него

это вот такая, очень важная внутренняя жизнь, общая жизнь. Понятно, что это из 30-х годов и из школы, и из университета. С тех времён, как он отчислен был из института, уходит из внутринститутской борьбы, это просто для него становится таким миром, в котором он живёт. Но он живёт не как в убежище, а живёт, углубляя своё представление вообще о том, что происходит.

А. Т.: Событийно мы в разговоре остановились на 1989 годе. Если пунктирно описать, что происходит с точки зрения интеллектуального движения тем, концептов в период с 1989 по 1994, если постараться тезисно собрать?

М. Р.: Я не могу ответить на этот вопрос, честно говоря.

А. Т.: То есть он фактически в очередной раз оказывается наблюдателем пришедшей в движение большой истории, причём стремительно пришедшей?

М. Р.: И с таким участием, но, во-первых, были какие-то шаги, которые он считал очень важным сделать, он их делал. Это вот что касается создания «Мемориала». Я совсем там деталей необходимых не знаю, кто, где, инициатор, в какой степени Арсений — Сеня Рогинский, в какой степени Гефтер. Часто многое рождалось в совместном обсуждении, но при проработке, как это делать, конечно, его роль ключевая. С «Московской трибуной» очень похожая ситуация. Но «Московская трибуна» очень быстро стала отдельной от Гефтера в этом смысле, хотя люди, создававшие «Московскую трибуну» были младше Гефтера, слушавшие его. Тот же Шейнис, например, или Ворожейкина. Но открытые дискуссионные клубы очень быстро становилось площадкой того, что Гефтер называл интеллектуальной хлестаковщиной. До этого называл ещё — в интервью «Россия в Сибири», как такое, скажем, распространенное поведение столичной интеллигенции. Но это всё очень стало настолько активно, ярко в Москве 1988-1989 года, вот это разрешённое говорение.

И, значит, помню его сильную в этом смысле реакцию. Нельзя говорить о новых концептах — просто его реакция на происходящее. Вот эпизод как раз день рождения в 1989 году, 24 августа. Сегодня Глеб от меня услышал об этом эпизоде, он не помнит — его не было в тот день почему-то, не знаю. В разговоре за столом возникли какие-то смешки, вспомнили почему-то историю с письмом Нины Андреевой и т. д. Такое ощущение интеллектуального снобизма интеллектуалов, которые с этими сталинистами справляется, отодвигает их на обочину. И у Гефтера была такая резкая тирада, будто прорвалось. Он был, видно, заведён. Я не буду в лицах персонально называть, потому что

он конкретно вполне ответил одному из участников застолья, но обращаясь, в принципе, не к одному человеку: «А потом интеллигенция закричит: „Танки! Танки!“». То есть вот это — реакция на нараставшую уже с очевидностью вот эту холодную гражданскую войну, где они видели себя победителями, взявшими реванш. И это был путь в тупик, что не было очевидно для вечно правых.

Конечно, для него большое значение имело обнаружение каких-то документов, о которых он не знал. Вот есть статья «Апология слабого человека», да, о Бухарине. Есть эта тема, то, что касается антропологии революции, постреволюции и актуальность этой темы он, конечно, очень чувствовал. Чем он до этого, может, не занимался. Может, думал об этом, но у него не было текста, он не писал. Возникли вопросы к Ленину. Я об этом просто не могу говорить глубже, поскольку знаю, что Гефтер знал Ленина как никто. И Гефтер знал это, что он знает Ленина как никто. Надо было видеть эти тома «полного собрания», как они перечитаны, как он проживал за Ленина его жизнь, и, значит, конкретные ситуации, выборы, действия и т. д. Когда это было или когда работал над текстом о Ленине как политическом мыслителе или до этого, для него вообще это очень важная фигура была. Имморализм Ленина ему был абсолютно понятен, ясен совершенно. Когда я спросил о немецких деньгах, были ли они у Ленина. Он ответил, что, если бы дали, Ленин не раздумывал бы ни минуты. Надо воспользоваться попросту и всё. «А там разберёмся». Но вот публикации каких-то записок, связанных с показательными казнями, расстрелами, это для Гефтера было сильным впечатлением, по крайней мере, эмоционально это его задело. Надо бы оговорить, что у нас это был обмен репликами, а не обстоятельный разговор. И это не значит, что состоялся какой-то решительный пересмотр. Ну, он всегда был готов углублять, и что-то пересматривать в своих взглядах. Я не знаю, насколько это поставило какие-то вопросы к его прежним каким-то представлениям.

А в связи с тем, что стало происходить в начале 90-х, осмысление этого, концептуализация, про это я не могу говорить — в это время с ним очень редко удавалось разговаривать. Я почти три года не был в Москве. А когда бывал уже в 93-м довольно долго, то нечасто мог бывать у него. Не было такого плотного общения неделями, как в предыдущие годы. Просто не готов сейчас говорить — что-то я там записывал, надо посмотреть. Не готов. Вот Глеб жил бок о бок в тот момент и во всё это был погружён. Реакция на отдельные события, о которых говорили, — а я был в Москве и в мае, и в октябре 1993-го, и летом надолго

приезжал — у нас совпадала уже в силу того, что я усвоил какие-то его взгляды или просто в силу совпадения позиций.

А. Т.: А вот насколько сама ситуация конца 80-х — начало 90-х, насколько она меняло ту оптику, с которой он рассматривал XIX век? То есть было ли движение в этом направлении — в пересмотре предыдущего, осмысления русской новой истории в плане того, насколько происходящее отличалось от того, что он обсуждал в 1980-е?

М. Р.: Это сложный для меня вопрос. Просто я не готов. Если я начну пытаться это вытаскивать, то сейчас буду конструировать очень сильно. Когда обсуждали какие-то события, то в рефлексию попадали понятия «народ», «народная» и т.п. и, понятно, что обращение в XIX век сильно связано с самой работой с этими понятиями, с тем как они влияли на мысль, скорее всего, через литературу, интеллектуальные традиции, идущие из XIX века. Более развернуто сейчас не скажу, неподъёмный на ходу вопрос просто.

А. Т.: Тогда такой, общего плана вопрос — в какой степени его можно назвать как многих людей этого времени, этого поколения литературоцентричным?

М. Р.: Безусловно литературоцентричный. Когда он рассказывал о середине 1930-х, о своих первых московских годах и этом ощущении вхождения в историю, то это чувство участия в истории неотделимо от Пушкинского юбилея, участия в юбилее, которое для него было и историческими открытиями, прикосновением к истории через подлинность каких-то документов, связанных с Пушкиным. Ему Пушкин был совсем близок, это вынесено было из школы. Для него литература — просто ядро интеллектуальной жизни. На него — это 1989 год — произвела огромное впечатление «Жизнь и судьба» Гроссмана. Это был такое сильное для него интеллектуальное потрясение. Очень часто, говоря о чём-то, мы возвращались туда, к «Жизнь и судьба», которую я к тому времени не прочёл. Поэтому я слушал просто. Он с Гроссманом был знаком, он Гроссмана любил как писателя. Работая в ЦК Комсомола, имея возможность, он как-то вытащил Гроссмана просто на выступление перед комсомольским активом. И благодаря этому его о чём-то расспрашивал. Молодой фронтовик — фронтовика-писателя. «Жизнь и судьба» для него, гроссмановские темы — книга сильно возвращала и к антифашистской традиции как к традиции поколения, и к ключевым российским темам. Да, литературоцентричный. И перевод образов исторических туда, в литературу. Постоянно «Война и мир». «Война

и мир» и у меня любимая книга совершенно. Но когда возникал разговор о «Войне и мире», о каких-то деталях говорили, я поражаюсь, как я мог не заметить, читая, прочитав ни один раз от корки до корки в разном возрасте. Для него Шекспир присутствовал постоянно. Он пытался сам с английского переводить монолог Гамлета для того, чтобы понять, что Пастернак увёл в свою сторону, а что Шекспир в этот монолог вкладывал. Шекспир — это «Гамлет», безусловно «Гамлет».

А. Т.: А почему «Гамлет»? И почему Пастернак? Причём Пастернак и от Пастернака назад к английскому? Есть большая традиция русских переводов.

М. Р.: Ну да, конечно, Гнедич, Лозинский и так далее... Но ему нужно было добраться до оригинала, чтобы...

А. Т.: Я имею в виду, что добирался он до оригинала через Пастернака. От Пастернака?

М. Р.: Отталкиваясь, может, от Пастернака, которого он любил. Ну, Мандельштама любил, Ходасевича любил.

А. Т.: А Ходасевича он хорошо знал?

М. Р.: Я не скажу, хорошо ли знал, но однажды открыл томик и стал увлеченно о нем говорить.

А. Т.: То есть это эпоха изданий 89-х — 90-х годов, «Колеблемый треножник»...

М. Р.: Я думаю, нет. Я боюсь сейчас соврать, мне кажется, что когда я привёз какие-то книги, сначала в 1988 году из Парижа, потом весной 1989, потом в 1990. Что-то я вёз ему, и мне кажется, у меня был двухтомник Ходасевича и, может, второй том два экземпляра и я ему подарил — там, где «еврейский цикл».

Он очень чувствовал поэзию. Я ещё его о музыке не раз спрашивал, потому что у нас был тут момент в 1985 году. Мы на Байкале ночевали одну ночь. Там был транзистор, и я нашёл какой-то очень хороший джаз классический, и Михаил Яковлевич попросил его выключить. Я его спросил, интересен ли ему джаз вообще. И он сказал, что ему джаз просто не нужен, потому что есть классическая музыка, и стал рассказывать, что такое для него классическая музыка. И потом в 1986 году, когда я первый раз у него брал интервью, три кассеты, в конце я задал ему вопрос неожиданно: музыка что для вас? Он стал говорить о своих впечатлениях, которые переворачивали его... Ну, у него мама учитель музыки, и он как-то вот в этом музыкальном мире рос. В общем здесь одна из больших тем. После Байкала мы приехали и пошли на концерт в органнй зал. Тогда, по-моему, и органист известный приехал — у нас

хороший орган просто был, и в город приезжали органисты первого ряда по несколько раз в год. Кто-то из них, наверное. Потому что иначе с чего бы я его повёл, просто чтобы показать костёл, что ли? И для



На Байкале, Кругобайкальская железная дорога (1985). Фото из архива М. Я. Рожанского. / Circum-Baikal Railway on the lake Baikal (1985).

него этот концерт просто примкнул к байкальским впечатлениям — явно стал внутренним событием.

Очень большое значение поэзия, даже бардовская поэзия, что-то из Окуджавы цитировал, что-то из Высоцкого вспоминал.

А. Т.: В целом это не будет большим насилием, если сформулировать — здесь очень «советский культурный канон»? Как раз по времени его формирования, то есть. Это Пушкин, это Шекспир, это Толстой, соответственно. Это классическая музыка, то есть в этом смысле большие имена в этом большом каноне и большие имена для тебя лично во многом здесь совпадают?

М. Р.: Не знаю, могли и новые имена возникать. Не знаю, ну, избирательно. Я вот знаю, что Достоевского он, как и я, скажу, не читал почти и не возвращался.

А. Т.: Я поэтому и говорю, что вот такое, советское тридцатых годов?

М. Р.: Мне французский знакомый — он был другом даже, наверное, мы просто давно как-то разошлись, такой радикальный, который относился трепетно к Гефтеру, очень идейный человек, но славист высокого уровня, очень глубокий и т. д. — он мне говорил, что в конце концов настоял, чтобы Гефтер перечитал «Бесов» и что Гефтер был поражён мыслями, которые его до этого отталкивали по старой памяти. Так что там могли и новые имена появляться. Это и музыки касалось тоже, но классической: интерес к новым именам. Тогда в мае 1986 он отвечал на вопрос о музыке и назвал Башмета. Башмет для него был новым именем, но он так его поразил на каком-то концерте исполнением, если не ошибаюсь, Шнитке. При этом не мог сразу вспомнить фамилию. То есть, можно сказать, что был канон, сформированный культурной модернизацией, школой этого поколения. Можно. Но при этом очень развитый вкус и способность к чему-то всё-таки развернуться, по крайней мере, в каких-то, может, пределах, не знаю. Литовских поэтов открывал современных — делился этим со мной, с другими молодыми друзьями. А когорту эстрадной поэзии не воспринимал: ни Вознесенского, ни Евтушенко, ни Рождественского. Говорил «может быть только Бэлла, самая искренняя из них» Вот что-то такое. Но это была его реакция на определённые человеческие типы, на модели поведения, публичного поведения.

А. Т.: Как говорят, круг чтения — самый интимный вопрос. Вот в этой связи в то время, когда общение шло достаточно интенсивно, возвращаясь к философии, какие там философы, философские тексты, они оказываются, остаются, читают перечитываемое? Или в этом смысле инструментарий, который есть, который выработан, и ты работаешь с другим материалом. Ты работаешь с историческими источниками, ты работаешь с литературой, у тебя нет нужды обращаться к чтению и прочитыванию философской... А если есть, то что именно?

М. Р.: Перечитывание — необходимость. У меня любимое занятие было преподавание истории философии — особенно, историкам. Именно потому, что постоянно перечитываешь, образовываешь себя. Вы не хуже меня, конечно, знаете, что когда готовишься к очередной лекции, постоянно читаешь что-то из классики, что до этого, может быть, не открывал или давно не открывал. А следить за изменениями философской мысли, появлением авторов, о которых начинают все говорить, такой сильной потребности, которая заставляет успевать смотреть и того, и того, читать того и того, не было. С другой стороны, методологическая рефлексия без постоянного чтения философского невозможна.

У Гефтера было по другому уже хотя бы потому, что он был на другом этапе движения. Сейчас-то приближаюсь по возрасту или, точнее, совсем приблизился, понимаю его, когда он мне сказал в году, наверное, 1988-1989, когда издали Лукача. Я приехал из книжного, захожу в квартиру, у меня несколько книг, в том числе Лукач, про молодого Гегеля⁶. Кто-то там был, Володя Максименко или кто-то. И Гефтер посмотрел и говорит — «Ну, это, ребята, вы читайте. Я это уже не прочту». Он не с пренебрежением, а с сожалением некоторым, что уже время себя ограничить, что можно читать, а что уже все равно не имеет смысла. Это при его интересе к Гегелю, его знакомстве близком и близости с Лифшицем. При этом у него уже нет времени читать Лукача, вникать в ту мысль. И, кажется, тогда же я купил первый том нового издания Платона, и вот его М. Я. как-то нетерпеливо взял у меня из рук, и так в него углубился, что я понял, что не могу не подарить. И, спустя там несколько дней или неделю, когда звонил ему из Иркутска, он мне ответил «Тебе привет от молодого Платона и старого Гефтера».

Teslya, A. A. 2020. ““Russkiy vopros — eto odin iz voprosov u Geftera vedushchikh’ [‘The Russian Question is One of Gefter’s Main Questions’]: beseda s Mikhailom Rozhanskim [A Conversation with Mikhail Rozhanskiy]” [in Russian]. *Filosofiya. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki* [Philosophy. Journal of the Higher School of Economics] IV (2), 54–91.

ANDREY TESLYA

PHD IN PHILOSOPHY, SENIOR RESEARCH FELLOW, SCIENTIFIC DIRECTOR RESEARCH CENTER
FOR RUSSIAN THOUGHT, INSTITUTE FOR HUMANITIES,
IMMANUEL KANT BALTIC FEDERAL UNIVERSITY, KALININGRAD

“THE RUSSIAN QUESTION
IS ONE OF GEFTER’S MAIN QUESTIONS”
A CONVERSATION WITH MIKHAIL ROZHANSKIY

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-2-13-162.

⁶ Лукач Д. Молодой Гегель и проблемы капиталистического общества : пер. с нем. / под ред. Т. И. Ойзермана, М. А. Хевеши. — СПб. : Наука, 1987.

АНДРЕЙ ТЕСЛЯ*

«...КАЖДЫЙ РАЗ НАЧИНАЕТСЯ С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ»**

ВЕСЕДА С КЛАУДИО СЕРХИО ИНГЕРФЛОМОМ

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-2-13-162.

Андрей Тесля: Добрый день! Первый вопрос, с которого я начну, банальный — биографического плана. Несколько раз это проговаривалось в предшествующих интервью, если я правильно помню, что знакомство с Гефтером Михаилом Яковлевичем приходится на конец 70-го либо на начало 71-го года в бытность в аспирантуре?

Клаудио Серхио Ингерфлом:¹ В 71-м году. Я был на четвертом или в начале пятого курса МГУ.

А. Т.: Насколько я понимаю, это была история, связанная со сборником «Историческая наука и некоторые проблемы современности», легендарной книгой. Когда первоначальный интерес был найти статью Поршнева, тогда активно обсуждаемую — как и вообще взгляды Поршнева, фигуры очень значимой в интеллектуальном плане для 1960-х — начала 70-х. И затем поверх этого была встреча с текстом Гефтера, опубликованном в том же сборнике².

К. И.: Всё верно.

*Тесля Андрей Александрович, к. филос. н., старший научный сотрудник, научный руководитель (директор) Центра исследований русской мысли Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (Калининград), mestr81@gmail.com, AnATeslya@kantiana.ru.

**© Тесля, А. А. © Философия. Журнал Высшей школы экономики. Работа поддержана из средств субсидии, выделенной на реализацию Программы повышения конкурентоспособности БФУ им. И. Канта в рамках Проекта 5–100.

¹Клаудио Серхио Ингерфлом, директор Исследовательского центра «История понятий», ун-т Сан-Мартин, Буэнос-Айрес.

²*Гефтер М. Я.* Страница из истории марксизма начала XX века // Историческая наука и некоторые проблемы современности: статьи и обсуждения / под ред. М. Я. Гефтера. — М.: Наука, 1969. — С. 13–44

А. Т.: Я хотел сразу, еще до того, как мы уйдем в глубь разговора, вспомнить по этому поводу — не так давно довелось беседовать в Иркутске с Михаилом Рожанским, а почти в то же время еще чей-то автобиографический текст читал, с этим временем связанный. И там, и там — вновь вспоминается статья. Более того, уже человек совсем другого поколения, Сергей Шмидт этой осенью, на Вторых Гефтеровских чтениях, рассказывал, что когда уже Рожанский приобщал его к Гефтеру, он чуть ли не первой дал ему именно эту статью.

Но опять же, обращаясь к типовому — прежде чем уходить в подробности: вот то знакомство, которое происходит в конце 1970 — начале 71-го — на уровне личных встреч, личного знакомства, какое время занимает личное общение с Гефтером?

К. И.: Давай начнём с того, что да, действительно, я видел эту книгу, там был книжный магазин на улице Горького рядом с памятником Долгорукому. Дом, где жил Эренбург. Я перелистал книгу, увидел статью Поршнева. Не помню точно, кажется «Мыслима ли история одной страны?».

Короче, я не из-за Гефтера купил книгу, потому что я его не знал. Когда уже в общежитии стал читать, моё внимание привлекло само название «Забывтая страница». И вот — я понимал все слова. И не понимал смысла. Я начал беспокоиться, потому что уже лет пять сижу в Москве, и вдруг не понимаю текст советского историка. Это было впервые с тех пор, как я научился читать по-русски. И я позвонил моему другу Киве Майданику. Я говорю: «Кива, вот ужас. Не могу понять». И так далее. А он говорит: «А кто автор?» Я говорю: «Гефтер». Он захохотал. И сказал: «А ты не беспокойся. Академики тоже не понимают его». Я у него просил возможности познакомиться с Гефтером. И знакомство произошло в Институте истории. Он меня там принял в кабинете, где он сидел. За это время уже сектор, которым он руководил, методологии истории, был закрыт. И Мишу назначили помощником Жукова, директора института. Не, не Жуков, не помню, кто был директором института, кажется, Жуков³. Забыл уже. Как раз интересно, что забываешь фамилии директоров, но не забываешь фамилии авторов, которых читал.

³ Жуков Евгений Михайлович (1907–1980), в 1968–1979 гг. — директор Института всеобщей истории АН СССР.

Он всё-таки меня принял в кабинете, где сидели несколько людей. И мы начали разговаривать. И там жизнь шла, остальные разговаривали между собой. А помню, что передо мной человек с другим взглядом мышления. Не то, что более умный или менее умный. Другой. Я просто для того, чтобы объяснить тебе. Это было второй раз в моей жизни. Потому что первый раз был в МГУ. Я играл в шахматы, заместитель четвёртой доски команды исторического факультета. Конечно, это было последнее место команды, потому что четыре доски, и я замещал... Но для меня, аргентинца, была большая честь играть в СССР и быть принятым в команду факультета. И однажды первая доска пришла ко мне, пришёл парень ко мне и говорит: «Слушай, ты сегодня играешь, потому что четвёртый болеет, ты будешь играть на первой доске». Я говорю: «Подожди. Против кого мы играем?» «Экономический факультет». Я говорю: «Ты с ума сошёл! Там первая доска — это Карпов». А он мне говорит: «Именно поэтому. Потому что ты будешь проигрывать. Всё равно четвёртым доскам их ты проигрываешь, они чемпионы СССР». «А я, — он говорит, — у четвёртой доски экономического факультета могу выиграть. Понимаешь? У нас будет хоть одно очко».

Ну хорошо. Я, значит, сидел перед Карповым. Вокруг нас стояли Ботвинник, Смыслов, не помню, ещё кто. Но я собрал себя, сосредоточился и дошёл до 11-го хода, что для меня было достаточным. Но я чувствовал, с третьего, четвёртого хода, что передо мной сидит человек с другой планеты. Он догадывался всему тому, что я думал. Я не играл против человека, который играл лучше меня. Я играл против человека, который был вообще из другого мира. До этого я никогда не чувствовал такую разницу между двумя мозгами.

А тут перед Карповым я чувствовал, что в области шахмат... потом я понял несколько лет спустя, что в других областях я лучше Карпова. Но в области шахмат я чувствовал — между нами нет сравнения. Понимаешь, не то, что он лучше. То же самое я почувствовал с Михаилом Яковлевичем, когда мы начали говорить. Я говорил «б», а он знает, что перед «б» есть «а» и отвечает на «а».

И тогда я осмеливался на вопрос, который меня мучил всё время. Потому что я приехал в Союз, был членом Союза коммунистической молодёжи в Аргентине, в подпольной организации, до этого я сидел в тюрьме. И для нас в Аргентине рядом с США... То есть рядом не географически, а в смысле политически, СССР был рай в умах. То, что

поколение Герцена чувствовало в России к Франции, а потом поехали в Париж и поняли, что Франция — не та, что воображалась.

Но пока я начал, когда уже был в Москве, после пары лет, когда я уже говорил свободно по-русски и мог кое-что понимать, то начал замечать, что то, что я думал, и то, что есть, там разрыв огромный. И тогда я задал вопрос Мише. Я говорю: «Михаил Яковлевич, а Вы думаете, что отход от социализма произошёл из-за прихода к власти Сталина?» И тут я слышал тишину в кабинете. Все перестали говорить. До этого все разговаривали нормально. А тут тишина. Я оглянулся и понял, что все делают вид, что заняты, а на самом деле ждут ответа.

А ответ был таким: «Знаете что? Давайте пойдём со мной». И он меня ввёл в большой зал, актовый зал. И мы поднялись в середине. И он мне сказал: «Здесь нет микрофона. Здесь записи нет. Давайте ещё раз Ваш вопрос». Я повторил вопрос. А он мне сказал: «Вы знаете что? Русская история слишком сложная, чтобы задать ей простые вопросы». Вот маленькая фраза, которая руководила с этого дня всю мою жизнь. Я стал действительно историком под этой фразой. И до сих пор, вот прошло сколько? Почти полвека, да? Я начинаю открывать книгу. Открываю книгу. С первой страницы понимаю: вопрос простой, закрываю книгу и больше не читаю.

Это было второе рождение. Интеллектуальное первое, наверное.

И вот мы разговаривали, и он говорит: «Знаете, здесь холодно. Пойдёмте домой, чай попьём». Мы поехали домой, в Черёмушки. И долго разговаривали. Причём, разговор зашёл о Чехословакии, о Праге, о 68-м. И я в то время, хотя у меня были большие вопросы в отношении — что происходит в Союзе, то были какие-то «истины», от которых я ещё в это время не отошёл. Я начал спорить. То есть не спорить — возражать. В это время у меня были трудности в аргентинском Союзе коммунистической молодёжи, потому что когда приехал руководитель ЦК Аргентинской компартии в Москву и нас собрал, и он говорил там бла-бла-бла, в том числе, о помощи чехословацкой компартии, то я ему сказал: «Знаете, я был в Праге два раза. У меня друзья там. Это не была помощь. Это были интервенции, почему мы не осмеливаемся говорить, что это интервенция, что вторжение войск для того, чтобы спасти социализм, никакой помощи нет, потому что компартия, там целиком против. И все поддерживают Дубчека». Меня потом вызвали в организации и сказали, что такие вопросы публично не задаются. Я говорю: «Ну как публично? Мы сидели все коммунисты там». Это для того, чтобы показать степень наивности моей в то время.

И интересно, что после всех этих возражений в доме Гефтера, когда я говорил, что мы имеем право вторгаться, потому что США вторгается, где хочет, когда хочет, а что мы будем отвечать как христиане первых веков и подставили другую щёку? В конце концов, Красная Армия освободила... В общем, бла-бла-бла, я повторял известное. И несколько лет спустя, когда мы уже были на другом уровне... Когда я был уже на других позициях, и мы с Валею и Володей были близкими друзьями, Валя рассказывал мне, что, когда я ушёл, они с Володей⁴ говорили: «Папа, хватит, зачем ты пригласил домой таких дураков! Ну сколько времени можно терять!». И мы оба засмеялись, вспоминая мою наивность. Вот так.



Свадьба Клаудио Ингерфлома и Тамары Кондратьевой, Москва (1972). Фото из семейного архива Гефтеров. / Claudio Ingerflom and Tamara Kondratyeva Wedding, Moscow (1972).

И после этого я влюбился, конечно, в Михаила Яковлевича и начал приходить к нему раз в неделю, скоро два, три. И вообще, когда потом я уехал после окончания университета, это было в январе 73-го года, после этого каждый раз, когда я возвращался в Союз, я жил у него дома несколько лет. Так что первый год, когда ещё жил в Москве, там было короткое время, когда наши встречи были раз в неделю, а потом я уже не мог не ходить к нему несколько раз в неделю, потому что это был как воздух. И он стал свидетелем моей свадьбы в январе. И Валя тоже. Оба.

А. Т.: А ходить к Михаилу Яковлевичу, беседовать с ним — это такой наивный вопрос с моей стороны, это как выглядело? Это, во-первых, беседы один на один? Или Гефтер...

К. И.: Нет, это были в основном беседы один на один. Сидели у него в кабинете, закрывали дверь. Там была постель, стол, стул и книги. Причём первый или второй раз, не

⁴Валентин и Владимир Михайлович Гефтеры — сыновья М. Я.

помню, кажется, это был первый раз, при первой встрече, я ему сказал, что не понимаю Вас. Тогда мы были ещё на «вы». Я говорю: «Михаил Яковлевич, я должен признаться, что я читаю, все слова я знаю, но не понимаю». «А что Вы не понимаете?» «Не понимаю язык, фразу». Он тогда вытащил книгу из библиотеки и говорит: «Вот читайте. Потом поговорим. Ваш русский язык — не тот русский язык». И он мне дал «Былое и думы». Вот я читал подряд, кажется, там за два — три дня, я прочел целиком «Былое и думы». И с тех пор я понимал Гефтера. И дело, конечно, не было в языке — а в ходе мысли.

После этого затруднения были двоякого типа. Первое — потому что там, например, когда я читал... Там вышла статья, после того, как его запретили, там всё-таки вышла статья его о многоукладности. В Свердловске вышел сборник. Это стоило руководителю сборника потери кафедры. Он был заведующим кафедры, и его лишили за публикации сборника, где была статья Гефтера. Например, многоукладность я не мог понимать только из-за того, что я плохо знал ещё, то есть, и до сих пор, но тогда ещё хуже знал русскую историю. Мне просто не хватало знаний. И второй пример непонимания уже был связан с мыслями Гефтера о России как мир миров. То есть сначала было непонимание, потом я понял, что он имел в виду, но тут последнего Гефтера я уже плохо знаю, потому что после 84-го, когда уже Андропов был у власти, и он начал уже — у него был другой язык. И немножко далёкий от моих размышлений, от моих интересов, кажется. Я уже начал ориентироваться в другом направлении.

А. Т.: А вот если мы ориентируемся на Андропова, это значит конец 82-го, 83-й год, да? Вот это расхождение интересов. Если попытаться описать совсем условно, куда примерно, в каком направлении уходит Гефтер? На чём он фокусируется? В том числе, хотя бы просто негативно. Что становится здесь той самой вилкой, куда уходишь ты, что здесь, и гефтеровские интересы оказываются другими. Они оказываются нерифмующимися?

К. И.: Дело в том, что при этой же первой встрече, причём это был ещё разговор в институте в актовом зале, когда он ответил на мой вопрос насчёт того, что дело не в Сталине. Дело не в том, кто приходит к власти, а причины более структурные. Я его спросил: «Тогда с чего начать? Вот я хочу понять русскую историю». Не учить, понять — я сказал ему. Если не с 24-го, не с Ленина, с чего начинать? А он мне сказал: «Минимум с XVI века». Для меня это было — как подняться на Эверест. Но я воспринял это. Я не то, что согласился, я принял это

как указание. И начал читать, и читать, и читать. И действительно я начал с Ивана IV, с Грозного. А тут все эти годы последующие я был занят. С одной стороны, написанием диссертации. И в этой области я, конечно, был ближе... То есть я хочу, если резюмировать, сказать, что самого близкого ко мне, из того, что действительно внедрилось у меня и стало частью моей — это был Гефтер историк. Историк России. Я что могу выделить? Может, не полно, но вот, скажем: не путай общество с политикой. Не путай общество с экономией. Россия была капиталистической, но не буржуазной. Поэтому и Трапезников⁵ его преследовал. Заведующий отделом идеологии, кажется, в ЦК партии.

Потому что если Россия не была буржуазным обществом с классами и так далее, то Октябрьская революция не классическая. И он мне говорил: «Не путай феодализм с самодержавной Россией, это разные понятия. Да, в России капитализм утвердился, и Россия была капиталистической страной, но ту роль, которую капитализм играл в Западной Европе, он не смог играть в России, потому что предыдущие формы были настолько крепкие, что вместо того, чтобы капитализм их снял, они приспособили к себе капитализм, и усиливались благодаря ему. В этом отношении он думал, что молодой Ленин был прав, что дело не в спонтанности рабочего класса — это глупость. Дело в том, что спонтанный путь в России спонтанным образом не доходит до буржуазного общества. Затруднения экономические, социальные, политические, ментальные и так далее были настолько сильные, что буржуазное общество не утверждается, поэтому нужна политика, чтобы сломать сопротивление. Я думаю, что с такой ясностью первый, кто поставил вопрос именно так — это был Гефтер. Никто до него... Были до него какие-то думы, но систематически... Вот это самое главное.

Теперь, возвращаясь к твоему вопросу. Гефтер... Помнишь, есть место, где Ленин пишет, что вот я собирался писать продолжение „Государства и революции“, но произошла революция. Я оставил книгу, потому что важнее само...

А. Т.: Потому что важнее само действие...

К. И.: Вот с приходом к власти Андропова что-то в этом роде происходит с Мишей. Миша продолжает писать, конечно. Но ты не знаешь тот случай, когда он сам пошёл в КГБ, это было во время Андропова.

⁵Трапезников Сергей Павлович (1912–1984), в 1965–1983 гг. — зав. Отдела науки и учебных заведений ЦК КПСС.

Я не помню сейчас год, Валя⁶, наверное, знает. Мы собирались у него дома, вот большинство случаев я был наедине с ним. Но туда иногда приходил Сеня Рогинский, Глеб и ещё один парень, которого я сейчас не помню, он был арестован. И Сеню тоже арестовали. Вот фамилию и имя этого человека я не помню. Но он был тоже в этой группе. Был, вроде бы. Неформальный семинар. И его послали в лагерь. Ему было очень трудно там, в общем, был в тяжёлом состоянии. Короче, он уже сидел, наверное, год, два, не помню. И Миша решил его спасти. И пошёл на площадь Дзержинского, нажал кнопку, ему открыли. И он говорит: „Вот передайте, что пришёл Михаил Яковлевич Гефтер“. „Нет, зачем вы? Почему?“ „Вы передайте, что Гефтер здесь“. И через, не знаю, сколько минут, он пришёл, сказал: „Пожалуйста, проходите“. Там комната, приходит человек в штатском и говорит: „Михаил Яковлевич, чай с двумя кусками, да?“.

Как Миша мне объяснил, дали понять, что всё знают, что я пью с двумя кусками. „Мы вас слушаем“. И Миша им сказал: „Я хочу, чтобы вы возвратили этого человека в Москву. И всё. Вы добились того, что вы хотели. Ему плохо. Зачем уничтожать человека? Он может возвращаться“. Кто нам гарантирует, — говорит тот, — что он больше не будет?» «Я вам даю слово, что он больше не будет заниматься ничем». Я точно не помню слова. Он имел в виду, что не будет делать то, что Вы не хотите. Товарищ вышел, пришёл и говорит: «Если вы поручаетесь, то мы рассмотрим вопрос». И через несколько дней его вернули в Москву и освободили⁷.

⁶Т. е. Валентин Михайлович Гефтер, старший сын М. Я.

⁷Комментарий Вл. М. Гефтера: «Что касается хождения М. Я. на Лубянку во имя спасения неназванного участника какого-то неформального семинара, ничего толком сказать не могу. Когда и куда ходил, с кем встречался, о ком и о чем говорил, и было ли это на самом деле — бог весть. Вообще похоже, что в этом воспоминании Клаудио сплелись в один плотный клубок разные события и впечатления, так что в результате вышло нечто, очень похожее на легенду, со всеми полагающимися при этом архетипами и вполне определенным хронотопом. Что-то вроде московской городской легенды времен позднего застоя, сложившейся в среде диссидентской интеллигенции, ей же и адресованной. Но вообще-то, вне зависимости от подлинности этого эпизода, он кажется мне очень достоверным в том смысле, что в определенных обстоятельствах М. Я. был способен на очень решительные действия, с изрядной дозой авантюриности, и даже, наверное, абсурдные, на сторонний взгляд. Вот в подтверждение другая история, внутренне очень близкая тому, что рассказал Клаудио. Строго говоря, я не был непосредственным свидетелем этого события, а узнал о нем из рассказа отца в тот же день. Это было в день первого заседания суда над Глебом Павловским (если не ошибаюсь — может быть, Валерием Абрамкиным), М. Я. считал себя обязанным присутствовать на нем, но в здание суда

Потом, уже когда с Горбачёвым, Миша был близким другом...

А. Т.: Черняева?

К. И.: Черняева, да. Историка, который был советником. И когда я возвращался в Москву, я уже находил, во-первых, вокруг Миши уже были другие люди. Не первое наше поколение, а многие, которые хотели показать, что они близко к Михаилу Яковлевичу. Это была лестница, подняться на виду у других, что вот... Я сразу отошёл от этого. Когда ему было плохо, их не было. Никто из них не поднял... Не то, что не поднял голос, даже не приходил к нему домой или не звонил. И так далее. А тут вдруг все. Там был очень маленький круг людей, которые поддерживали его, когда ему было все эти годы после 68-го.

Знаешь, может быть, анекдот с Баргом⁸? Миша лежал в больнице, Барг пришёл к нему и сказал, что вот будет партсобрание, и хотят его (Гефтера) исключить из партии. И они договорились, что если ты скажешь вот эти слова, то всё будет в порядке. И дал Гефтеру маленькую бумажку с фразами, которые он должен был говорить. На этом собрание, кажется, должен был быть Трапезников. Этот факт показывает, насколько они не понимали, кто такой Гефтер. Потому что во время собрания Гефтер встал, все думали, что он скажет то, что ему подсказали для того, чтобы его не исключили. Он вытащил бумагу и сказал: «Вот мне дали эту бумагу и говорили, что если я прочту эти фразы, вы меня не исключите». Но его не исключили из партии.

никого, кроме родственников и специально отобранной публики, не пускали. Тогда он быстрым шагом, как бы с разгона, двинулся в сторону мента, стоявшего во внешнем оцеплении, размахивая удостоверением инвалида войны, будто гебешным. Оно было такого ярко-алого цвета. И этот внешний мент его пропустил, но тот, что стоял в дверях суда, дал от ворот поворот. То ли это был более ответственный чин, то ли М. Я. все же недооценил значения оттенков красного.

Наверняка то, что запомнил Клаудио, было связано с делом журнала „Поиски“. Какие-то письма в защиту арестованных и осужденных по нему М. Я. точно писал, в том числе и в КГБ, наверное, а если и встречался с кем-то „с той стороны баррикад“, то, скорее всего, с Бурцевым, следователем Мосгорпрокуратуры, который вел это дело. Наверняка многое можно уточнить на сайте sokirko.info, в частности, в разделе „Вокруг Поисков взаимопонимания“. Сайт посвящен жизни Виктора Сокирко, близкого знакомого М. Я. и одного из авторов журнала, там размещено очень много документов и живых свидетельств.»

Мы спросили Кл. Ингерфлома об этой истории. Он подтвердил, что описанная им история действительно была рассказана ему М. Я. Гефтером в личном разговоре и что он ручается за подлинность своего рассказа (прим. ред.).

⁸Барг Михаил Абрамович (1915–1991), историк английской революции, специалист в области теории исторического познания, с 1968 — сотрудник Института всеобщей истории АН СССР.

Я спросил его — почему? Он сказал: «Думаю, что из-за войны». Он был под Ржевом, у него была награда... Мне кажется, он получил самую высокую награду для невоенных. Военных непрофессиональных, в смысле, да? А он был добровольцем. Он говорит: «Знаешь, война здесь ещё играет роль». Трудно, в общем.

И тут уже Гефтер был больше политик. Поскольку тогда я мог возвращаться в Союз только время от времени, я уже мало следил. И последние годы жизни Гефтера я плохо знаю. Его, конечно, продолжал видеть. И когда он жил на даче у Глеба. Но опять — нужно было ехать на дачу и так далее. И потом — это уже касалось внутренней современной жизни в России, за которой я уже не следил, потому что это совпадало со временем, когда мне нужно было, во-первых, заканчивать диссертацию. Я очень долго писал, потому что я жил во Франции несколько лет без разрешения на работу. Я должен был работать нелегально для того, чтобы зарабатывать деньги на семью, на жизнь. И голова у меня была занята тем, чтобы устраиваться во Франции. Получил легальное разрешение на жильё. Правда, с 81-го года мне стало легче, потому что я получил гражданство французское. Я защитил диссертацию только в 84-м году, кажется. А я приехал во Францию в 73-м. То есть 10 лет писал, потому что за это время я всё время работал. Писал диссертацию по вечерам. И я отошёл от политики, я не мог заняться политикой во Франции. Не моя страна. Я гражданин Франции, но включиться, то есть ментально для всех я был иностранцем, даже если у меня был документ — паспорт. Поэтому я ушёл в науку в то время, как Гефтер ушёл в политику. И последнее время он успел увидеть мою книгу. Да, перевели мою диссертацию на русский язык, кажется, в 93-м. Он ее видел. Он умер в 95-м, не помню.

А. Т.: Да, в феврале 1995-го. 15-го.

К. И.: Да, я как раз был в Москве. Так что последние 5-6 лет я даже... Время от времени я читал его выступления, но как-то я не могу об этих годах говорить много, потому что... Единственное, что могу сказать, что Гефтер мне говорил всё время, что... Он был пессимистически настроен. Я имею в виду сейчас 70-е. Или до смерти Брежнева. Или даже до пленума, кажется, 84-го. В общем, до Андропова.

Так вот, он мне говорил, что наше — в смысле, его, Гефтера — поколение может только подготовить материал для того, чтобы следующее поколение могло что-то попытаться менять. Для него был сюрприз, конечно, думаю, тот факт, что обновление пришло изнутри партии, потому что, в конце концов, надо признаться, что обновление пришло

изнутри партии. Более того, из КГБ. Андропов не был министром здравоохранения, правда? То есть хранил-то он хранил, но не здоровье. Я его спрашиваю: «Миша, как понять исторически, что именно от КГБ?» Он мне говорит: «Ты знаешь, может быть, потому что это были единственные люди, которые знали точно, что происходит в стране, и что всё разваливается. И они воспитывались в духе государства. То есть мы охраняем государство, мы должны следить за интересами государства. И они поняли, что можно всё потерять, если что-то не менять». Правда, он мне говорит: «Знаешь, если ты снимаешь одну спичку, то всё остальное может разваливаться. Понимаешь образ, да? И он мне говорил это про Горбачёва». Он говорил: «Знаешь, Горбачёв рискует остаться один. Если он не удовлетворяет ни правых, ни левых, то танки в Вильнюс — как такое угодно? Когда, помнишь, Горбачёв послал?»

А. Т.: Самое начало 91-го, 11 января.

К. И.: Да, я помню, точно, да. Он плохо переживал это. Насколько я помню, он посылал всё время какие-то идеи через Черняева.

...Да. И ещё надо сказать, потому что я много слышал о том, что вот Гефтер был лицедеем, актёром и так далее. Недавно человек очень серьёзный и хороший мне говорит, что у него такое впечатление, что Гефтер был игроком. И я ему говорил, что не думаю, потому что, даже не зная хорошо и близко последнего Гефтера, последнего — я имею в виду за последние 5-6 лет, Гефтер — да, он не был марксистом-ленинистом в тривиальном смысле. У него была способность обратиться к Ленину как историк с дистанцией. Он не был ленинцем в том смысле, что вот Ленин прав, вот надо делать всё, как Ленин говорил. Это всё чепуха. Гефтер никогда так не думал. В Марксе он видел то, что видят сейчас умные люди во всём мире, что насчёт взгляда на капитализм Маркс был прав. Но, опять же, он не делал из Маркса Бога и так далее. Это одно.

Второе — надо понять, надо относиться к Гефтеру как к историку. Мы должны быть историками, если мы будем рассуждать о Гефтере. Мы должны понять, откуда Гефтер, в каком контексте он воспитался. И с чем он порвал? Причём, он порвал со своей собственной традицией, он был советским человеком, он воевал, он пошёл добровольцем. И надо, очень трудно переступить через самого себя. Мы все пациенты истории. Мы все носим историю в себе. И мы внутри той истории. Идти вперёд мы не можем, если не сумеем устроить диалог со своей собственной традицией.

Вот бери Горбачёва. В какой-то мере он это сделал, а в какой-то мере он не смог. И послал танки в Литву. Если бы он мог прийти до

конца ту дорогу, которую он начал. Уходить от своей традиции, это не значит — быть против традиции. Это значит, идти «за», идти впереди. Идти вперёд. Не впереди, а вперёд. И причём сохраняя всё лучшее из прошлого. Я думаю, что, например, Миша согласился бы с тем, что каждый народ выбрал свой путь, но он очень болезненно относился к распаду Союза. Это уже мои предположения. Я не могу сказать, что Гефтер так думал. Он, конечно, мысленно стоял за то, чтобы каждый решал свою судьбу, но он был сугубо гуманистом. Он не мог относиться бесчувственно к страданиям людей. Он был честным до костей при том, что человек, который физически страдал каждый день. Потому что очень часто Михаил Яковлевич останавливался, потому что голова уже слишком много болела. Ты знаешь, у него остались осколки от гранаты в голове, которые не могли вытащить. И от этих осколков у него были очень тяжёлые боли. Иногда он мне говорил: «Ты знаешь, давай я лягу и отдохну немножко, потому что больше не могу говорить».

Вот теперь мне 73, смотрю назад, знаю достаточно русскую и советскую историографию. И без сомнения я скажу, что Гефтер был лучшим историком России и Советского Союза. Да, у него нет книг, неважно. Те три-четыре статьи, которые он написал, до сих пор они указывают, может, не целиком, но кое-что мы уже пошли дальше коллективно. Там есть идеи, которые совершенно актуальны. Вот многоукладность, остаётся к этому вопрос: могла бы Россия без вмешательства политики выйти из самобытности. Правда, я к этому отношусь... У меня большая аллергия к двум вещам — национализму и церкви любой, религии. Я уважаю людей, которые верят, эту их веру, в той мере, в которой это остаётся личным.

А. Т.: Эрфуртская программа?

К. И.: Да! Эрфуртская программа. Я понимаю, не то, что понимаю, я защищаю и дорого заплатил, в смысле — профессионально, за то, что утверждал всё время, что в истории нет одного пути. Что история состоит из разных путей. Не самобытность — не вся эта линия, которая идёт от позднего славянофильства. Предпочитаю карамзинистов.

И вообще, у меня два героя. Три. Но это лучше убрать, потому что после этого всё то, что я говорил, получается, думать будут, отбросят всё то, что я говорил, если я скажу, что у меня три-четыре героя. Герцен, Николай Гаврилович, Софья Перовская и Андрей Желябов. Да, иногда думаю, что не хватает Желябова, понимаешь. Когда видишь, что происходит, то скучаешь по Желябову.

А. Т.: Тогда, возвращаясь к одному сюжету. Вернее, даже не возвращаясь, потому что он сквозной получился для разговора. То, что прозвучало в самом начале, и то, что только что было сказано, Герцен и Гефтер. Понятно, что к Герцену можно подходить очень различно. И, соответственно, что для Михаила Яковлевича в твоей оптике было ключевым в Герцене? Если сформулировать кратко: что такое Герцен для Гефтера?

К. И.: Отставляем в сторону человеческую сторону. «Былое и думы». Воспоминания, ранние произведения, Наталью, любовь...

А. Т.: Оставляем в стороне почему? Как само собой разумеющееся? Это было очень важно для... То есть Герцен как человек важен помимо всего прочего?

К. И.: Дело в том, что Гефтер не мог проходить мимо человеческих страданий. Но главное для него как историка не это, конечно. Вот близко к Гефтеру что у Герцена? Тот Герцен, который сумел отойти от пресных иллюзий. Знаешь, я тебе прочту кусок, который Гефтер мне читал часто. Герцен после июня 48-го, после расстрела июньских рабочих:

После таких потрясений живой человек не остаётся по-старому. Душа его становится ещё религиознее, держится с отчаянным упорством за свои верования, находит в самой безнадежности утешение, и человек вновь зеленеет, обожжённый грозою, нося смерть в груди, — или он мужественно и скрепя сердце отдаёт последние упования, становится ещё трезвее и не удерживает последние слабые листья, которые уносит резкий осенний ветер.

Что лучше? Мудрено сказать.

Одно ведёт к блаженству безумия.

Другое — к несчастью знания.

Выбирайте сами. Одно чрезвычайно прочно, потому что отнимает всё. Другое ничем не обеспечено, зато многое даёт. Я избираю знание, и пусть оно лишит меня последних утешений, я пойду нравственно нищим по белому свету, — но с корнем вон детские надежды, отроческие упования! — Все их под суд неподкупного разума!⁹

Вот это Гефтер. Гефтер, который потом читает мне следующие фразы Герцена. Это уже из «Былое и думы»: «У меня кружилась голова от

⁹Герцен А. И. С того берега // Собрание сочинений. В 30 т. Т. 6. — М.: Издательство АН СССР, 1955b. — С. 7–142: 44.

моих открытий, пропасть открывалась перед глазами, и я чувствовал, как почва исчезала под ногами»¹⁰.

А если от этого пойти к теоретическим вопросам, которые занимали Гефтера, то, смотри, что Герцен открывает? В этом смысле он впереди Маркса. И Миша это говорит. Маркс не понимал Герцена. Не понимал не только потому, что он думал, что Герцен славянофил или там патриот, а потому, что Маркс был слишком гегельянцем. Потому что Маркс был телеологически настроен. У него была цель. А Миша всё время говорил: «Читай Герцена там, где он говорит, что „не каждый фетус становится человеком, что впереди нет целей, что история не либретто как в опере, где ты должен петь то, что написано. История открыта“». И он мне давал читать письмо Наташи, когда они были молодыми, где Герцен пишет ей, что то, что впереди — не написано, что открыто. И, смотри, что такое сегодня популизм в мире? Во-первых, я не говорю о том, что называется правым популизмом. Потому что я думаю, что несовместимые слова. Ты можешь быть демагогом, но это не значит — быть народником.» Народничество или популизм — он левый, или он не популизм. А почему, где закономерность возобновления популизма в Европе или Латинской Америке уже больше полвека. Популизм в Латинской Америке начинается более-менее в 30-е годы в Мексике, в Бразилии, в Аргентине. Потому что нет классов, в смысле западноевропейских. В смысле западноевропейского XIX и первой половины XX века. Нет деления резкого между людьми по месту производства и т. д. и т. п. Значит, есть Россия и Латинская Америка — они находятся вне центрального капитализма. Имею в виду раньше, не сейчас. Да и сейчас мы все равно не в центре — но это мимоходом...

Герцен понимает, когда он говорит, что конец Европы, он имеет в виду, что ту дорогу гармоническую, через которую прошла Европа с XVIII века, западная — имею в виду, то есть Франция. Развивается капитализм, развивается общество буржуазное, появляются классы. Буржуазная революция, хотя бы и буржуазность... Я думаю, что единственной буржуазной во французской революции — это была контрреволюция. А назвать буржуазной эту революцию, мне кажется, это глупо. Ну ладно, это другое время. А вот эта гармония, синхрония, Герцен понимает, что она кончилась. Что нельзя пойти дальше, потому что большинство

¹⁰ Герцен А. И. Былое и думы : Часть v. Западные арабески. Тетрадь вторая. I. П риан-то // Собрание сочинений. В 30 т. Т. 10. — М. : Издательство АН СССР, 1955а. — С. 116–123.

народа, в первую очередь крестьянство получило столько благодаря 1789 году, что не рискнет собой и не будет рисковать тем, чего уже добилось ради городского пролетариата. Кроме того, Герцен увидел то, что произойдёт через век. Классового деления, с одной стороны, недостаточно для того, чтобы идти дальше либерализма, чтобы превратить в действительность радикальным образом лозунг французской революции. Свобода — да. Для кого? Равенство — хорошо, давайте пойдём на равенство. Они пошли за равенство в 48-м, 71-м. А вот результаты, да? Значит, и вот то, что Герцен не мог предвидеть, но находится в его мысли — то, что экономическое развитие технологически и так далее приведёт к тому, что то классовое деление, XIX и первой половины XX, которое всем казалось отчетливым именно в таком виде, исчезнет. И, значит, получается, что с одной стороны огромный массив населения, а с другой стороны горстка людей, которые владеют всем — и вещами, и людьми. Вот то, что происходит сегодня. И поэтому русское народничество является совершенно закономерным явлением, потому что в России не было классов и классовой системы в западноевропейском смысле, были разные социальные группы, но не классовый политически институцированный. Вот отсюда линия идёт от Герцена, Аксельрод — молодой Ленин. Молодой Ленин учился у Аксельрода мыслить так. Они две недели прогуливали вдвоём в Швейцарии в горах. И что Аксельрод ему говорил? У нас нет господствующих политических классов. У нас есть самодержец со своей бюрократией. Это не буржуазное общество. Поэтому молодой Ленин делится на две части — до 1899-го и от 99-го до Второго съезда.

Вот это тот Герцен, который открыл... Понимаешь, голова кружится от открытий, потому что он совершил феноменальное теоретическое изменение взгляда на историю. Всё кончается классическим периодом буржуазного господства. Включается... Потом Герцен, человек, который смотрит на историю не как один путь, за которым все должны следовать, а открывает. Мы смотрим, мы пришли к... Хорошо, есть главная цель, есть центральная цель истории, да? Но теперь в этой цели мы. А кто такие мы? Не славяне. Мы — это те, которые вне центрального капитализма. И мы — большинство людей. Большая часть населения, большая часть Земного шара находится вне центрального капитализма. А что происходит сегодня, Андрей? Кто проигрывает в этом тандеме? США. Кто выигрывает? Китай. Кто проигрывает? Россия. Кто выигрывает? Китай. Те, которые сумели, во-первых, те, которые были вне центрального капитализма, а по разным причинам сейчас соединяют

у власти хозяев денег и хозяев политики. То есть мафия с двумя лицами — политическим и экономическим. Ну это ладно — сегодня, а вот радикальные концептуальные изменения и взгляд на историю — это Герцен. Центральная фигура XIX века. Внутренний механизм истории меняется. Это Герцен. И это Гефтер понял и делал своим. В этом самая главная близость. Не знаю, ответил ли я на твой вопрос.

А. Т.: Я буду жалеть, если я не задам еще один, другой вопрос. Я просто должен спросить. Поскольку из четырёх героев вторым был Чернышевский для тебя, а Чернышевский для Гефтера?

К. И.: Колосс! Сколько раз Гефтер мне цитировал название последней главы «Что делать?» Помнишь?

А. Т.: Признаться — не помню, но эта книга у меня сейчас под рукой. «Перемена декораций», глава VI.

К. И.: Да. И место из его комментариев к Дж. Стюарту Миллю. Где Чернышевский говорит: «Ничего в одном акте не происходит». И Миша мне говорит: «Чернышевский начинает там, где Герцен останавливается». То есть для Герцена не нужно изнасиловать Россию. Россия готова пойти. А для Чернышевского это не так. Чернышевский думает, что мы не можем идти дальше сейчас, поэтому поселяет Рахметова вне России. Рахметов уходит. И зачем, когда спрашивает у Рахметова: «А почему, что там Вы делали?» Приближался ко всем классам, ходил ко всем классам. А Гефтер потом показывает мне место во втором «Что делать?» Главная задача социал-демократов — идти ко всем классам населения. Миша жалел о том, что его не слышали. Но я понимаю, я был молодым и активистом. Если бы я был молодым активистом в России в 60-е XIX, то я бы не слышал Чернышевского. Чернышевский просил их остановиться, не идти на борьбу сейчас. Нельзя. Поэтому и «Земля и воля» и «Народная воля» не попытались его освободить. Только была одна попытка по просьбе Маркса. Маркс просил... Забыл, первый переводчик «Капитала».

А. Т.: Я понял о ком ты.

К. И.: Второй человек, он был, наверное, влюблён в дочь Маркса. Короче, он приехал обратно в Россию, его арестовали. Но для народных... довольцев...

А. Т.: Герман Лопатин, да?

К. И.: Герман Лопатин, да. Да, да. Чернышевский был кумиром для Гефтера. И, конечно, это не Чернышевский советской литературы, это другой Чернышевский. Чернышевский не был революционером в смысле банальном. Чернышевский был человек антидеспотически

устроен. И Гефтер в своё время обратил моё внимание вот на что. Чернышевский боится Рахметова. Говорит: «Смотри, Рахметов — не новые люди, Рахметов — особенный человек. А новые люди должны бояться его. В России он нужен, потому что для борьбы нам нужно иметь такого человека, который на одном стоит с врагом. С таким врагом как самодержавие ты с цветами не можешь, да?» А политики нет, либералов нет. Либералов нет. Поэтому он пишет Кавур. Где либералы в России? Это фантазия. Либерал — это не человек, который думает либерально. Либерал — значит политическое движение. Либералы в России были такими трусливыми, как и дворянство. После 25-го всё дворянство закончилось. На всё, на что русское дворянство смогло пойти — это потребовать от Шуйского уважения частной собственности и жизни. От Анны Иоанновны — кондиции. И 25-й год. Вот три случая в течение скольких веков? Всё. И либералы то же самое. Конечно, были люди как Чичерин. Блестящие! Но я не об этом — а про то, что либерализм как политическое течение появился благодаря кому? Тем, которые устроили революцию в пятом году. Если по большому счёту посмотреть, то когда они победили? Пусть мне не говорят о земствах и так далее. В историческом плане это чепуха. Это какие-то детали. То, что было, что рабочие и крестьяне пошли и почистили всю, тогда открылась политика как автономная сфера. Вне религии появилась в России благодаря пятому году. Без рабочих, без неграмотных людей, без крестьян Россия не поступила в политику. Политика — я имею в виду сфера, которая с Макиавелли начинает выходить из плиты религии. Но, опять же, Чернышевский — в одном акте ничего не получается. Я работал в архиве, поднял все материалы по поводу — по мумификации Ленина. Я не помню, как комиссия называлась. И там есть интересный случай. Ворошилов говорит: «Слушайте, что за идея вообще? Вы знаете, что скажут нам крестьяне? Скажут: „Ха, вы уничтожали наши мощи, а теперь ставите ваши? И что ждёте? Чуда?“» — Чудес. А кто отвечает!? Железный Феликс. И что говорит Феликс? «У нас чудес нет. У нас нет культа личности. Чудес не будет». А через несколько дней появляются слухи. И в «Рабочей Москве» письмо, где рабочий пишет: «Вот теперь будешь гулять по Красной площади, и если ты ушёл от Ленина, то пройдёшь мимо него, и сразу возвращаешься к правильным мыслям». Чудес нет, да? Значит, большевики боролись с институтированной религией, а сами были религиозными. В смысле концепции власти. Потому что при самодержавии, где охраняется легитимность власти? Там, высоко очень. Вне доступности общества — Святой Дух. Вне общества, вне

людей. А какую Россию строили большевики? Где легитимность власти в Союзе? В обществе? Где источник легитимности? Или в марксизме-ленинизме вне общества? В мавзолее, у Маркса? Какую возможность имеет общество вмешаться как источник легитимности власти. Поэтому в одном акте ничего не получается.

А. Т.: Перебивая ритм, спрошу на другую тему, о чём было мимоходом сказано выше, когда речь зашла о статьях Гефтера. Известно, что Гефтер постоянно переписывал, редактировал — имел буквально страсть к редактуре. Но вопрос другой — а почему на протяжении такого времени Гефтер не сложил, не создал, не выстроил книгу? Почему этот автор, почему такая величина, тем не менее оказался человеком, оставшимся без собственной книги? Причём сам по себе имея все возможности в разные моменты жизни ее создать, создать разные — в разные этапы? Ведь внешних ограничителей здесь явно нет.

К. И.: Трудный вопрос. Или несколько ответов разных. Во-первых, имей в виду, что я познакомился с Мишей, когда он уже был в опале, да? У него были идеи. И ему важно было написать эти идеи. Одну за одной. Книга требует другой подход. Мне вот тоже легче писать статьи, чем книги. У меня 110-120 публикаций, но собственно книг — таких, которые я написал с первой до последней страницы — две. Остальные книги у меня — или главы, или предисловие, послесловие. И много статей. Так что это я понимаю. Для того, чтобы написать книгу, ты должен изолироваться от всего остального, сосредоточиваться только на одном, развивать по академическим правилам. Это не Гефтер.

Гефтер мог писать, если бы он хотел, мог писать об обмене письмами шведского короля с Грозным, или значении нефтяной промышленности в капиталистической России. С одной и той же глубиной в первом и во втором случае. О Грозном он не писал, но он мог писать. Мы много говорили о Грозном.

Твой вопрос разбудил у меня забытый случай. После того, как я читал «Былое и думы», я сказал ему, что очень похоже на «Люди, годы, жизнь» Эренбурга. И он что ответил? Он говорит: «А ты заметил, что Эренбург начинает всё время говорить с сегодняшнего дня?» Я говорю: «Нет, я вижу, что он идёт туда и обратно». Он говорит: «Потому что могут прервать, понимаешь?» И главное — послать, передать мысли о том, что происходит сегодня. И Миша говорит: «Поэтому каждый раз начинается с сегодняшнего дня».

Вот у Гефтера то же самое. Писать и отдать сейчас самые жгучие мысли о том, что происходит. А писать книги — это значит абстрагироваться от всего остального и посвятить себя только одной теме.

Teslya, A. A. 2020. "...Kazhdyy raz nachinayet-sya s segodnyashnego dnnya' ['...Every Time It Starts From Today']": beseda s Klaudio Serkhio Ingerflomom [A Conversation With Claudio Sergio Ingerflom]" [in Russian]. *Filosofiya. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki* [*Philosophy. Journal of the Higher School of Economics*] IV (2), 92–110.

ANDREY TESLYA

PHD IN PHILOSOPHY, SENIOR RESEARCH FELLOW, SCIENTIFIC DIRECTOR RESEARCH CENTER
FOR RUSSIAN THOUGHT, INSTITUTE FOR HUMANITIES,
IMMANUEL KANT BALTIC FEDERAL UNIVERSITY, KALININGRAD

"...EVERY TIME IT STARTS FROM TODAY"
A CONVERSATION WITH CLAUDIO SERGIO INGERFLOM

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-2-13-162.

АНДРЕЙ ТЕСЛЯ*

«АВТОР — ВОПРОШАТЕЛЬ ТОГО,
КАК ДУМАТЬ ОБ ИСТОРИИ»**

ВЕСЕДА С ВАЛЕНТИНОМ ГЕФТЕРОМ

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-2-13-162.

Вместо эпитафии:

«Но здесь еще царит его доступный дух»

Е. Баратынский

А. Т.: Во множестве мемуаров, воспоминаний и т. д., относящихся к Михаилу Яковлевичу, упоминаются Черемушки, тот дом. Когда там обосновалось ваше семейство, как все это происходило? Как выглядела та ранняя, отнюдь не, московская жизнь, которая помнится?

Валентин Гефтер:¹ Переехали мы в Черемушки, если я не ошибаюсь, зимой... Нет, наверное, весной уже 1961 года. Это было не так важно, конечно, откуда появилась эта квартира. Она появилась из Управления жилищного хозяйства Президиума Академии наук. Там был хороший довольно руководитель, который как-то с Михаилом Яковлевичем имел уже давние отношения... не в смысле клиентеллы, просто был в курсе нашей жилищной ситуации. Потому как до этого в 1958 году мы переехали в так называемый ДНР-3 на улице Дмитрия Ульянова, в дом по проекту знаменитого архитектора Жолтовского².

*Тесля Андрей Александрович, к. филос. н., старший научный сотрудник, научный руководитель (директор) Центра исследований русской мысли Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (Калининград), mestr81@gmail.com, AnATeslya@kantiana.ru.

**© Тесля, А. А. © Философия. Журнал Высшей школы экономики. Работа поддержана из средств субсидии, выделенной на реализацию Программы повышения конкурентоспособности БФУ им. И. Канта в рамках Проекта 5–100.

¹Валентин Михайлович Гефтер, директор Института прав человека (Москва).

²Имеется в виду дом по адресу ул. Дмитрия Ульянова, 3, рядом с которым расположены т. н. ДНР-2 и еще строившиеся тогда три корпуса кооператива сотрудников той же АН СССР.

Там у нас была однокомнатная квартира — конечно, это было лучше, чем комнатка в коммуналке до этого, но все равно было очень трудно вчетвером жить в однокомнатной квартире. Михаил Яковлевич продолжал просить о некотором улучшении. И вот предложили трехкомнатную малогабаритную в Черемушках на улице Гарибальди, в которую мы переехали через два с небольшим года после пребывания вблизи пересечения Ленинского и Университетского проспектов.

Занятный момент, касающийся Михаила Яковлевича: неподалеку от нашего дома было село Семеновское, нынче его, конечно, нет, там жилые кварталы, и довольно элитные. Оно шло вдоль старого Калужского шоссе, по которому еще Наполеон отступал из Москвы. Оттуда приходил пожилой уже человек, приносивший молочные продукты, и они с Михаилом Яковлевичем могли часами говорить «за жизнь». И еще: в Семеновском Михаил Яковлевич в ноябре 1941 года, когда он уже был в рядах Краснопресненской, кажется — она не раз переименовывалась — стрелковой дивизии. Слава богу, это было не то первое ополчение, которое погибло почти целиком под Вязьмой, Ельней в гигантских «котлах» ранней осени начала войны, это была следующая волна «народного призыва».

И вот они стояли в этом селе, где обучение происходило. А на фронт они попали под Ржевом уже после наступления декабрьского Красной Армии под Москвой. И поэтому у отца Семеновское вызывало специфические воспоминания. В одной из изб они там жили и чему-то обучались — наверно, стрелковому делу и прочей пехотной премудрости перед отправкой на фронт.

Мы жили рядом с недостроенной тогда станцией «Новые Черемушки», оказавшись в ста метрах от входа в метро, что потом было очень удобно. Сначала вокруг было грязно и пусто, но, когда метро заработало, и народу прибавилось.

А главное, конечно, что связано с началом шестидесятых годов, точнее с 1962 годом, — появление сектора методологии истории в еще едином Институте истории Академии наук. И это тот этап, который совпал почти по времени с переездом в Черемушки, на улицу Гарибальди 23/56, корпус 2. Это время стало самым активным, может быть, даже самым известным периодом работы Михаила Яковлевича в Академии наук. Хотя были, конечно, предыдущие моменты: наиболее яркий из них, с моей точки зрения, — его участие в подготовке первых томов «Всемирной истории» в первой половине пятидесятых годов, перед его болезнью,

когда он и Илья Миллер (отец Алексея Миллера) были чуть не основными рабочими редакторами этого грандиозного издания. Конечно, была главная редакция во главе с Е. М. Жуковым; Михаил Яковлевич в нее не входил, будучи молодым и сначала не остепененным. Но там было несколько человек, которые активно вкалывали, как говорится, и по многу часов в сутки. Михаил Яковлевич был одной из таких рабочих «лошадок». Это был один из первых его незаурядных периодов в рамках академической науки, второй пришелся на шестидесятые, связанные с сектором методологии, о котором многие начитаны и наслышаны.

Можно продолжить про Черемушки, конечно. Это была обычная пятиэтажка, третий этаж без лифта. Михаил Яковлевич, кстати, был старший по подъезду. Не все, наверное, время. Мы там прожили почти 30 лет и выехали в 1991-м, если не ошибаюсь, после его инфарктов. Решили просить Сергея Станкевича, который был депутатом от нашего Черемушкинского округа, посодействовать обмену или получению квартиры, где будет лифт: беспокоились, что после инфаркта ему все-таки не стоит ходить вверх по лестнице.

Возвращаюсь к нашему второму подъезду и квартире № 31 на третьем этаже. Соседи были самые разные. Не уверен, что дом целиком был «академический», хотя часть квартир была выделена Академии наук, и публика была самая разная. Явно, что абсолютно не элитный дом — в отличие от предыдущего, ДНР-3, где мы жили рядом с академиками, известными людьми, например, Опарин и Басов в нашем подъезде, хотя мы их не знали, конечно. А здесь был самый обычный московский люд, отношения были хорошие, дружественные. Снова подчеркну: соседями была разная публика, по крайней мере, на нашей площадке с четырьмя квартирами, как обычно в такой пятиэтажке.

Район был хороший, зеленый. Михаил Яковлевич очень много гулял, особенно, когда уже освободился от хождения на работу. Тогда и собака у нас появилась, Топ. В магазины ходили, и он, и мы, естественно. Так что нечего особо рассказывать, обычная советская текучка. Поэтому перейдем к более интеллектуальным сюжетам.

А. Т.: Поясню, откуда генеалогия вопроса про Черемушки и откуда такой бытовой интерес возник. Потому что и в воспоминаниях, и в заметках, и в каких-то отзывах присутствует, насколько я понимаю, и склонность, и важность для Михаила Яковлевича, например, близких к себе людей, быть с ними не просто гостеприимным, например, что у него останавливаются. Вот сама модель общения. Насколько для Михаила Яковлевича было вообще свойственно выстраивать вот

такой круг, и насколько широкий круг, построенный именно на личном общении, выстраивать связи и отношения, выходящие за пределы конкретного интеллектуального?

То есть понятно, что об этом преимущественно говорят те немногие, которые оказались в длинную связаны. Но вот насколько вообще само стремление или даже не стремление, а сама склонность к подобной модели общения?

В. Г.: Тут есть несколько специфических моментов. Во-первых, думаю, это было присуще его характеру. Недаром он был столь активистом комсомольско-партийным перед войной на истфаке МГУ и ранее в Крыму, где был чуть не председателем Совета пионерских органи-



Симферополь (1934)³. Фото из семейного архива Гефтеров. / Simferopol (1934).

³М. Гефтер — второй справа во втором ряду снизу. Слева от него (3 справа) — Софья Евгеньевна Долгих, директор школы с 1931 по 1935. Про нее М. Я. интересно вспоминал в интервью Лоренцо Скаккабароцци (источник: интервью швейцарскому радио 14 января 1989): «Я очень хорошо вспоминаю, например, свою [...] учительницу, вернее старенькую, как мне тогда казалось, она, конечно, была моложе, много моложе меня сегодняшнего,

заций Крыма в начале тридцатых. Конечно, это было в его характере всегда — тяга к общению, личностная активность, сочетающаяся с нечуждым, нормальным отношением к людям. Это же, видимо, сыграло свою роль в начале войны, когда он стал комиссаром стройотряда МГУ на рытье оборонительных сооружений на западном направлении. Потом был период более камерный, что ли. Понятно, война и первые послевоенные годы, аспирантура и работа в Институте истории — все это было более обыденным. Да и времена наступили не самые располагающие к свободному живому общению с большим количеством людей.



М. Гефтер в 1941 г. Фото из семейного архива Гефтеров. / M. Gefter in 1941.

А потом он заболел, так что могу судить, начиная с шестидесятых годов. А это время сектора методологии, и центр общения, конечно, был там, туда приходило много людей, как вспоминается то время. В Институт истории он ходил, может

а... директора школы в Симферополе, где я жил, Софью Евгеньевну Долгих. Вот. Человека из поколения интеллигентов, принявших революцию и отождествивших себя с революцией. И я помню как когда-то я начал с ней уже близко знакомиться, был принят в ее доме, стал там своим человеком, я помню, как у нее на столе лежало довольно ветхое издание Чернышевского, романа Чернышевского „Что делать?“ и на первой странице уже выцветшими чернилами было написано: „Что делать? стало ясно“. Видимо, писала она давно и книгу пронесла сквозь всю жизнь. Ну, конечно, она не со времен Чернышевского была, конечно это произошло позже, где-то в конце девятнадцатого, в начале двадцатого века, но впечатления этого рода, они множились, отпечатывались, и в совокупности своей [...] они определили [...] выбор мною и профессии. Я сейчас опускаю другие детали моей жизни, о которой можно было бы рассказывать долго, например, как я ездил в деревню во время коллективизации, или как я воспринимал другие события, какие девизы жизни откладывались в моем сознании... Насколько близко ему, например, была вот такая фраза, которую у нас один, в моем городе, популярный деятель любил в каждой своей речи произносить: „Догнать — значит победить, перегнать — значит уничтожить“. Поэтому, когда спустя много лет, Хрущев как-то невзначай, вот, произнес эту, потом много раз повторяемую всеми фразу ему, так сказать, в укор: „Мы вас закопаем“, — он просто говорил языком того времени, воздухом, атмосферой которого я дышал. И хотя у меня было большое увлечение физиологией, [...] и я хотел стать физиологом, у меня была такая мечта, но вся моя бурная общественная активность, она вся определила мой путь — в историю.»

быть, почти каждый день. И это было не только по обязанности зав. сектора. Наверное, и тогда были присутственные дни, но для него естественно, ведь он был организатором этой затеи. К тому же, руководство сектором требовало его присутствия, особенно в первое время, поэтому центр общения, как мне кажется, был в те годы все-таки вне дома.

Другое дело в семидесятые, после полудобровольного ухода из академической среды, из официальной науки, когда потекли первые ручейки, скажем так, молодых людей у нему, больше не москвичей. Как Глеб Павловский, Вячик Игрунов и остальных из этой четверки-пятерки, которые были связаны с Одессой, а потом харьковчанин Марк Печерский. Не говоря о живших в Москве, как Клаудио Ингерфлом с Тамарой Кондратьевой, которые нередко бывали у него. Так что постоянное общение стало нормой, наверно, ближе к середине семидесятых. При том, что у не-москвичей иногда просто было негде переночевать. Или засиживались за полночь, метро уже закрывалось. Или, как в случае с Марком, у которого бывали приступы, схожие с отцовскими ранее, спазмами головного мозга, и ему трудно иногда это давалось. И, конечно, они ночевали тогда у нас дома. Кроме того, это было связано (бытовая подробность) с тем, что я уже не жил там, и поэтому мама смогла переехать в третью, самую маленькую комнату, которую ранее занимал я как старший сын-студент. И тогда брат-старшеклассник и кто-то из молодых гостей размещались в проходной большей комнате, где можно было посидеть подольше, а то и переночевать. То есть общение и постоянное пребывание их в нашем доме совпадали.

Одновременно разрасталась и сфера его контактов. Если шестидесятые годы это были академические круги плюс, конечно, старые истафовцы-друзья довоенного времени, что было многие годы на первом месте, их придется долго перечислять. Потом появились люди типично «шестидесятнического» склада — из «Нового мира», кто-то из Театра на Таганке, то есть, из общегуманитарно-культурной сферы. А в семидесятые годы появились связи в диссидентских, условно говоря, кругах, но больше инакомыслящие как определенная часть тогдашнего социума. Не говоря уж о журнале «Поиски», когда в конце семидесятых его начали делать, и активно работали с его материалами. Кроме тех, кто еще теснее стал связан с отцом общим делом как Павловский, были и другие, близкие Михаилу Яковлевичу люди. В те годы появились те,

кто, как Сеня Рогинский⁴ в первую очередь, делал тоже самиздатский сборник «Память».

И были еще люди, с которыми возникла и долго длилась дружба, как Лариса Иосифовна Богораз. Разные зарождались контакты. Появились связанные с ИНИОН, потому что моя мать перешла работать туда



Встреча истфаковцев (1965). Фото из семейного архива Гефтеров. /
Meeting of Students-Historians (1965).

в 1968 году, если не ошибаюсь; этот Институт общественной информации был рядом с нашим домом, и оттуда люди забежали иногда. Немногие, конечно, но помню некоторых, кто регулярно бывал у М. Я.

Так что с одной стороны Гефтер все больше становился центром притяжения многих людей, и молодых, и своего поколения, а с другой важно то, где это происходило? То есть, если в шестидесятых это был сектор, и Институт истории в целом, была возможность работы на семинарах там, были бурные дискуссии, обсуждения всякие на парт-собраниях, борьба за т. н. новое прочтение, то после того, как все это

⁴Арсений Борисович Рогинский (1946–2016), будущий глава Общества «Мемориал».

прихлопнули почти что в начале, оставался лишь дом. Как еще можно было в тех условиях?..

Компании бывали часто смешанные. Не потому, что присутствующие часто не знакомы между собой, а очень разнородные по многим параметрам. То есть никаких семинаров в наукообразном смысле слова не предполагалось. Иногда приходили иностранцы или кто-то из «далеко от Москвы» приезжал, и такой разворачивался рассказ на тему, которую, конечно, «вел» Михаил Яковлевич. А, к примеру, бывало, как сейчас помню, замечательный вечер, когда пришел Натан Эйдельман с женой Элей, и оба историка солировали по очереди, начиная с декабристов и далее по всему русскому XIX веку. И это было классно! Они не готовились специально, в комнате были мы с мамой и чета Эйдельманов. Но они настолько друг друга завели, что дуэтом сыграли на эту тему.

Можно вспомнить еще разные эпизоды, с такого рода пиршеством духа связанные, но закончу ответ на этот вопрос тем, что семинаров не могло быть — в отличие, например, от домашнего семинара Библера, на котором я бывал изредка; Там, на «Речной вокзал», была постоянная аудитория и более-менее организованная структура: доклады, прения... Володя, как многие его называли, старался поддерживать своего рода академизм, хотя там царил очень теплая и дружественная атмосфера. Причем происходило это в еще меньшей комнате, чем у нас, в такой же малюсенькой трехкомнатной хрущевке. Но, замечу, там все пришедшие помещались, за небольшим обеденным столом и вокруг.

В Черемушках многолюдные встречи бывали редко, и никакой регулярности — кроме, может, дней рождения, и то не всегда. Это была работа, можно сказать. Отец писал и обсуждал этот сюжет с тем, кто был под рукой. Сегодня это Глеб, завтра Марк Печерский, послезавтра какая-то компания немногочисленная.

Конечно, бывало, что кто-то его «выводил» на посторонние темы, но не в текущем режиме, а за вечерним чаем, когда у него в гостях иностранец или кто-то приезжий, не «из своих». А в обычном домашнем обиходе, с утра пораньше, такое бывало очень редко. С утра могли быть только несколько перечисленных мной людей, потому что обычно все-таки он работал один за столом. А потом, если только не ночевал кто-то из молодых и что-то совместное происходило, а кто-то приходил к нему, начинались «ля-ля, тополя».

А. Т.: В разговоре возникла такая формула, «работал и обсуждал». Я так понимаю, что сама модель работы у Михаила Яковлевича — в нее была встроена необходимость постоянного обсуждения,

проговаривания, диалога, беседы. То есть само устройство размышления это предполагало, необходимость общения и необходимость... Вот в связи с этим у меня вопрос-прояснение — необходимость здесь спора, столкновения или необходимость в первую очередь проговаривания и выявления оттенков?

В. Г.: Да и нет, одновременно. У меня нет устоявшейся точки зрения на это.

Во-первых, ответ зависит от периода его научной деятельности, как говорится. Конечно, того, о чем вы спросили, не было на ранней стадии, в аспирантуре недолгой и в начале научной деятельности. Понятно, тогда было больше обычной работы за письменным столом или в архиве, библиотеке. Со временем, видимо, появилась заметная потребность в диалоге; возможно, в шестидесятые годы в меньшей степени, поскольку обсуждений хватало с лихвой в секторе и других местах. Дома мы этого тогда не наблюдали, хотя я уже был студентом и не так много времени проводил дома.



Кажется, шли параллельно два процесса. Он все больше и больше вел как бы диалог с самим собой, ведя записи в своих блокнотиках, на листочках, хотя все еще многое

писалось как обычный черновой вариант рукописного текста (машинкой он никогда сам не пользовался). Эти записи «на манжетах» не были рукописью в буквальном смысле слова, которая создается обычно на заключительном этапе работы над текстом. То есть далеко не всегда стопка листов бумаги А4, по-моему, на столе не лежала, по крайней мере до этапа, когда все выливалось в некий прототекст или, готовый на тот момент текст. Сначала бывали выписки, они могли быть из самых разных источников, из книг, стоявших у него в письменных шкафах, всю стену занимавших в его комнате. Но многое было из головы, из воздуха времени, как говорится, из услышанного от других.

Михаил Яковлевич Гефтер (1970-е). Фото из семейного архива Гефтеров. / Mikhail Gefter (1970s).

С годами нарастало, названное мной диалогом с самим собой в виде этих записок, заметочек для себя, с сокращениями, подчеркиваниями, разного рода выделениями и пометками на полях. Что-то из этого сохранилось, поэтому мне нет нужды описывать. В оформлении поздних изданий, особенно в трех книжечках «Век XX и мир» к его 75-летию подготовленных как иллюстрации его стиля, что ли. Замечательно получилось, по-моему.

А вот устный диалог с другими имел место прямо на наших глазах, в квартире — не важно, где это было, в его комнате, на кухне — либо на прогулке с собакой. Это как бы развивало и поддерживало первоимпульсы появления новых идей. Что-то приходило из разговоров или, наоборот, рождалось из этих записочек и заметочек, а потом попадало или нет в тексты. То есть комбинированный, не одномерный, многовариантный способ работы.

Подытоживая можно сказать, что это был внутренний диалог (в понятиях Мартина Бубера или Владимира Библера) со своим другим «я», либо обсуждение, в обиходном смысле слова, с другим человеком — и то, и другое, конечно, нормально и важно для Гефтера.

И последнее. Для него (не знаю, как это можно артикулировать) не менее важен был диалог с другими авторами, будь то Гегель, Ленин, Пушкин, Шекспир — не суть сейчас, кто именно. Даже больше, чем с кем-то из коллег и современников по науке. Когда он читал, то вступал с ними как бы в диалог. По мне, если такую диалоговую триаду закрепить, то возникает правильное представление. Чего больше или меньше, мне трудно судить и, наверное, многое соотношение зависело от момента, от периода и так далее.

А. Т.: Тут такой сложный момент возникает, я постараюсь проговорить со своей стороны в пояснение.

Вот то, что было еще, по-моему, в процессе, когда обсуждали то ли первые, то ли вторые Гефтеровские чтения в Иркутске и так далее. Возникал вопрос о герметичности Гефтера. Например, речь шла о том, что если мы говорим о некоей публичности, и если это не история про тех немногих, кто непосредственно связан был с Гефтером либо связан через цепочку учитель — ученик, соответственно, через одного, то возникает самый простой вопрос в обращении к внешнему: объяснить, чем значим Гефтер. Ведь необходимо сказать, что Гефтер это тяжелый автор, сложный, который сильно сопротивляется линейному чтению. Где по отношению к нему стандартный вопрос, который возникает к массе

опубликованных текстов — о чем это, почему это вообще, собственно, тебе читать, что это дает без ясного алгоритма чтения?

В этом смысле он автор, который не предлагает какой-то эксплицитный алгоритм прочтения, алгоритм работы с собой, где он тебе его сразу показывает и тебе в принципе понятно, чего ждать и чего ждать не приходится. И уже в зависимости от этого довольно легко определиться, читать, не читать, работать, не работать, тратить время, не тратить.

С Гейфтером возникает такая очень общая проблема, это проблема ответить на вопрос, а о чем это, о чем вообще вот эта цепочка довольно разных размышлений специфического языка эссеистики. Причем ведь речь идет не о том, что, когда мы говорим о Гейфтере, мы говорим о публицисте или об эссеисте. Разумеется, то притязание, которое сразу же осуществляется, это притязание и на масштаб мысли, и сразу же речь идет о притязании на историю или философию, дальше другой сюжет с этим связанный.

Но в любом случае речь идет о некоем большом притязании, и отсюда сразу возникает вопрос. Если говорить фундаментально, о чем это, в чем нерв, в чем существо разговора, потому что понятно, что все эти ходы, детали, подробности, ретракционность, которые осуществляются, я смотрю, они обретают смысл в виде постановки вопроса по отношению к какому-то ядру.

Можно ли сформулировать это самое ядро или вообще сам этот подход здесь неверен и здесь скорее несколько фокусных точек, которые объединяются по принципу созвучия? И можно ли вообще отвечать на вопрос, что? А не будет ли ключевым вопрос вообще как, вот в этом смысле? Вообще верно ли задавать здесь в первую очередь вопрос: «про что»?

В. Г.: Такой вопрос правомерен, это не просто обывательская точка зрения. Я сейчас перед тем как ответить, замечу, что когда Михаил Яковлевич стал гораздо более публичной фигурой в конце восьмидесятых — начале девяностых годов, меня знакомые, больше из научной среды (в которой я был со времен МГУ и имел отношение к естествознанию долгое время) и друзья, часто спрашивали: а что Михаил Яковлевич думает, чего можно ждать завтра-послезавтра, что будет со страной или после Союза. Утрирую, конечно, но всегда вынужден был отвечать, что Михаил Яковлевич не футуролог, тем более, не угадайка. Так задавать вопросы историку очень наивно, если не смешно, хотя не хотелось обидеть кого-то. Понятно, что естественны такого рода ожидания, но бесперспективны.

Возвращаясь к тому, о чем вопрос. Во-первых, Михаил Яковлевич Гефтер очень разный. У него были работы, может быть, сейчас заслоленные теми, что вошли в книгу «Из тех и этих лет», другие публикации времен перестройки, что удалось напечатать тогда и в девяностые годы. Но ранее у него были работы вполне добротного академического, в историографическом смысле. Не говоря о кандидатской диссертации на тему царизма и монополий в сахарной и нефтяной промышленности начале XX века. Или, например, его работа о природе многоукладности дореволюционной России (очень интересная, начала семидесятых, напечатанная в сборнике трудов конференции в Свердловске. То есть были работы классического, что ли, типа.



Аспирантура МГУ (октябрь 1945). Фото из семейного архива Гефтеров. /
MSU postgraduates (October, 1945).

Вот снова отступление. Сигурд Оттович Шмидт, с которым они знакомы были с довоенного истфака МГУ и потом по сектору методологии, расположенный к Михаилу Яковлевичу человек. Как и Михаил Яковлевич, уважавший того за краеведение, архивные труды, обширные познания разного рода. Шмидт как-то мне говорил уже в наше время

и где-то писал, что считает вершиной трудов отца не те, где он выступает как мыслитель, а работу Михаила Яковлевича как историка. И выделил публикацию 1969 года в «Новом мире» — «Из истории ленинской мысли», которая посвящена тому, как Ленин после 1905 года, исходя из работы Маркса по американскому «черному переделу», обосновал новый для партии подход к крестьянскому вопросу в России, программе наделения землей. Это примитивно я излагаю, проведенный отцом анализ далеко не тривиален. Сигурд Оттович говорил про совершенно оригинальное новое прочтение не только текста классика (бог бы с ним, такие, наверное, встречались не только у Михаила Яковлевича), но и как образец понимания эпохальности поворота политической мысли, истоков будущего, того, что произошло позже с идеей «земля крестьянам» и так далее. И для Шмидта это была очень яркая работа; но последовавшие за ней у Гефтера — нет, такими не казались. Я сильно упрощаю, Сигурд Оттович так прямо не говорил, но суть передаю верно.

Сказанное подводит к мысли о том, что такое поздний Гефтер. Это, с моей точки зрения, автор-вопрошатель того, как думать об истории. Не о фактах и определенных событиях прошлого, а о том, какова природа исторических процессов, что движет людьми в прошлом, да и в настоящем, конечно. Его больше интересовало, что в основе нашего понимания истории, знания, еще раз подчеркну, не столько добываемых фактов, сколько проникновения в смыслы истории. А с другой стороны, — как вообще складывается сама история, что это такое. Недаром его последние записки, заметки, фразы, говоренное вслух посвящены вопросу: что есть История, не как наука, но и не как прошлое, что было до настоящего момента, а феномену истории как этапу человеческой эволюции.

Эта тема не оставляла его, из тех, к которым он не раз обращался, мнение по которым можно много цитировать и обсуждать. Для него было важным понимание того, что лежит в самой глубине человеческого бытия — то, что называется историей, и как об этом думать, и что об этом спрашивать. Не у кого, а что об этом спрашивать. То есть, какие вопросы ставить самому себе и нашим знаниям о прошлом — в рамках разных научных дисциплин.

Недаром приводят часто его фразу, что у него нет ответов, есть вопросы. Казалось бы, расхожая формулировка, но очень для М. ,Я. осмысленная. К поискам того корневого, что не выяснить, даже если добросовестно и последовательно изучаешь прошлое. Будь это археология, изучение письменных источников, свидетельств разного рода. Все это вместе очень важно, в комплексе с другими историческими

дисциплинами — безусловно, он не был в этом нигилистом по отношению к позитивному знанию о прошлом. Но это, в моем представлении о его позиции, еще не дает гарантированной вероятности проникновения в суть вещей. Дисциплинарное изучение необходимо, но не достаточно. И поэтому он строил самые разные и, условно говоря, «головные», историсофские (не знаю, как назвать) модели, подходы для того, чтобы понять, как на первичном материале, из научного оборота выстроить нечто для него сущностное.

Приведу еще один пример. Он, когда работал в редакции «Всемирной истории» был знаком с Борисом Федоровичем Поршневым. Наверно, не только как с медиевистом, впрочем, не могу судить о всех интересах Михаила Яковлевича, хотя у него были друзья среди археологов, к примеру Александр Монгайт, он интересовался всем на свете, включая новгородские раскопки, берестяными грамотами. Но в Борисе Федоровиче его привлекла совершенно далекая и, казалось бы, полусумасшедшая идея о снежном человеке. И одно время отец этим интересовался, обсуждал с Борисом Федоровичем, читал сам обсуждал дома эту тему, далекую от всего, чем занимался всю жизнь Михаил Яковлевич. Но это не просто его природное любопытство, а как бы, возможно, этап эволюции *homo sapiens* или вообще гуманоидов. И его интересовала не только, скажем, русская история XIX века или, конечно, современные события. Потому что для него это был какой-то толчок к собственному размышлению о глубинных сущностях, трудно познаваемых и сложно сочетаемых, связываемых в некую общую картину эволюции рода человеческого и не тождественной ей стадии под названием «история».

С годами, как мне кажется, это больше попадало в фокус... Не то, чтобы он сидел целыми днями и о таких вещах размышлял. Конечно, нет. Он занимался массой исторических и современных сюжетов, что видно из текстов, по рассказам очевидцев. Но было незримое «ядро», видимо, в его картине мира, иногда вышрывающееся наружу. Какой-то нерв... Правильно вы сказали о некоем чувстве истории. Некая интенция к поиску того, что лежит в основе развития человечества, хотя своими словами это трудно описать.

И к ней с разных сторон он часто обращался. Поэтому и труден, если чаще не фактограф, повествующий о каких-то эпохах, событиях, не специалист по методике исторического исследования в прямом, «прикладном» смысле при немаловажном ее значении. Как бы больше специалист по постановке вопросов на понимание самого себя: о том, как можно «дойти до самой сути». Для этого могли быть самые разные

поводы. Музыка, литература, не знаю, что еще. И, конечно, события прошлого, которые дают импульс, прокладывают дорожку к тому, чтобы уловить нечто в самой сердцевинке нашего познания.

Не знаю, ответил ли я на вопрос о трудностях чтения текстов Гефтера. Конечно, трудно, когда человек сам себе ставит вопросы и часто не очевидные даже для него самого. И не ясен толчок, первоимпульс, который привел к такой постановке вопроса, а, тем более к возможности внятного ответа, ясного для постороннего. Недаром название одного из изданных впоследствии сборников его текстов — «Кода сознанию узко и больно». Нелегко передать такие чувства читателю, не так ли...

Вот, я человек привычный к его стилю более или менее — много лет был рядом, постоянно читал его тексты, был участником разговоров. Но иногда возвращаюсь к ним, снова пропускаю через себя уже нынешнего, потому что вижу: то, что читал тогда, понимал, не все и прямолинейно, может быть, даже улавливая логическую структуру длинных фраз или отступлений. Но этого, видно, было недостаточно. В этом смысле такие люди, наверное, очень нужны. Их не должно, не может быть много. Но очень нужны, потому что они нас самих побуждают думать о более глубоких вещах, чем привычные описания... вроде бы понятного и лежащего на поверхности бытия.

Чувствую, мой ответ вас не очень удовлетворил.

А. Т.: Да. Я даже с ходу могу отчетливо сказать, чем. Потому что это ответ, который, в конце концов, является столь же герметичным или сопоставимо герметичным.

Здесь ситуация выглядит следующим образом. Возьмем профана, человека со стороны. Он подходит с вопросом: «что мне даст чтение, что мне даст работа с Гефтером?», притом, что понятно, что это трудная работа, притом, что понятно, что никаких быстрых ответов, быстрых результатов там не будет. И в качестве ответа он получает — не важно, от вас, от Рожанского, от Павловского, даже от меня в той мере, в которой я могу сформулировать — он получает вот такую расплывчатую очень и в конце концов звучащую в духе такого усредненного языка шестидесятых — восьмидесятых годов, он получает рассуждение на тему о том, что «постановка вопросов», «необходимость задумываться» и так далее. И проблема в том, что вся эта конструкция, вот как она слышится, как она воспринимается, она выглядит предельно общей. В этом смысле там исчезает ключевое. Хорошо, вопросы — здесь само по себе может быть да, может быть нет. Но ведь возникает совершенно другой вопрос: а как именно эти вопросы ставятся. В этом смысле, что здесь...

Хорошо, предлагается задумываться об истории. А как именно задумываться об истории? Нам предлагается задуматься о человеческом. В этом смысле проблема этого описания в том, что оно подходит к неопределенно широкому кругу лиц. Я, пожалуй, сформулировал здесь ключевое, удалось: в этом описании проваливается конкретика самого гефтеровского, потому что оказывается, что в такой конструкции в принципе — это такой усредненный текст, который можно приписать как «характеристику» массе на самом деле очень разных авторов и именно поэтому он кажется сообщающим о том, что для говорящего это важно. Он сообщает, что для того, кто читал это, работал, ему это нечто дало, но, в конце концов, он по сухому остатку так и не сообщает, что же сам говорящий там нашел. То есть в этом смысле — это фиксация отношения говорящего, но это не информация об объекте. Это все равно не ответ на вопрос: «почему»?

В. Г. Давайте, попробую... Может быть, это немножко больше устроит, простите. Вы совершенно правы, и про мой ответ, конечно, тем более. Мое утверждение про акцент у Михаила Яковлевича на «как думать об истории» (моими словами, не его) звучит очень общо, если не подтвердить его более конкретными сюжетами. Не конкретикой событий прошлого, а примерами его собственных идей, которые яснее демонстрируют его представления об истории и ее месте в эволюции человеческого общества.

Например, у него была одна из идей (далеко не единственная такого рода) — исторической альтернативы. В текстах и разговорах 70–80-х годов она встречается постоянно. Так, в 1988-м, когда Гефтеру исполнялось 70 лет, мы вместе с Игорем Константиновичем Пантиним, замдиректора Института международного рабочего движения, решили провести там круглый стол, посвященный этому юбилею на тему альтернативы в истории.

Собрался неплохой круг гуманитариев, несмотря на летний период (конец августа). Сам Михаил Яковлевич не был. Не любя юбилейщины, но прислал записанное на пленку свое «введение в предмет» разговора. Его понимание альтернативы, как мне показалось, почти никто тогда не понимал — что за альтернативность имеется в виду. Большинство понимало это, исходя из примеров отечественной истории XX века, как осознанный выбор пути, например в феврале-октябре 1917 г. либо в год великого перелома (1929-й) по Сталину или по Бухарину (немного упрощаю для наглядности, но не по сути такого подхода).

А Михаил Яковлевич имел в виду, не раз нами обсуждавшееся явление бифуркации, которое позже стало более распространенным не только в естественных, но и в гуманитарных науках. Бифуркации как эффекта, процесса рождения непредвиденного, случайного, подчас даже не известного современникам на тот момент. Это к вопросу об отсутствии т. н. исторических закономерностей, но не только — о перескоке на траекторию развития, который невозможно предвидеть, рассчитать заранее, когда ход событий, наложение разных объективных и субъективных условий и решений приводит вдруг к какому-то скачку, к повороту в истории, как бы непонятно чем вызванному и дальше необратимо утверждающемуся в социуме, в действительности.

Такая альтернативность, обязанная бифуркациям, случаю как механизму отбора или пред-отбора будущей траектории движения (развития) — совсем не то, когда Политбюро решает голосованием брать власть завтра или нет, приступаем к раскулачиванию или наоборот — зазываем крестьян лозунгом «обогащайтесь». Глупо отрицать влияние таких решений на судьбы миллионов людей, но историк призван не просто описывать, что происходит в «звездные часы человечества», а искать объяснение тому, что невозможно представить развилкой, выбором решения, детерминированным причинами, которые можно описать с помощью законов истории или смежных дисциплин, изучающих человека и общество. (Наверно, это уже мои размышления, а не самого отца, но навеянные именно его постановкой вопроса, поисками нетипичных подходов «вне» принятой парадигмы).

Резюмирую: большинство людей, занимающихся профессионально историей, хорошо знающих фактическую сторону событий, не очень интересуется тем, о чем речь выше, или не готово вникнуть в суть таких рассуждений. Дело ли в том, что мы приучены к историческому детерминизму или материализму — понятно, почему?

В этом отношении Михаил Яковлевич показателен не просто придумыванием необычных понятий или теорий, а глубоким интересом к механизмам истории, тем ее моментам, понимание которых не лежит на поверхности, но показывает, где искать ключи к ее природе. Это не столь уж часто встречается даже у хороших исследователей, знатоков того или иного периода.

Кстати, о понятийном аппарате. Например, не очень получалось (и вообще, по-моему, это трудная задача), с использованием термина «историческое время», что это может дать в сравнении с принятым описанием исторических событий в физическом времени. Но несмотря

на то, что так и остается неясным, насколько это необходимо для понимания исторического процесса, М. Я. возвращался к этой задаче снова и снова.

Пожалуй, у него можно найти и другие нововведения. Взять, к примеру, затасканную теперь идею «мира миров» применительно к России как мини-модели всего человечества. Для него это тоже был ключик к выходу, что его очень интересовало, из тупика советской, прежде всего сталинистской, уравниловки. Не только вытаптывание, он больше использовал «выравнивание», когда все под одну гребенку от Владивостока до Калининграда и Кавказа. Думал, как от этого уйти и при этом не попасть в ловушку национально-государственного, уже изжитого, казалось бы, современной историей. Не просто к созданию, складыванию гражданских наций на месте этнических образований, а к общежитию равноразных (еще одно его любимое словечко), но уже в меньшем масштабе, чем такая квазиимперия, как Советский Союз.

Это моя реконструкция, не претендующая на точность интерпретации. Хочу подчеркнуть, что это тоже поиск ключа в другом совсем ракурсе нестандартного представления о возможностях исторического в текущем обновлении «языка» для нашей страны и мира.

Стоит поискать у него ключевые положения, из которых виден смысл поставленного вопроса «на понимание». Не единственно верного, а правильно сформулированного...

А. Т.: Я если правильно понимаю, возвращаясь частично к сказанному, что, когда речь идет о понимании альтернативности, то для Гефтера именно здесь ключевая ценность или ключевое сродство с мыслью Герцена. Здесь вот та точка сближения.

Я много и слышал, и читал по поводу переключек герценовского и гефтеровского, о значении Герцена для Гефтера. Вот здесь если попытаться сформулировать, Герцен чем оказывается для Михаила Яковлевича?

В. Г.: Тут я уж точно не спец не только потому, что не занимался этим сюжетом в отличие от других и Вас самого. Но, еще потому, что не помню долгих разговоров о Герцене, хотя вопрос явно не случаен и, наверно, вытекает из анализа гефтеровских текстов.

Конечно, и «Былое и думы», и все остальное у Герцена он пропахал, как говорится, вдоль и поперек. Очевидно, что это был один из самых близких авторов. Хотя отец хорошо знал Чернышевского и других мыслителей нашего XIX века не меньше, чем ученых-историков. Но, по-моему, у него нет ни одного текста, связанного с Герценом, кроме

одной статьи или интервью в газете, не помню какой, которая, кажется, называлась «Логический роман», как дорогое для него герценовское понятие. То, что Герцен был для него важен, даже нет сомнений, что видно было по закладкам в многотомнике, по подчеркиваниям, по цитированию, из домашних разговоров. Но мне запомнилось больше то, что связано с судьбой Герцена, его бурной жизнью, о которой я знал не столько читая его, сколько от отца. Можно сказать, что это были близкие люди, это так. Близкий не в бытовом смысле, а поисками, стремлением пойти не по протоптанному до тебя. Не столько даже прежде тебя, а своим путем, не подражая тем, кто двигал умами в одно время с Герценом, как Маркс, Бакунин. Собственный выстраданный взгляд на историю и политику — вот что, наверное, близко было Михаилу Яковлевичу. А, если говорить о постоянном источнике его работы, то Ленин был более «частотен». Во-первых, из-за близости по времени, по силе влияния на судьбы России и мира, не обязательно силой идей. Но может важнее, что, грубо говоря, Михаил Яковлевич «выламывался» из всего, что было связано с Лениным и так называемым ленинизмом — долго, сложно и до конца своей жизни.

Он никак не типичный антиленинист, нынешний или из XX века. Не отвергал Ленина, исходя из последствий его политики, наоборот, стремился понять, что движет таким человеком помимо его политических пристрастий и личной судьбы, а как идейным автором множества текстов. И почему история движет Лениным, а он делал ее. Почему история выбрала такого персонажа, который определил судьбу XX века больше, чем кто-либо другой, в русской, само собой, и в мировой истории.

Думаю, Ленин в этом смысле был для М. Я. магнитом притяжения, что ли. Но это совсем другое, чем Герцен или Пушкин или Чаадаев. Пожалуй, для Михаила Яковлевича Чаадаев, малого числа его текстов, безжалостности судьбы был одним из людей герценовского склада. Без них не понять русский и не один лишь XIX век, не понять, почему наша история сложилась так, а не иначе. Исходя из этого, и в значительной степени, Михаил Гефтер искал ответы на извечный вопрос, почему история в нашей части света пошла «по ленинскому пути», сложилась такой, какую мы имеем.

Смотрите: в свое время отец был известен как автор нашумевшего в перестройку текста «Сталин умер только вчера». Но почему Сталин как историческая фигура его не очень интересовал, по-моему? Вернее, как историческая Личность, если не культ с ней связывать, то причиной

этого мог быть прагматизм того, кто не «управлял движением мысли, и только потому страной» в отличие от своего предшественника...

Сталин не был, конечно, примитивным тираном, передвигавшим фигуры и уничтожающим пешки на шахматной доске истории. Но не мыслящим тростником *par excellence*, что для Гефтера было определяющим и, уж подавно, не вторичным в понимании, кто и как определяет судьбы мира, А Ленин как фокусная «точка» исторического выбора был абсолютно не случаен. Но не оттого, что отец был ленинец или антисталинист или членом партии, из которой вышел «только» в начале восьмидесятых.

На ту же тему: интересна его реконструкция и комментарий письма Гамсахурдия-старшего, писателя, Ленину примерно в начале 1922 года, на момент образования СССР, интересен подход человека, интеллигента, классика грузинской литературы Константина Гамсахурдия, лично знавшего будущего вождя по эмиграции. К вопросу о сохранении национальной самобытности в XX веке при том, что произошло в 1917-м и после. Для М. Я. анализ этого исторического момента сфокусировался в заочном споре двух незаурядных и равноразных личностей — Гамсахурдия и Ленина — вот что привлекает читателя сильнее, чем их позиции по вопросу, неплохо изученному по источникам.

Ему как историку на этом примере было видна и историческая альтернатива того момента, и испытание реальностью модели мира миров. И роковое предчувствие распада Союза через несколько лет после написания этой работы...

Казалось бы, что может быть более ключевым и притягивающе-интригующим в советской истории чем 1917 год. Но в отличие от 1922-го, НЭПа и уходящего из жизни Ленина события самой революции почему-то не стали предметом гефтеровского научного интереса. По крайней мере, позднего этапа его размышлений о сути истории, хотя ранее он немало писал и рассуждал на темы двух русских революций. А, может, еще и потому, что пытался искать «не под фонарем», не там, где корень всех бед, как полагается считать даже серьезным исследователям, не говоря уж о широкой публике.

Вообще интерес Гефтера к историческим фигурам, которые олицетворяют собой выбор истории вряд ли случаен или конъюнктурен. Недаром его привлекала судьба Хрущев, Хрущева, а непросто описание его политической биографии на фоне десятилетия нахождения у власти. Скорее то, как и на кого именно пал слепой (?) жребий советской истории на очередном ее переломе., были ли тогда и какие альтернативы...

Но я далеко ушел от вопроса про Герцена. Про особый интерес М. Я. к XIX веку. Там был и Чернышевский, которым он занимался наряду с упомянутыми выше авторами.

А. Т.: А вот во многом уже как раз предыдущем ответе это прозвучало, но для полноты и для выявления. Если перечислить и охарактеризовать самых близких, значимых авторов для Гефтера, то был Ленин назван, был Чаадаев, был Чернышевский. Вот если попытаться перечислить ключевые, к этому перечню кого нужно будет добавить, без кого этот перечень просто будет зияюще неполным?

В. Г.: Не обязательно это должны быть авторы. Это могут быть герои. Например, Гамлет, о котором много у него было написано. Что до Пушкина, то не пушкиноведение, и не «притяжение» к конкретным литературным персонажам пушкинских текстов.

А. Т.: Пушкин как «толчковое», как пространство размышления?

В. Г.: Да, скорее в этом-то смысле. Я не так хорошо знаком с записями отца, в т. ч. околопушкинскими. У не было ни одного законченного текста на эти мотивы, но немало осталось заметочек, листочков, разговоров — не при мне обычно поэтому трудно говорить об этом. Думаю, что превалировал интерес к Пушкину как одному из самых умных людей той эпохи. О чем и как Пушкин думал в 1825 и в 1831 году, в исторически ключевые моменты того времени, не будучи обычным литератором. Чувство истории у Пушкина, безусловно, было. Какое-то даже чутье, что ли...



 Рижское взморье 1975 г.

Рижское взморье (1975). Фото из семейного архива Гефтеров. / Riga seashore (1975).

Про других авторов говорить тоже не просто. За свою жизнь Гефтер много перечитал и передумал о прочитанном, особенно у «трудных» авторов. Вспоминается сразу Платонов и Мандельштам. И тот, и другой не самые простые для понимания массовым читателем. И многожды возвращался к ним. У него был интересный текст (не уверен, что он сохранился и доступен) по поводу «Стихов о неизвестном солдате» Мандельштама, одной из самых последних его и пророческих вещей. Для отца это связано с его собственной военной судьбой и тем, как он много думал о Второй мировой, особенно о 1940-м (а не 39-м и 41-м!), считая, что именно там лежит ключ к трагедии №1 прошлого века. Этим гефтеровским мыслям не суждено было остаться на бумаге, как и многим другим...

В связи с платоновской прозой, пожалуй, у него ничего нет. Но то, что этот писатель был его автором, это точно...

А. Т.: Сразу спрошу, чтобы не забыть этот вопрос. Платонов и Мандельштам — интерес, значение, размышление. Это какие годы? Это то, что принесено из еще студенчества? Это та память, которая принесена с конца тридцатых, нет?

В. Г.: Конечно, ничего из Мандельштама до войны он не знал, будучи провинциальным мальчиком сильно политизированного поколения, (по)читавшим Пушкина, Некрасова и Маяковского. И так до шестидесятых годов. А текст к «Стихам о неизвестном солдате» еще более поздний, видимо из 80-х. К тому времени дома было много сам- и там-издатского Мандельштама — это был «наш» автор. Кстати, на обыске у М. Я. изъяли заграничный многотомник поэта, и брат писал возмущенное заявление в Мосгорпрокуратуру, чтобы вернули принадлежащее ему, не имевшее отношения к предмету обыска.

Но в молодости отец, думаю, не был большим любителем поэзии, да и из художественной литературы знал классику, а не современников, по моим предположениям.

А. Т.: А Платонов?

В. Г.: Не забывайте, что к тому же эти авторы были «вычеркнуты» из массового литературного оборота на долгое время. Поэтому, на их место пришли другие, да и время менялось. Так, помню из его рассказов, как почти сразу после войны, когда отец работал помощником секретаря ЦК ВЛКСМ и ответственным секретарем журнала «Молодой большевик», там впервые напечатали «Коммунисты, вперед!» Межирова. И М. Я. всю жизнь считал себя как бы крестником это замечательного поэта своего поколения.

А. Т.: Поэзия, да. Но у меня вопрос, скорее, даже по поводу Платонова. Вот с Платоновым как? И где, когда, каким образом пересечения? Когда Платонов оказывается значимым для Михаила Яковлевича?

В. Г.: Кажется, Платонов сначала стал известен нам в оттепельные годы по изданиям не самиздатским, как позже «Котлован» и «Чевенгур», — многие его рассказы и повести всюду читались уже тогда. Но только в 60-е, когда Михаил Яковлевич стал отходить от долгой и тяжелой болезни (а до этого был загружен разнообразной работой), ему стали доступны такие авторы. Не хочу сказать, что он не знал Платонова раньше, но, скорее всего, так.

А ргорос, Платонов и Гефтер захоронены в десяти шагах друг от друга на Армянском кладбище в Москве. Так судьба свела, буквально рядом.

То, что Платонов был автором, которого отец упоминает где-то кроме разговоров по поводу, — не знаю. Но ручаюсь, что он был один из самых близких М. Я. по духу нашего времени...

Можно назвать и других, Гроссмана, например. Отечественная война была для Михаила Яковлевича точкой отсчета во многих отношениях. Помимо собственного недолгого опыта (того, что успевал до двух своих ранений увидеть на фронте и не только), назову навскидку два источника из нашей литературы — Твардовский и Гроссман. Может, я сужаю обзор, были и другие. В моей памяти, по частотности упоминаний, а не потому, что Александр Трифонович — главред «Нового мира», где Гефтера пару раз напечатали.

Конечно «Теркин», и другие вещи, например «Я убит подо Ржевом» (там воевал М. Я.). Да т. н. лейтенантская проза, Василь Быков, Виктор Некрасов, Астафьев — они были прочитаны и значимы, но не в такой степени, как два упомянутых выше писателя.

А. Т.: И тогда, возвращаясь к авторам и персонажам, к прерванному разговору. Тогда кто еще остался за скобками, если кто-то остался из тех, кого именно нужно и важно назвать?

В. Г.: Мы говорим сейчас больше о внутренней работе Михаила Яковлевича? Если не про его конкретные тексты или сюжеты, то как всякий нормальный человек он от чего-то отталкивался, что-то притягивает или раздражает в прочитанном,

А. Т.: Просто прозвучало в предыдущем разговоре важное, естественно, уточнение сразу про персонажей. И из персонажей, как мы говорим, здесь прозвучало «Гамлет». Вот если продолжить логику персонажей, которые и являются...

В. Г.: До этого речь шла о литературных персонажах, но не об исторических фигурах. Например, такой был, поясню почему, Николай Бухарин. Во-первых, по причине дружбы с семьей, которой Михаил Яковлевич очень дорожил. Анна Михайловна и Юра Ларины (Бухарины) любили и ценили его, а он их. И все же Бухарин — персонаж для историка Гефтера не только потому, что это был муж и отец близких ему людей или большевик, стоявший у вершины власти, решавший с другими вождями, жить или умереть людям.

Судьба этого незаурядного, талантливое и умного человека на фоне эпохи — думаю, это можно увидеть в одной из последних, работ отца под названием «Апология слабого человека». Импульсом и источником этого эссе стало найденное в бывшем сталинском архиве письмо Николая Ивановича Сталину от декабря 1937 г. с Лубянки, до этого, понятно, неизвестное и, тем паче, не публиковавшееся. Практически предсмертный документ, написанный за два месяца до расстрела. Конечно, и исходное письмо, и эссе историка — не литературные тексты. Документальный источник размышлений автора позволил ему уловить гораздо более глубокие вещи, чем только судьба Бухарина, не говоря уж о том, что авторский анализ не относится к Большому террору, историком которого Михаил Яковлевич не был.

Не так уж часто источником его размышлений и обобщений становится документ, так, чтобы Гефтер ограничивался анализом источника и обстоятельств его происхождения. По крайней мере, еще в одной работе — «Из истории ленинской мысли», о которой мы говорили раньше.

То есть, для него «персонажем» мог быть текст, при этом он выступал не в качестве источниковеда или текстолога. Текст другого автора становится персонажем его собственных дальнейших раздумий и выводов. Наверное, он далеко не уникален в этом роде, но это интересная для меня, не профессионала, особенность его работы.

Возвращаясь к вопросу о литературных героях или персонажах: были ли они для него источником постоянного внимания. Этого сейчас не припомню.

А. Т.: Вообще, можно сказать, что для Гефтера литература была предметом самостоятельного интереса или это в первую очередь толчок к размышлениям об истории, это во многом использование ее в своей мысли как материала?

Я поясню, с чем связан вопрос. Потому что, читая опять же тексты Михаила Яковлевича, я не могу с ходу припомнить тексты, которые

фокусированы на, например, эстетическом. В этом смысле это тексты, например, художественной литературы, но тексты, которые всегда используются для работы, для размышлений.

Я поясню природу своего вопроса. Можно ли так сказать, что гефтеровская мысль, в конце концов, всегда была обращена, достаточно фокусирована к своему собственному предмету. В этом смысле он мог черпать в зависимости от того, что в данный момент служило там источником, толчком, но это всегда история про ассимиляцию, и про включение в свои цели и задачи. То есть он не отдавался читаемому, он не отдавался слышимому, а как раз это все входило и включалось в ту самую логику, в то самое движение, которое он осуществлял.

В. Г.: Еще один трудный вопрос. Думаю, что эстетическое удовольствие от произведений искусства, от словесности, безусловно он получал. Не помню долгих и подробных обсуждений художественных достоинств как таковых. Когда звучала музыка (дома или в Консерватории), по нему было видно, насколько она «попала в точку», хотя меломаном он не был. Также как не могу утверждать, что эти впечатления напрямую отражались на его работе, тем более, связаны с его «глобальными» идеями.

К вопросу о том, был ли Гефтер чуток и «привязан» к конкретике при написании своих текстов. Конечно, этого не могло не быть в публицистических текстах, как письма Горбачеву или обращения диссидентов, в составлении которых он изредка принимал авторское участие, или их с Павловским комментарий к брежневской Конституции 1977 г.

В целом, в публицистике он всегда оставался в рамках заданных темы и формата, умел сам или вместе с другими авторами не растечься мыслию по древу. Но если он был, как говорится, в свободном плавании, то откуда было взяться берегам? Только из того, что он прочел, увидел, услышал, и служит источником его размышлений. То есть, «художник» выстраивает собственные берега, и судить его надо по законам, им себе установленным.

А. Т.: Вот такой вопрос, который я задавал несколько раз нескольким собеседникам, и мне очень интересно в этом смысле, как вам это видится, как вы понимаете.

С одной стороны, Гефтер говорит с властью. У него есть потребность этого самого разговора с властью. Понятно, что если мы говорим о второй половине восьмидесятых, о девяностых. И природа вот этого, она достаточно понятна, по крайней мере, кажется понятна. Но возникает вопрос, это то, что делало, что обеспечивало, что создавало Гефтеру

вот тот самый вес и влияние, которое давало возможность не просто ему говорить, но и, с одной стороны, уверенность или, по крайней мере, надежда на то, что его услышат, а с другой стороны отчасти и то, что его действительно слышали. Какова природа вот этого влияния?

В конце концов, если мы описываем положение, о ком мы говорим, по формальным статусам, в общем-то, ничего, что по умолчанию давало бы подобную надежду, здесь нет. Что создает вот эту слышимость, это восприятие, по крайней мере, влияния, достаточного для того, чтобы надеяться быть услышанным? Или, по крайней мере, не услышанным, хотя бы прочитанным, я вот так сформулирую.

В. Г.: Вряд ли было так уж много авторитетов в застойный, позднесоветский период чувствовали потребность и уверенность в себе. Даже не в том, чтобы быть услышанными. Всего несколько человек. В первую очередь, Солженицын и Сахаров — наиболее слышимые и весомые «общественно-политические» фигуры того времени.

По-видимому, Михаил Яковлевич внутри себя считал, что «слышимость» не привилегия только двух-трех великих людей. Понимая, что в отличие от Солженицына и Сахарова он по своему генезису ближе к системе, идеи которой долгое время разделял...

Были, конечно, авторы, укоренные в советской системе и вышедшие из нее — Восленский, Авторханов и другие. Гефтер не был, конечно, системным человеком, но он вырос внутри этой системы и только потом был ею извергнут, в то время как Андрей Дмитриевич по известным причинам, а Александр Исаевич, тем более, уже были для нее врагами и слышимы были в основном по голосам извне.

А у М. Я., видимо, почти до самого конца был убежден, что голос человека, думающего и не упертого антисоветчика, но и не верноподданного, не догматика-идеолога, важен и для людей, и для власти. Искренне так считал, не ради красного словца и самопиара. Не только в духе известных «Письмо вождям» и «Размышлений» Сахарова. Разница, наверно, была и есть в то время в том, что М. Я. уже тогда понимал необходимость постоянного и равноправного гражданского диалога — даже до допущения в стране политического плюрализма в виде партий и парламентских механизмов, разделения властей. Наивно ли?

У него была какая-то внутренняя потребность в том, чтобы люди с умным сердцем (его слова) были услышаны. Но сам не злоупотреблял этим неписанным правом. Нельзя сказать, что он многословно и часто писал в форме прямого обращения к власти. Например, то, что предлагалось авторами «Поисков», исходило как минимум из поисков (пардон)

общего языка с властью, попыток найти отправные точки хоть в чем-то приемлемого для нее диалога с гражданами той страны, которую «не выбирают», где живут и умирают.

Позже, когда он писал Горбачеву, было несколько обращений, к лидеру начинавшейся перестройки, то потому, наверно, что прочувствовал шанс быть услышанным. Не уверен, что в этом был рациональный момент, скорее интуитивная и отчаянная вера в возможность перемен к лучшему.

Если в предыдущие 15 лет в его интеллектуально-публицистической деятельности преобладали поиски взаимопонимания, то тут появилась надежда: вдруг письмо дойдет и на что-то повлияет не только на судьбу отдельного человека, попавшего под пресс государства. Здесь, после 1985 г. появилось понимание, не только благодаря каналам связи с самым верхом через помощника генсека Анатолия Черняева, что хотя бы его услышат. Назовите это чувством момента, когда «там» прочтут не одного лишь Сахарова с Солженицыным, что повлиять могут обычные люди, какой-то эффект даст непрошенный совет от такого маргинала с идеями как он.

Трудно судить, насколько это сыграло свою роль, оказало минимальное влияние на события в стране.. Вряд ли можно говорить о значимости его в то время (не стану преувеличивать его роль), но вышло так, что с конца восьмидесятых Михаила Яковлевича «затащило» в общественно-политическую деятельность, казенным языком говоря.

После одной-двух малюсеньких публикаций в незаметном «Век XX и мир», пары интервью в перестроечных СМИ к нему стали обращаться знаковые фигуры того времени. Причем, если раньше это были только молодые несогласные, то теперь люди вроде Явлинского и Афанасьева, не то чтобы за советом практическим, больше чему-то поднабраться у Гефтера с его «золотым ключиком» к тайнам истории и современности. И так получилось, что Михаил Яковлевич, не будучи на первых и даже вторых ролях в публичном пространстве конца восьмидесятых, стал одним из гуру в интеллектуальной среде, в числе основателей клуба «Московская трибуна» в 1988–1989 годах. И как часто бывало в последние годы, Михаил Яковлевич не стремился быть в первых рядах, даже в неформальные лидеры, как молодые из его окружения — Павловский и Игрунов, например. Не могу назвать его и серым кардиналом в среде многих кумиров перестройки и гласности, но оказалось, что среди них много завсегдадаев нашего дома. Который, конечно, не был штабом или рулевой рубкой с капитаном во главе, но...

Мне это сравнение напомнило его пионерско-комсомольские годы в Крыму и потом в МГУ, где он был почти что «звездой» собраний и митингов. В нем общественнический энтузиазм бурлил вплоть до начала войны с комиссарством на строительных работах осени 41-го; и его не мог охладить 1937–1938 гг., когда родного дядю расстреляли (отец у него прожил первый год учебы), исключение или защита детей репрессированных из комсомола и МГУ на его глазах и не без его участия.

И эта сверхактивность раннесоветского извода не могла напрочь «испариться». А на место юной неудержимости жить «заодно с правопорядком» пришло ощущение личной ответственности («не могу молчать») и потребность в артикуляции гражданской позиции. А, может, это никогда и не уходило. Другое дело, что середина жизни протекала если не в немоте, то в невозможности самовыражения в полной мере.

Возвращаясь к перестроечным временам и заговорив о гефтеровской характерологии, вспомнил об одной из его «портфельных» заметок на тему «История и Личность». Для него в конце жизни стал сущностным их вечный спор между собой. По его словам, История подавляет человека, а он становится Личностью, когда вступает в конфликт с Историей. (Боюсь сбиться на собственное философствование и неточную интерпретацию).

Так что для него роль личности в истории была не в традиционном для нас акценте на то, как плох тиран, отдающий приказы о бессудных расстрелах или депортации целого народа. Видимо, имелся в виду не вознесенный на Олимп власти человек, думающий и совестливый. Отсюда мостик к вашему вопросу: да, М. Я. Гефтер чувствовал потребность и востребованность в прямом выражения своих взглядов, обращенном к городу и миру.

А. Т.: Наверное, последний вопрос, который возник. Я не знаю, насколько он там удобный или насколько там есть какой-то готовый ответ на него, но вот чуть ли не в начале разговора вы сказали, поздний Гефтер. Вот если осуществлять в вашей перспективе, в том, как вы осмысляете одновременно — то есть, если в схематичном виде, шаблоном «человек и мыслитель» (понятно, что это лучший способ выжечь все напалмом, так сформулировать). Но вот в этой оптике — условной, но тем не менее, пытаюсь совместить собственное движение, собственные ощущения человека и предмет, которым он занят, то, как для вас стоит вот эта внутренняя периодизация?

В. Г.: Это все же фигура речи, каюсь...

А. Т.: Да, я преднамеренно зацепился за эту фигуру речи, но мне кажется, что эту фигуру здесь есть смысл развернуть.

В. Г.: Помню такое определение у самого Михаила Яковлевича, говорившего о «позднем Ленине», к которому относил Ленина последних двух-трех лет жизни, еще до потери речи, уже отошедшего от сиюминутных дел, когда этот человек начал итожить произошедшее после 1917 года. А в нашем случае, скорее, наоборот. Никакого в этом смысле позднего Гефтера не было, если иметь в виду рефлексия с оглядкой назад, в свое прошлое.



На даче с В. М. Гефтером (1994). Фото из семейного архива Гефтеров. /
With V. M. Gefter at the dacha (1994).

Если считать поздним период с конца восьмидесятых до начала 1995 г. (не так много, всего семь лет) то он предстает в новом качестве. Говорю не о публичной фигуре с определенным статусом (дело не в паре его «общественных нагрузок», на которые уходили, правда, силы — в т. ч. из-за необходимости соответствовать новому имиджу).

Речь о времени и остатках здоровья, что уходили на обговаривание и осмысление текущих политических событий. Не мне судить, хотя не скрою — жаль. Ведь, жизнь человека оцениваешь не только потому, что им сделано и сказано, но и с точки зрения, что не сделано и не

сказано. Хотелось бы чего-то иного, более «прорывного», что ли. Всего несколько работ этого периода, которые лучше знаю: например, три небольших текста из русско-французского «50х50. Опыт словаря нового мышления» и упомянутая «Апология слабого человека».

Дело не в том, что на историческом материале написаны лучшие из них: «Апология...» и словарные статьи из «50х50» — «Сталинизм» и «Десталинизация», «Октябрьская революция» и «Мир миров», хотя были и другие, но устные выступления в основном. Мог больше, было еще время подумать, не отвлекаясь на разговоры, гостей, текущий момент. Просмотрите тома, которые Павловский издает по материалам бесед с М. Я. под диктофон, о чем они говорили в 90-е. Там, наверно, 75% о текучке, что понятно и естественно для обычного гражданина, для всех смертных. Но когда понимаешь, что человек такого уровня и масштаба, потенциала и глубины последние несколько лет потратил на разговоры о таких вещах, которые завтра забудутся ... Так, наверное, и произошло, то в немалой степени обидно. Поздний Гефтер для меня неоднозначен, хотя много было интересного и поучительного в его работах и делах того периода.

Эта обида за него не связана с тем, что редко виделись по разным причинам. Не хочу, чтобы этот не вполне удачный термин имел негативную коннотацию или наоборот. Нет, это больше констатация факта, что тогда-то писалось, жилось, рассуждалось о том или другом.

В памяти остались несколько артефактов последнего периода его жизни, которые для меня, живущего после отца и занимающегося тем, чем занимаюсь, особо дороги. Не только тема «Холокоста» (Гефтер был первым президентом одноименного Центра и учил небанально осмыслить это историческое явление), о котором говорил, что геноцид не бывает против одного народа, он против всех.

Такого рода всечеловеческий «замах» его мысли очень ценен в наш век, к нему часто обращаюсь и я сам. Из того же ряда связанная с его обращением к Всеобщей декларации прав человека и правочеловеческой тематике вообще. Казалось бы, не совсем его сюжет. Но стал его по разным причинам. И он об этом не один раз и не только по случаю писал и говорил.

И последнее его, можно сказать политическое завещание, связанное с событиями 1993 г. и особенно с началом войны в Чечне. Манифест гражданского сопротивления, опубликованный в «Московских новостях» после его смерти. Обе эти темы неизменны и актуальны сегодня (по крайней мере, для меня), свидетельствуют о том, что Михаил Яковлевич до

конца своих дней думал и менялся, все больше выходя за рамки классической исторической науки, которой он посвятил большую часть жизни.

Как обозначить этого человека — историософом, мыслителем, в центре внимания которого философия истории, не суть важно,

По мне, его наследие можно «отослать» и к другим ипостасям человеческого сознания, если ему, помните, «узко и больно». Связанным не только с познанием прошлого и не одной из сущностей человека как политического животного. И прошлое, и политика всегда были у него на первом плане, наверно. Даже политика в брутальном смысле слова, которая, словами поэта, нахлынет и убьет, как ни верти и не рассуждай, пусть и здраво.

Подумалось сейчас, что были и другие важные темы в его работах и разговорах последних десяти лет вне системы координат, по осям которой история и политика. Безотносительно к тому, связаны они были с природой и происхождением истории и политики как «особой приметой» человеческих сообществ, что увлекало Гефтер заметно раньше.

Замечу, он не был ни социологом, ни экономистом, конечно, но определенные знания и сюжеты его более ранних работ говорили сами за себя. Не занимаясь профессионально их проблематикой, отец был «своим» в среде специалистов по этим дисциплинам. Чего стоит только его многолетняя дружба с Юрием Александровичем Левадой, обогащавшая обоих. Или недолгое, тесное знакомство с Татьяной Заславской и Теодором Шаниным.

Не скажу, что М. Я. был гуманитарием широкого профиля или всемирно признанным историком, несмотря на то, что к нему шли ведущие специалисты по России и не только со всего мира — от Японии до Калифорнии. Может, и такого рода широте обязана «кличка» Мыслитель: многие понимали, что мыслитель видит то, что не только не лежит на поверхности, но вообще не осознано пока как проблема. А поводом для него может быть не главное и «внешнее» для других, даже не связанное с предметом конкретной академического исследования, общественно-политического интереса в данный момент.

Но людей, которые нутром чувствуют и знают самое важное, «цепляют» наше сознание глубиной понимания сути вещей, их, вероятно, немного.

Никто не считает, очевидно, что Гефтер — автор открытий или общепризнанных теорий, но вряд ли сочтет его ребе, высказывавшимся по любому поводу и непонятно для массового слушателя. Благо теперь есть масса возможностей, и есть немало умных и образованных людей, которые стремятся выслушать и понять Гефтера и ему подобных.

Да, это автор не для прирученных обывателей, которые только и ждут разъяснений и комментариев по любому поводу. Но и он, точно, не был болезненно озабочен тем, чтобы высказаться понятно для любого, а там «трава не расти». Это не зачеркивает главного: он искал и выделял важные моменты в человеческой истории, старался их осмыслить и объяснить сначала себе, а потом и всем, кто готов слышать и рассуждать вместе с ним.

Снова не уверен, что ответил на вопрос о позднем Гефтере, его думах и делах. Из последних мне не так уж интересно его пребывание в президентском Совете в течение полутора или двух лет (1992–93 гг.), потому как, во-первых, это было почти что фикцией: Ельцину было не до советов посторонних умников. Не появляясь там, отец общался с такими людьми как академик Моисеев, обсуждая, кажется, проблемы ядерной зимы — для начала 90-х ставшие давно не самыми актуальными и интересными для начальства.

Хочу сказать, что такие люди нужны и интересны, но по прошествии времени, и не их реакцией на текущие события и заботы или чем они занимаются для заработка.

Они могут помочь нам выяснить и понять, в какую болевую точку все (не одна Россия) попали и, возможно, не в первый раз. Они понуждают нас думать своей головой, вступая в спор-диалог, в том числе с живыми мертвыми (еще одно словечко Гефтера).

Мое мнение, что Михаил Яковлевич из их числа.

P. S. ОТВЕТЫ НА НЕЗАДАННЫЕ ВОПРОСЫ

О чем еще думал Михаил Гефтер, представляя прошлое и настоящее человечества? Один из запомнившихся его оборотов — «черные дыры» в событийной истории новейшего времени. Видимо имелись в виду ситуации, когда люди и информация о массовых трагедиях нерядового масштаба не выходит за пределы «горячей точки» — когда, что в наше время связано не с отсутствием сведений о происходящем, мир или игнорирует их, или реагирует заведомо не адекватно. Примером сему является Холокост и другие геноциды XX века — армянский в его начале и в Руанде в конце.

Но проблема шире и глубже: в отсутствии планетарного механизма, заставляющего большие державы и их союзников, подконтрольные им медиа и корпорации раскрывать источники и масштабы бедствия. И где бы это не происходило, как бы невыгодно сильным мира сего не было,

скрыть трагическую информацию удается только на короткое время, хотя последствия могут быть страшными.

Другого рода «точкой» внимания Михаила Яковлевича была (особенно на переломе начала 90-х) проблема универсальности «больших идей» последних тысячелетий мировой истории. Ее конец связывали с всемирным поражением коммунизма как государственной идеологии и системы взглядов, полагая это победой идей либерализма. Не сравнивая природу и масштабы этих мировых парадигм развития общества модерна, М. Я. подчеркивал их «корневую» универсальность, по сути не ограниченную отдельными регионами планеты и периодами эволюции разных сообществ. С этим он связывал не одну лишь взаимообусловленность обоих -измов (равно как их связь с христианством), но и причины поражения реального социализма, отказавшегося на практике от исходной всемирности в пользу отдельно взятого государства диктатуры пролетариата. Классовая исключительность, как и расовая, этно-конфессиональный этатизм, заложенные в фундамент государственности и социума в целом, не имеют исторической перспективы. Анализ институционального кризиса и иных пороков воплощения коммунистических идей, по мнению Гейфтера, показывает, что одной из их причин стал отказ от универсальности. Но позже и либерализм вступил в кризисную эпоху – в том числе под давлением популистского прагматизма и суверенного национаэгоизма.

Teslya, A. A. 2020. “‘Avtor — voprosatel’ togo, kak dumat’ ob istorii’ [‘The Author is a Questioner, How to Think About the History’]: beseda s Valentinom Geftterom [A Conversation with Valentin Geftter]” [in Russian]. *Filosofiya. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki* [Philosophy. Journal of the Higher School of Economics] IV (2), 111–143.

ANDREY TESLYA

PHD IN PHILOSOPHY, SENIOR RESEARCH FELLOW, SCIENTIFIC DIRECTOR RESEARCH CENTER
FOR RUSSIAN THOUGHT, INSTITUTE FOR HUMANITIES,
IMMANUEL KANT BALTIC FEDERAL UNIVERSITY, KALININGRAD

“THE AUTHOR IS A QUESTIONER,
HOW TO THINK ABOUT THE HISTORY”
A CONVERSATION WITH VALENTIN GEFTTER

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-2-13-162.

АНДРЕЙ ТЕСЛЯ*

«ЛЕНИН ЗАНИМАЛ ЕГО ЧРЕЗВЫЧАЙНО МНОГО...»**

ВЕСЕДА С ВЯЧЕСЛАВОМ ИГРУНОВЫМ

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-2-13-162.

Андрей Тесля: Первый вопрос сугубо биографический, собственно, делящийся, пожалуй, на два. Я не знаю, насколько удобно задавать его одним блоком, но мне кажется, он должен быть близким. Первая часть вопроса, собственно говоря, когда и как вы вообще узнали о Гефтере? И вторая, вытекающая из этого, как вот это знание перешло в личное знакомство?

Вячеслав Игрунов:¹ Это очень просто, и действительно составляет один вопрос. В 72-м году в феврале Глеб Павловский со своими друзьями, которым я тогда читал всякие лекции по истории диссидентского движения, вел разговоры по разным... Ну, не важно. У нас были довольно долгие дебаты, а в феврале Павловский с компанией едут в Москву и там сближаются с Гефтером. С Гефтером они познакомились немножко раньше, но реальное сближение происходит именно в 72-м году. Гефтер выдает им некую свою рукопись, которую мне предлагает почитать Павловский, но я ее не читаю. Сразу вам скажу, мне было достаточно беглого просмотра, чтобы понять, что я этого читать не могу. Я человек простой и мудреный язык как бы не очень для меня. Я люблю мудреный язык, но в поэзии, там, скажем, в художественной литературе, в прозе, но в остальных вещах я предпочитаю что-то близкое к математике, такое простое-простое как дважды два — четыре.

*Тесля Андрей Александрович, к. филос. н., старший научный сотрудник, научный руководитель (директор) Центра исследований русской мысли Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (Калининград), mestr81@gmail.com, AnATeslya@kantiana.ru.

**© Тесля, А. А. © Философия. Журнал Высшей школы экономики. Работа поддержана из средств субсидии, выделенной на реализацию Программы повышения конкурентоспособности БФУ им. И. Канта в рамках Проекта 5–100.

¹Вячеслав Владимирович Игрунов, директор Международного института гуманитарно-политических исследований (Москва).

Поэтому я не стал читать, но имя запомнил. Да, еще сразу скажу: письменного Гефтера для меня не существует. Гефтер на 9/10 это то, что на бумаге, а этого для меня не существует вчистую. Это главная проблема, по которой мне очень трудно говорить или писать о Гефтере.

Но, конечно же, я сталкиваюсь с Гефтором как историком даже раньше, чем я узнаю о нем от Павловского, постольку поскольку с вое время была разгромная критика модернизаторов истории. Там главным персонажем была Штаерман; в эту компанию попадают Гуревич, Гефтер... Но я тогда не особенно отметил его, а уж когда Павловский назвал это имя, я стал примечать его где-то, какие-то отдельные публикации, но не могу сказать, чтобы далеко за пределы наших разговоров с Павловским это знание уходило.

А в 77-м году, когда я освободился из лагеря, то есть, не из лагеря, из сумасшедшего дома — «освободился из лагеря» это какой-то чужой, прилипший штамп. Когда я освободился из сумасшедшего дома и стал ездить в Москву, в один из моих приездов Павловский сказал, что Гефтер очень хочет со мной познакомиться, и я, естественно, отреагировал, постольку поскольку в 72-м году моя статья «К проблематике общественного движения» Гефтера заинтересовала. Он как-то на нее отреагировал, я это помнил, и я, естественно, дал согласие. Это было не в первый приезд, может быть во второй, в третий, во всяком случае осенью 77-го года мы были с ним уже знакомы. Я на Гарибальди приехал, и там мы поговорили.

А. Т.: А, собственно, о чем?

В. И.: Видите ли, дело в том, что я был довольно странным диссидентом. Одна из главных моих концепций заключалась в том, что трансформация советской системы возможна только сверху. И все те, которые радикально настроены против этой власти и желают, чтобы она рухнула и коммунисты ушли, вряд ли могут иметь какое-то влияние на ход исторических событий. И любые реформы могут начинаться только сверху.

Но в связи с тем, что если даже так случится, что в стране найдется Генеральный секретарь, который захочет проводить эти реформы, он окажется без рук, потому что главная проблема — это кадровое голодание, кадровый голод и отсутствие концепций, идей, которые могли бы трансформировать страну. Так уж случилось, что наша общественная мысль была убогой, дегенеративной, и воспользоваться ею существующая власть вряд ли могла бы, если она хотела достичь эффективных реформ.

Поэтому власть, конечно, должна была бы обращаться к тем, кто выпадает за пределы официоза. Но дело в том, что те, которые находятся за пределами официальной науки, скажем, диссиденты, назовем их так, хотя я никак в то время не мог привыкнуть к этому слову «диссидент». Когда сажался, мы были инакомыслящими, а когда вышел, мы оказались диссиденты. Но это не чисто словесные изменения. Изменения есть сущностное. Но это другой разговор.

Так вот, эти товарищи диссиденты сами такие же безграмотные как те власти, они так же мало понимают в происходящем, так же мало готовы к переменам как и власть. Им самим нужно учиться, и, прежде всего, учиться тем заботам, которые лежат на плечах власти, учиться ответственности. И ответственный диалог — это важнейшая проблема.

Еще в 72-м году я как раз формулировал мысль о необходимости... (слово тогда я не употреблял, я его стал употреблять незадолго до ареста, в 73-м году, наверное), вот, необходимо стремиться к политическому компромиссу, который, с одной стороны, ограничивал как бы свободу мыслящих оппозиционеров определенными рамками настолько, чтобы возможны были не враждебные действия, а диалог между ними и властью. А с другой стороны, власть должна была бы освободить, то есть, дать некоторое пространство свободы тем, кто готов к этому диалогу.

И вот, тогда я очень много думал о создании некоего философско-политического издания, в котором обсуждались бы перспективы мирового развития. Потому что было совершенно очевидно, что реформы в стране можно проводить исключительно в векторе мирового развития. И надо сказать, что я не имел абсолютно собеседников, я не имел собеседников содержательных, потому что, когда я говорил о компромиссе, мне отвечали — «Никакого компромисса быть не может, они должны уйти!». Как это случится, каким образом...? «Наша задача не заниматься какими-то программами». Одни говорили, что программа перемен бессмысленна, потому что этот режим будет стоять вечно, тысячу лет, с каждым годом будет становиться все хуже и хуже. Никакие перемены невозможны. Другие же говорили: «Нам не надо думать о переменах, о программах... Единственное, что мы можем делать — это сообщать Западу о тех бесчинствах, которые происходят здесь, а Запад уже справится с этим режимом».

Ни в том, ни в другом лагере, понятно, у меня не было собеседников. А уж, когда мы начали говорить о создании журнала, то все мыслители, с которыми я сталкивался в Одессе и в других городах, оказывались не готовы участвовать в таком независимом издании. В Москве у меня

был единственный партнер, с кем можно было на этот счет говорить, Любарский; он довольно быстро иммигрировал, но Любарский мне сказал уже весной 77-го года, что ничего не выйдет, я там слишком одинок в Одессе. А, безусловно, со мной будут «разбираться», и это дело повиснет в воздухе, и из этого ничего не получится. И людей готовых работать в этом ключе маловато.

Меня это весьма огорчало, я чуть ли не забросил даже свою идею «Альманаха-77» — так это называлось по первоначальному замыслу, — но вот мы познакомились с Гефтером, и мгновенно без переходов нашли общий язык во всем. Более того, Гефтер, о чем я могу только сожалеть, предложил мне подумать о создании филиала Римского клуба, Московского отделения Римского клуба, а я сказал — «нет, наша страна не готова к этому». У нас нет интеллектуалов такого масштаба. И это была ошибка.

На самом деле достаточно назвать хотя бы даже несколько имен, хотя бы даже одно — Никита Моисеев, который понимал проблемы не то, что на уровне, а может быть даже глубже, чем авторы исследований, заказанных Римским клубом. Но я был провинциалом, не жил в Московской среде, и то, с чем я сталкивался, мне казалось классом ниже. И я не поддержал Гефтера. Хотя потом много лет спустя, в 2002 году, когда я проводил довольно большую конференцию с участием мировых звезд, они были настолько поражены уровнем наших московских интеллектуалов, что мне было предложено создать Московский клуб аналогичный Римскому клубу, правда с несколько иной спецификой, с большей акцентуацией социально-политических процессов.

Ну, тогда, к сожалению, я опирался на деньги Ходорковского. Ходорковский был арестован, денег больше у меня не было, да и Ходорковский еще раньше отказался поддерживать этот проект, увидев во мне альтернативу «Яблоку». В общем, продолжения не последовало. Но то, что Россия готова была к проекту, который был в голове у Гефтера, я в этом убедился много десятилетий спустя, а в 70-х отказался от этой идеи, ограничившись замыслом такого интеллектуального «Альманаха-77», который на самом деле должен был быть похожим по форме на толстый журнал, обычный такой, привычный для России толстый журнал.

В декабре уже, это была следующая, может быть, наша встреча, следующее наше с ним обсуждение этой проблемы, он написал текст «Приглашение к взаимопониманию», который впоследствии Павловский отредактировал, сделав вводной статьей к журналу «Поиски».

Так что вот у нас с ним были как раз разговоры о необходимости интеллектуального строительства в стране, создание интеллектуальной элиты для реформ, и оба мы сходились в том, что необходим компромисс.

Я, конечно, постольку поскольку для меня это была давно выношенная идея, оказался более радикален, чем он. Мы много спорили, но по сути дела до начала перестройки Гефтер был, если не единственным, то главным моим партнером в этой сфере. «Поиски», когда они вышли, конечно же, не укладывались в этот замысел. Замысел у меня этот не был реализован, меня действительно стали трясти, не дали возможности работать, а кроме того, мы вступали в эпоху довольно жестких репрессий, эмиграций, и замысел не случился. Но это не мешало нам обсуждать все необходимые проблемы с Гефтером, вплоть до 88-го года.

А. Т.: Я не думал об этом спрашивать, но вот буквально по ходу разговора у меня возник вопрос, который я другим собеседникам не задавал, но не знаю, по адресу ли он, но тем не менее. Это вопрос о том, Гефтер для себя как-то осмыслял, учитывая как раз время, ситуацию, конец 70-х – начало 80-х, возможность эмиграции?...

В. И.: Нет! Сразу говорю нет!

А. Т.: Почему?

В. И.: А зачем? Понимаете, Гефтер весь в русской культуре, Гефтер весь в русской истории, а уезжать — с чего бы?! У него есть миссия здесь, в своей стране... Никогда! Нет, нет, нет, никаких обсуждений даже. Послушайте, это даже не тема для разговора. То есть, она никогда не возникала.

А. Т.: Тогда сразу попутный сюжет — а свое отношение к выбирающим эмиграцию Гефтер как-то формулировал?

В. И.: Я не помню. Но здесь у нас с ним разногласий не было. А постольку поскольку не было разногласий, я могу изложить мою позицию.

Моя позиция очень простая. Каждый выбирает личную судьбу, и здесь он абсолютно свободен. Я, когда мне предложили либо иммигрировать, либо сесть в лагерь, сказал: «Сажайте!». Но мне и не нравилось, когда выдающиеся деятели общественного движения эмигрировали. Не нравилось внутренне, но я это не показывал вовне. Я никогда бы не смог сказать, осудить, по крайней мере, их. Потому что не каждый рождается борцом. И моя история показала, что очень многие люди не выдерживали того давления, которое было в Советском Союзе. Сломиться, предать себя, унизиться — нет, нет, нет, лучше эмигрировать.

Мне не нравились те, которые уезжали из Советского Союза не из-за страха репрессий, а из-за «нищеты». Им не нравилось, что они живут в бытовом отношении хуже американцев или французов. Вот такие мотивы мне не нравились. А если человек понимал, что он может оставаться самим собой, свободно работать только эмигрировав, да, конечно, эмиграция верный выход.

Я думаю, что мы с Гефтером это обсуждали, потому что среди наших друзей многие выбрали этот путь. И, повторяю, никакого зазора — а когда возникает зазор во взглядах, я запоминаю, других вещей, может, нет, а здесь запоминаю — не возникало никогда. Никаких проблем. Поэтому эмиграция — это нормальный путь. Не думаю, чтобы у него было хоть какое-нибудь слово осуждения в отношении Пятигорского, или несогласие с тем, что сделал Пятигорский. Да, там он свободен, там он может писать, читать, говорить все, что думает, а здесь не может. Ну, и что?

Вот мы обсуждали, наверняка и не раз, Зиновьева — не помню никаких слов осуждения.

А. Т.: Тогда возвращаясь к предыдущему, буквально первое слово, которое прозвучало в предыдущей реплике в адрес Гефтера — это была «миссия», и затем возникла «судьба». Вот в этом смысле, вспоминая Гефтера, вы можете сказать, что он осмыслял самого себя как имеющего одну на всю жизнь или в этот момент имеющего миссию?

В. И.: Да, конечно, безусловно. Я думаю, что он — не потому, что был историком, а потому что ему было историческое мышление присуще — он все время мыслил себя в истории. Я не думаю, чтобы он как-то об этом говорил или прямо формулировал, но это считывалось на каждом шагу. Он мыслил себя в истории, он оценивал свою роль в истории, и он действовал, как исторический персонаж, это совершенно очевидно. Он нес ответственность за свои действия в своей стране в свое время.

А. Т.: А вот вы сказали, что это считывалось на каждом шагу. Что именно... Ведь это бросается в глаза, да?

В. И.: Вы знаете, когда вы слушаете стихотворение, оно производит на нас впечатление задолго до того, как вы сумеете его проанализировать. Правда ведь? И более того, дело до анализа может не дойти, но впечатление останется.

Вот приблизительно такое впечатление от Гефтера. Ты это понимаешь, и тебе не надо анализировать, не надо задавать вопросы, а ответственные шаги он совершал не раз. И когда выходил, например, из КПСС, и когда он писал письмо властям по поводу, скажем, ареста

Павловского или еще чего. Когда он брал на себя миссию обсуждения с людьми ситуации, проблем, истории. Он все это делал не как просто увлеченный человек, а как миссионер. Понимаете? Для этого не нужна была артикуляция. Это надо было увидеть и почувствовать. Да, он жил в истории.

А. Т.: И вот тогда возвращаясь к этому пониманию, потому что он жил в истории, то есть, в этом смысле он был... Если раскрывать само понятие «жить в истории» — быть «историческим человеком». Для Гефтера в том числе это означало вот такой взгляд сквозь время, в конце концов, быть в истории — отчасти быть в том числе объектом исторического описания.

В. И.: Конечно, безусловно. И та готовность, с которой он работал с тем же самым Павловским, да и с другими людьми, с Леной Высочиной. Она говорила, с какой ответственностью он относился к тому, что делал, к тому, что думал, к тому, что должен оставить потомкам.

А. Т.: То есть, в этом смысле тут совмещение — это представление о том, что ты в любом случае оставляешь какой-то значительный след в этом плане?

В. И.: Да. И он этого очень хотел. Он очень хотел оставить значительный след.

Я должен сказать, что нелюбимый им Померанц прямо формулировал эту мысль: каждый человек должен оставить свой след, чтобы идущие за ним могли поставить свою ногу в этот след на своем пути дальше. На самом деле то же самое делал Гефтер. Они были очень похожи, несмотря на некоторую персональную неприязнь, некоторую дистанцию между ними. Они чрезвычайно походили друг на друга. И не случайно для меня это были два самых духовно близких человека в Москве — Гефтер и Померанц.

А. Т.: В связи с этим я вспоминаю сюжет из разговора как раз с Павловским о Гефтере. Если мне память не изменяет, там сюжет был связан как раз вот с этой темой «исторического человека», места в истории, следа и так далее. Не возникает ли тем самым уже (если мы возвращаемся к мысли Гефтера), не возникает ли тогда взгляд, в котором в общем-то, если быть человеком, вполне по Гефтеру, означает — быть человеком историческим, не означат ли это, что большая часть людей, собственно говоря, не состоялась в качестве людей?

В. И.: Ну, что вы! Я могу вам сказать, историческое мало кому присуще. Я, вот, когда вы спрашивали, о чем вы говорили с Гефтером, — я не могу назвать предмет, но смысл этой вот историчности человеческой

жизни, это присуще было мне так же как и ему. Мы нашли общий язык именно поэтому. Нам было очень легко обсуждать современные проблемы, опускаясь, скажем, в историю Китая, или говоря об Александре Македонском, или уж тем более, возвращаясь к Александру Первому, Пушкину или еще чему-то.

Понимаете, для Гефтера история была как бы континуальна. Это не был отрезок истории, где мы живем здесь и сейчас. Мы действуем в той истории, корни которой уходят в древность и ветви которой растут в будущем, и от нас, живущих сейчас, зависит, как эти ветви будут расти, и мы ответственны за это.

И в этом смысле таких людей как Гефтер, скажу вам, я практически не встречал. Ну вот в каком-то смысле мог бы сказать о Померанце, но Померанц все же был скорее философски мыслящим, чем исторически. Это близкие вещи, потому что Гефтер не столько историк, сколько философ истории. Но тем не менее здесь есть некоторые нюансы. А для Гефтера реальная ткань истории не просто важна (для Померанца она тоже важна), а она присутствует в рассуждении, присутствует в нынешней работе мысли.

А. Т.: Ну вот тот сюжет, который меня волнует, здесь всплывший, потому что в целом ряде других разговоров он вроде бы исчезал, а здесь опять выходит на поверхность, это то, что сам взгляд, как он здесь формулируется, гефтеровский, он не прямолинейный, но может ли он быть прочитан как такой элитаризм, во многом присущий советской интеллигенции?

В. И.: Вы ведь сами ответили на свой вопрос. Ну, он напрямую никак не мог так сформулировать. Я думаю, что Гефтеру публичное высказывание об элитаризме было бы противно. Гефтер отнюдь не исповедовал, скажем, элитаристские взгляды. Я, например, исповедую, он нет. Ему было бы даже неприятно, если бы его заподозрили в этом. Но в сущности именно так и есть. Постольку поскольку он ставил такую планку понимания человека в истории, которая для большинства, как вы тоже уже сказали, для большинства была недоступна. Большинство людей не состоялись в этом смысле.

А. Т.: Отсюда другой сюжет. Если речь идет о миссии, о миссии, о понимании не просто судьбы, которая срастается постфактум, а судьбы, которую ты строишь, в том числе пушкинский сюжет опять же в советско-лотмановском истолковании...

В. И.: О да! Да, он был очень близок для Гефтера. Он очень часто к этому возвращался.

А. Т.: Вот в связи с этим, как можно попытаться сформулировать то, как себе Гефтер мыслил миссию? Понятно, что говорить за другого, особенно на подобный сюжет — тяжело.

В. И.: Не возьмусь. Я еще раз об этом хочу сказать. О таких вещах легче всего было бы из ныне живущих разговаривать с Павловским. Он единственный из тех людей, которые сегодня живы, с ним мог говорить достаточно глубоко откровенно и мог его понимать. Правда, на мой взгляд, Павловский часто заменяет своими интерпретации аутентичный, так сказать, текст. Но тем не менее, кроме Павловского на этот вопрос ответить не может никто. Лично я вдвойне и втройне, потому что Гефтер был достаточно богат идеями и богат обзором, так сказать, проблематики самой различной. Когда же мы с ними беседовали, обычно беседы были навязаны моими навязчивыми идеями. Мы говорили о тех проблемах, которые меня беспокоили. И кстати, в связи с этим довольно многое, что достаточно интимно, естественно ускользало из нашей беседы, нашего внимания. Да, мы могли беседовать на подобного рода темы, но никакого связанного представления я не имею, сказать не могу.

Тут смешно, если бы я — человек, осознающий миссию и считающий себя человеком, живущим во имя — я даже относительно себя с трудом могу сформулировать, как я вижу свою миссию, а вот говорить о человеке даже близком мне, духовно очень близком мне человеке, я тем более не возьмусь. Гефтер был гораздо глубже, чем я его видел.

А. Т.: Вот, например, Клаудио Ингерфлорн, говоря о Гефтере, сказал, что довольно сильная перемена — не внутренняя, но перемена действий, перемена фокуса интересов у Гефтера приходится на Андропова, что это такое включение уже в то, что можно определить, как политическое...

В. И.: Извините, я вас перебую. Может быть, вы хотели завершить вопрос, но я вам могу сказать — сегодня об этом мало известно — было такое, когда Глеба Павловского арестовали, я находился в туберкулезной больнице, считайте под арестом. Ко мне приехал КГБшник, стал вести беседы насчет Павловского, а я как и обычно отвечал теми же самыми словами, которые говорил всегда, и возможно, ожидая этих слов, ко мне КГБшник и пришел. Я говорил о том, что сегодня Советский Союз дышит на ладан, и совершенно необходимо заниматься не репрессиями, а поиском диалога с теми, кто видит какие-то альтернативы, и Глеб Павловский один из тех, кто ориентирован на этот диалог, ориентирован на компромисс, ориентирован на поиск политических решений.

И там случилась такая странная история, этот господин говорит мне: «Ну что ж, пишите подобного рода записку». До этого времени

они просто посмеивались, говорили: «У нас крепкая страна, тысячу лет стоять будет. Какие проблемы?! Вот таких как вы пересажаем и тысячу лет стоять будем». А тут: «Пишите записку о том, как вы видите этот диалог между диссидентами и властью, как вы видите условия компромисса». Я чуть не упал в обморок, говорю: «Не могу. Причины две. Первая — я не могу это писать от своего имени. Для того, чтобы такой диалог был возможен, это должна принять московская интеллигенция, московские диссиденты. Надо с ними разговаривать. А вторая проблема — если бы я даже хотел вам это сказать, я сижу здесь, меня отсюда не выпускают». Вопрос был этот решен. Буквально через две недели меня выписали со всеми манатками, я был в Москве и вел переговоры с москвичами, и в частности, с Гефтером.

Это был конец мая, а может быть начало июня, мне трудно сказать слету. Гефтер в это время находился в академической больнице, и я поехал к нему туда беседовать. Говорю вот так и так, я пишу такую записку, я готов, вот у меня есть черновики. Давайте включаться. Я не только с ним разговаривал, я со многими разговаривал, но Гефтер для меня был первым, самым главным партнером. Гефтер сказал: «Нет, мы не будем с ними разговаривать. Это не имеет смысла — они как всегда будут действовать». Я учинил ему буквально скандал и сказал: «Хорошо, если вы не готовы к диалогу, если вы не готовы к компромиссу, до свидания, мне тогда нечего делать в этом движении, постольку поскольку это единственный путь, путь диалога и компромисса, который может привести к некатастрофической трансформации общества».

Вы знаете, с ним приключилась какая-то такая история, он сказал: «Ладно, возможно ты прав. Сейчас то самое время, когда идет борьба за передел брежневского наследства, наверное, они могут искать где-то поддержку. Но давай мы согласуем тезисы!» Он предложил поработать с моими текстами, но не самому лично, постольку поскольку он был в больнице, он предложил своего сына Володю, который с ним постоянно поддерживал отношения. Мы с ним проработали несколько дней, подготовили скорректированный замечаниями Володи текст, и уже с таким скорректированным текстом я ходил по другим диссидентам, прежде всего пошел к Ларисе Богораз, потом и к другим.

Лариса Богораз тоже была одним из близких мне партнеров, и из всех диссидентов она единственная в 74-м году готова была обсуждать проблему компромисса. В 82-м году она говорила: «Да, я уверена, что компромисс необходим. Я знаю, что они могут уступить. А что можем уступить мы?» То есть она не была готова к компромиссу фактически,

хотя интеллектуально она к нему созрела. Но я повторяю, я к ней уже шел с текстом, который как бы получил благословение Гефтера.

Я думаю, что это поворотный пункт обращения к своему действию как к политическому, момент согласия на политическое действие.

А. Т.: В связи с этим тоже попутный вопрос — то, что вы говорите, и то, что очень сильно сквозит в гефтерских вещах, воспоминаниях, не в том числе, конечно, помимо, а поверх. Это сознание своей силы, какое-то, честно говоря, довольно странное. Ведь, во-первых, если мы посмотрим в сегодняшней оптике, речь идет о чем? Речь идет в общем-то о каких-то совсем небольших кучках, причем странно устроенных кучках, интеллигенции, которые между собой мало о чем способны договориться, и вот этот, в том числе, разговор с властью какой-то, по крайней мере, говорение с нею, которое присутствует у Гефтера, там ведь осознание в конце концов того, что за тобой стоит какая-то сила, которая дает тебе и право, и ресурс говорить.

В. И.: Это сила в будущем. За нами будущее. Возможно, мы и есть часть будущего, и ведем разговор от имени Истории.

А. Т.: Вот в связи с этим, поскольку все очень по-разному отвечают, и это любопытно, вот этот образ, в том числе и будущего, которое присутствует, и говорение, адресация, сознание своей миссии не гарантированы с альтернативностью гефтерской, ключевой темой. Это все, как я это слышу, очень сильно рифмуется с герценовским пониманием. В этом плане вот само обращение Гефтера к русскому XIX веку, его постоянная боль, это скорее идущая по нарастанию, копание в нем. Это, собственно говоря, что? Что он пробует там найти? Что он стремится найти? Потому что это ведь присутствует и в разговорах, это присутствует и в реестрике. Почему XIX век? Ведь в конце концов...

В. И.: Очень просто. Это очень просто. Я не думаю, я не могу говорить об этом как о знании, я могу говорить об этом как о понимании, как я понимаю. Во-первых, Гефтер просто жил XIX веком до всяких своих политических интересов и до всякой попытки использовать это время для извлечения опыта к сегодняшнему дню. Но вы понимаете... Ведь на самом деле это меня сегодня смешат многие мыслители, которые говорят, что советская история не имеет отношения к российской, она должна быть, как бы исключена из нее. Она прерывается в 17-м году и возобновляется в 91-м. Это посмешище!

Я могу сказать, что российская история непрерывна, и атмосфера герценовской мысли, на мой взгляд, очень близка к тому, что происходило между нами. Ему не надо было ничего искать. Дух русской истории

присутствовал в наших 60-х, 70-х, 100 лет спустя, 100 с лишним лет спустя, как они появлялись в том же, в частности, герценовском кругу. Я думаю, что опыт декабристов имеет прямое отношение к нашему опыту. Сам я также учился на опыте народовольцев.

Когда мы обсуждали с ним наши проблемы, проблемы компромисса, мне он дал письма Стефановича к известным лицам. Эти материалы раскопал, как мне кажется, или насколько я помню, Арсений Рогинский, который считал себя учеником, кстати, Гефтера, и Арсений Рогинский, естественно, дал эти материалы Гефтеру, Гефтер передал мне. То, чем занимался Стефанович, это ровно тот же ход мысли, которым занят я сам.

Зачем искать какие-то другие эпохи, искать другие времена, если мы живем в той же самой стране, она продолжилась через 19-й век, мы ее переформатировали? Но все внутренние ее интенции, все они присутствуют в нашем советском настоящем. И проблемы, поставленные тогда, советская власть совершенно не решила, а может быть даже усугубила. И поэтому катастрофическое развитие событий в Советском Союзе еще более вероятно, чем то, что мы наблюдали в конце 19-го в начале 20-го века.

А. Т.: А вот если конкретизировать эти общие формулировки, проблемы, какие именно вы перечислите?

В. И.: Если мы говорим сейчас о Стефановиче, ну, прежде всего, как бы отчуждение государства от общества, прежде всего, невосприимчивость к новым идеям, забуференные каналы вертикальной мобильности, которые создают революционеров. То есть, отсутствие механизма социализации молодых талантливых людей и включения их в общественную жизнь. Россия страдала от недостатка интеллектуального потенциала, от недостатков кадров, государство не достраивалось ввиду недостатка людей, а монархическая власть не умела уже готовых талантливых, преданных, патриотичных людей включить в этот процесс выстраивания Российского государства и российского общества. И вот этот разрыв существовал и в Советском Союзе.

Для нас очень важно было включить молодых талантливых озабоченных людей в трансформацию страны, которая не идет или идет слишком медленно. Это проблематика Стефановича.

А. Т.: А вот возвращаясь к достаточно позднему Гефтеру, можно ли сказать, по крайней мере, как мне кажется и по разговорам, но я не уверен, не сбоят ли у меня здесь оптика в результате собственного наведения, поэтому такой вопрос на прояснение. Можно ли сказать, что

для позднего Гефтера Маркс оказывается существенно менее важен, чем Ленин?

В. И.: Это не поздний Гефтер, это просто Гефтер. Все 1970-е годы он этим занимался. Ленин был для него важнейшей фигурой. Поэтому у меня, кстати, не возникало большого интереса к Гефтеру до 77-го года, инициатива знакомства принадлежала ему. Но и после 77-го года мы неоднократно разговаривали, и Ленин занимал его чрезвычайно много, в то время, как я не помню, что он вообще когда-нибудь говорил о Марксе.

А. Т.: То есть, в этом смысле Ленин оказывается не то, что фигурой, рассматриваемой вне Маркса, но Ленин — это фигура, которая в первую очередь понимается не столько из социал-демократического контекста, сколько из русского контекста?

В. И.: Совершенно верно. Вы сняли с языка.

А. Т.: И тогда другой момент. Вот, насколько можно говорить о Гефтере, здесь для меня сложность возникает, просто в продолжение предыдущего вопроса... То есть, у меня был такой готовый почти штамп для характеристик, то, чем Гефтер отчасти занимается в 1960-е и так далее, вплоть до конца своей жизни, в кругу тех, с кем он общается и беседует, — это пересмотр, переосмысление левой традиции.

В. И.: Да.

А. Т.: Но вот можно ли сказать, что он переосмысляет левую традицию как таковую, или он занимается скорее русскими радикалами?

В. И.: Нет. Я думаю, что левая традиция... Нет, его не интересуют радикалы, нет. Это не его. Его — это как раз левая традиция, левые традиции, идущие от народовольчества через Ленина к современности.

А. Т.: В этом смысле у меня получается такой, уже достаточно сложный, как мне самому кажется, вопрос. Вот это сочетание гефтеровское, гефтеровские размышления об истории. Достаточно вспомнить хотя бы его роль во «Всемирной истории»... Постоянное стремление говорить о единой истории, начиная от антропогенеза и вплоть до того, каким образом мы выходим уже в следующее тысячелетие, вот вся эта рамка, а с другой стороны — такая предельная сфокусированность на России, причем на России последних 150-ти лет. В этом смысле Россия 150-ти лет, можно ли сказать, что для него это то место, то общество, где происходит нечто фундаментальное, нечто ключевое, именно в контексте всемирной истории? То есть, это не забота о своем?

В. И.: Нет, нет. Вы знаете, здесь не надо впадать в иллюзии. Наша забота о своем искажает наше видение и превращает заботу о своем

в формулировку неочевидных решений. Ну здесь есть такое, и ни один из нас от этого не свободен. Здесь, конечно, присутствует забота о своем, безусловно, но это действительно было представление, что в России рождаются мировые решения.

Мы с ним неоднократно беседовали об этом. У него есть замечательная для него формула — «Советский Союз — это мир миров». А ведь мы с ним постоянно беседовали, я ведь глобалист, о синтезе цивилизаций, о сосуществовании равных государств в едином пространстве, о поликультурных цивилизациях. Здесь у нас возникала как раз очень сильная перекличка и, конечно же, он полагал, что Советский Союз проигрывает некую модель будущего мирового устройства. Поэтому решения, которые мы ищем для своей страны, это, в сущности, мировые решения. Это репетиция будущего для всех.

А. Т.: И тогда из этого сразу вопрос. Вот все эти слова, все эти рассуждения, они в общем-то звучат более чем серьезно в контексте поздних 70-х — 80-х годов. Но что тогда с этим происходит в ситуации 90-х?

В. И.: Катастрофа. Это катастрофа. Мы утрачиваем то преимущество, которое имели. Понимаете, мы утрачиваем те стартовые возможности, которые могли бы быть возможностями не только для нас — для Советского Союза, а для мира. Это крушение. Это ужаснейшая катастрофа.

Видите ли, вернусь к тому разговору в академической больнице 82-го года. Гефтер говорил мне, что с *этими людьми* бессмысленно разговаривать, пока они не переживут идео-психической катастрофы. А я не знаю, пережили эти люди идео-психическую катастрофу или не пережили, но мы с Гефтером ее пережили. То есть наши представления о возможном пути развития человечества потерпели сокрушительное поражение. И оно повлияло на наше поведение, повлияло на то, чем мы занимаемся, повлияло на состояние нашей психики.

Я могу сказать, если бы не великолепные возможности, которые открыла перестройка, которые в сильной степени смягчили эту катастрофу, то я не знаю, выжил ли бы Гефтер или, например, я как общественный деятель. Эта катастрофа была очень сильной.

Более подробно описывать не могу по одной простой причине. Как я уже сказал, мои отношения по бытовым чисто причинам прервались с Гефтером в 88-м году и потом тяжело восстанавливались. Мы с ним только в конце 90-го года начали понемножечку возвращаться к контактам, потом были недостаточно близки. Только под конец его жизни, с мая 93-го, мы с ним снова возвращаемся к уже не столь частым, не

столь длительным, но все-таки к серьезным беседам. Поэтому говорить о том, скажем, как переживал лично это Гефтер, я не вправе, просто не вправе.

А. Т.: А вот такой почти проваливающийся обычно момент. Совсем ранний Горбачев, приходящий. В этом смысле ведь то, что потом мы начинаем всю эту историю с 85-го года, это же во многом такая иллюзия, аберрация, здесь сильно разные ситуации, будь то 85-й, 86-й год. Вот если попытаться реконструировать реакцию не на того Горбачева, образ которого нам будет более или менее складываться к 87-му году, а вот на совсем ранние вот эти перемены, движения. Здесь для Гефтера именно в контексте его больших представлений, что здесь происходит?

В. И.: Не могу сказать, не помню, просто не помню. Себя в это время я помню достаточно хорошо, Гефтера — нет.

А. Т.: Возвращаясь, опять же, совсем отматывая назад, к началу разговора, просто попытаться описать свои собственные чувства, ощущения, восприятия. Когда вы сказали, что у Гефтера «мудреный язык», Гефтер не пускает к себе в тексте, что там вызывает подобную реакцию?

В. И.: Вы знаете, я человек очень простой. Если вам когда-то приходилось читать мои тексты, вы увидели, что у меня очень простая стилистика. Вы знаете, не раз в истории случалось упрощение литературного языка. Язык народа становится языком литературы. Мне особенно это хорошо известно, потому что неоднократно это происходило в Китае, в Японии, которые мне интересны, вообще дальневосточные цивилизации для меня чрезвычайно важны. Так вот, здесь то же самое.

Гефтер вполне жил в марксистском языке, а я Гегеля даже не осилил. Вот не осилил. Мне Гегель оказался скучен. И более того, я не принял язык книг раннего Маркса, которые прошли мимо меня, хотя поздний Маркс был чуть ли не моим, ну, не катехизисом, но, по крайней мере, его книги были для меня чрезвычайно важны в моем начале, в начале моей деятельности.

Гефтер не только демонстрировал язык того же порядка, но и еще язык как бы переработанный, переработанный в собственный, в уникальный, единственно ему присущий язык, и когда ты хочешь понять его мысль, тебе надо работать над пониманием языка. Я человек такой... знаете, есть такое — дефицит внимания и гиперреактивность. Я человек очень быстрый. И сидеть размышлять над языком можно, но тогда моя жизнь будет потрачена на изучение Гефтера, а не на действия в жизни. Поэтому я предпочитал разговаривать с ним. Разговаривали мы с ним таким же обыкновенным языком как с вами разговариваем. Все мысли

формулировались ясно, четко, прозрачно. Больше ничего не надо было, и дальше мы переходили к действиям.

Ну, зачем мне читать эти толстые книжки или даже короткие записки? Вы знаете, из текстов Гефтера, которые я читал, это почти исключительно тексты, которые связаны либо с нашими с ним разговорами... В любом случае связанными, либо они написаны вследствие разговора, либо в контексте разговора. Никаких других текстов я его так прочесть и не смог. Представляете? Вот мы с ним дружили... На самом деле это были очень дружеские отношения, но я его тексты не читал.

А. Т.: Замечательно, потому что я тут готовил следующий вопрос по ходу, и вы как раз завершили ровно то, о чем я хотел спросить.

Вы сказали, что вы дружили. Вот учитывая сильную разницу возраста, опыта, контекстов и так далее, как, собственно говоря, было устроено гефтеровское общение?

В. И.: Мы разговаривали всегда на горизонтали. Однажды он меня, так сказать, интеллектуально похлопал по плечу, мы поспорили об империях, я высказал свою мысль о России как о наследнице Золотой Орды. Ну, мы с ним поспорили, и он в сердцах воскликнул: «Ах, как жаль, что ты не историк!». И это настолько произвело на меня отталкивающее впечатление, что у нас на некоторое время отношения сильно охладели. Но потом он вышел из этого положения. В разговоре с кем-то третьим, я уже не помню с кем, он сказал: «Нет, нет, это вот к Вячеку, это вот он в этом разбирается, это вы к нему». И вы знаете, щелчок обратный произошел, и весь негатив был снят. У нас не было разницы, как бы такой возрастной стратификации, абсолютно. Мы разговаривали на горизонтали. Но это когда мы говорим об интеллектуальном общении.

Когда мы говорим о человеческих отношениях, он, конечно, для меня старший человек. Когда я заметил, что Павловский обращается к нему «Миша» и на ты, по крайней мере, в переписке, для меня это было шоком. Для меня это было бы совершенно невозможным, для меня он всегда был Михаил Яковлевич и всегда человек предыдущего поколения, всегда старший человек, заслуживающий особой внимательности и человеческой, и интеллектуальной. Между нами существовала дистанция, такой близости, как у них с Павловским, не было.

Но, повторяю, когда мы говорили о предметах — нет, у нас не было здесь никакого старшинства, никакого старшего опыта. Я даже мог себя считать, я даже считал, если честно признаться, может быть высокомерно, я себя считал несколько более опытным человеком, чем он,

потому что я напрямую занимался политикой, политическими проблемами, начиная с 65-го года, в то время как он постепенно приходит к этому только в 70-х годах. У меня в этой сфере, я думаю, было весьма профессиональное отношение к предмету, в то время как он как бы на минное поле ступал: ощупывал, из истории входил в политику; а я наоборот из политической практики уходил всегда в историю. У нас были как бы встречные движения.

А. Т.: А вот в связи как раз с горизонтальностью общения и тому подобное. Здесь, если вдаваться вот в эту плоскость человеческих отношений, можно ли сказать, что он был в первую очередь естественен в этом или там присутствовал такой элемент внимательности, рефлексивности? Этот «щелчок назад», это история про то, что слова вырвались, получились, или это из — в том числе из — понимания внимания... То есть, это в том числе считывалось вами как жест обращенный к вам?

В. И.: Я думаю, что да, мной это считывалось как жест, обращенный ко мне. Но, что касается естественности, он всегда был естественным. Всегда! Понимаете, даже вот эта рефлексивность, о которой вы говорите, она была такой же естественной, как дыхание. Это не специальный процесс: «я веду себя как человек, а отдельно я оцениваю и осмысливаю». Нет! Это в одном потоке. Так что, нет, нет. Гефтер был удивительно естественным человеком. При всем этом осознании некоего такого бронзового оттенка человека в истории, вот при этом он был абсолютно естественным, абсолютно демократичным, абсолютно эгалитарным.

Здесь я могу сказать, общение с Гефтером — одно из самых приятных общений в моей жизни.

А. Т.: А вот последний такой момент — завершающий, наверное. Естественность, эгалитарность в общении — это то, что присутствует в общении в кругу между своими, или это такая универсальная его характеристика?

В. И.: Не знаю. Я всегда с ним общался в камерной обстановке, всегда в камерной. Да, я присутствовал на одном, кажется, его публичном выступлении по поводу избрания Горбачева Президентом СССР. Но это было как раз время сложных наших с ним отношений, и поэтому я должен сказать, что я не очень хорошо запомнил вот это вот его публичное поведение. И он сам тогда был очень взволнован, для него это было экстраординарное событие. И мне трудно сказать. Все основные случаи — это всегда за чаем, нас всегда двое, трое, ну, в редких случаях — четверо. Всегда это самый лучший формат. Тогда резонанс

стоцентный, когда ты точно понимаешь своего собеседника. Как это выражалось в отношениях с другими, мне сказать трудно, я об этом судить не могу.

А. Т.: А вот в этих разговорах, по вашим ощущениям, по вашей памяти, два момента. Насколько Гефтер солировал, и в какой степени вот эти разговоры работали для Гефтера, в первую очередь, как проработка своих собственных тем, своего собственного движения?

В. И.: Для него любой разговор был проработкой своих собственных тем. Что касается «солировал», я повторяю, о других мне судить трудно. У нас этого не было, никогда не было соло. Мы были равными партнерами в разговорах всегда. Да я вообще... вы со мной разговариваете, вы видите, я человек, довольно легко отзывающийся на вопросы, не дающий даже завершить вопросы — начинающий говорить. Ну как со мной можно солировать?

А. Т.: И еще одно уточнение, своего рода расшифровка ранее сказанного. По ходу нашего разговора был момент, когда вы сказали, о том, что... Я сейчас боюсь неправильно процитировать, но я точно зафиксировал именно понятие, которое там прозвучало — «К нашему „движению“...» Ключевой момент, когда речь шла о конце 70-х, о первой половине 80-х, речь шла именно о движении? Вот это осмысление себя как «движения», что здесь понимается под «движением», кто такие «мы», что такое «наше движение»? Потому что это очень нагруженное понятие.

В. И.: Да, понятно. Вы знаете, оно не только нагруженное, но оно еще персональное. Гефтер, я думаю, в значительной степени входил в движение через участие в альманахе «Память». И поэтому тот круг, с которым он общался, это и были наши люди. Постепенно в этот круг интегрировался, например, Павловский. В круг этих людей. Понятно, что этот круг простирался в то, что называлось правозащитным движением. Понятно, что вот это и есть «наше».

Идеологические границы — нет, пожалуй, об идеологических границах речь не шла. Хотя конечно же, вы уже замечали это, Гефтер относился к левой традиции, к левому течению. Понятно, что, скажем, Лерт ему была намного ближе, чем Солженицын или, не знаю, даже трудно сейчас подыскать антоним. Но в любом случае, это как бы либерально-демократическое движение с европейским лицом, а не чуждое левых аспираций, то есть ожиданий, левых ожиданий, и противостоящее костной власти. Противостоящее не потому, что она коммунистическая, а потому, что она мертвая.

Teslya, A. A. 2020. “‘Lenin zanimal yego chrezvychayno mnogo’ [‘Lenin Extremely Interested Him...’]: beseda s Vyacheslavom Igrunovym [A Conversation with Vyacheslav Igrunov]” [in Russian]. *Filosofiya. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki* [*Philosophy. Journal of the Higher School of Economics*] IV (2), 144–162.

ANDREY TESLYA

PHD IN PHILOSOPHY, SENIOR RESEARCH FELLOW, SCIENTIFIC DIRECTOR RESEARCH CENTER
FOR RUSSIAN THOUGHT, INSTITUTE FOR HUMANITIES,
IMMANUEL KANT BALTIC FEDERAL UNIVERSITY, KALININGRAD

“LENIN EXTREMELY INTERESTED HIM...”

A CONVERSATION WITH VYACHESLAV IGRUNOV

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-2-13-162.

ГЕФТЕР:
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

STUDIES. PART 1

ГЛЕВ ПАВЛОВСКИЙ, КОНСТАНТИН ГАЗЕ*

МАРКС И ТЕОРИЯ СОБЫТИЯ МИХАИЛА ГЕГГТЕРА**

Получено: 10.06.2020. Принято: 19.06.2020.

Аннотация: В статье предпринимается попытка реконструкции теории события советского философа, социального теоретика и историка Михаила Геггтера. Опираясь на неопубликованные тексты Геггтера 70-х годов XX века, авторы возвращают его версию исторического материализма в контекст дебатов о статусе события и историческом детерминизме, шедших в европейском марксизме в тот период. Базовая развертка исторического материализма Геггтера — диахроническая синхрония, представляет собой одно из интереснейших теоретических решений, в которых комбинируются структурализм и новое прочтение политэкономических работ Карла Маркса. Историческое событие, по Геггтеру, возможно как реализация потенциала диахронической оси «будущее-прошлое» в «историческом настоящем» за счет означивания диахронии синхронией, в противоположность «вечному» событию, которое существует во времени мифа и переозначивает синхронию. Предлагаемая нами реконструкция демонстрирует потенциал исторического материализма и теории события Геггтера для методологии исторического познания, современной социальной теории и спекулятивной философии.

Ключевые слова: теория события, диахроний и синхрония, методология истории, Геггтер, Маркс.

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-2-165-202.

Светлой памяти Теодора Шанина

ИСТОРИЗМ VS СОБЫТИЕ

«Событие повергает идею истории в глубокий кризис. Случившись, оно порывает с прошлым, не принадлежит истории и не может быть ею объяснено. Или никаких событий не существует, или история — это всего лишь репрезентация, гомогенизирующая в последовательность несводимые друг к другу события (которые слишком часто подчиняют трансцендентному суждению из будущего, а не имманентной оценке, в каждом конкретном случае выявляющей внутреннюю консистентность события или вес его существования в становлении)». Смысл этой

*Павловский Глеб Олегович, директор Русского института (Москва), gleb@russ.ru; Гаазе Константин Борисович, магистр социологии; преподаватель, МВСШЭН, kgaaze@gmail.com.

**© Павловский, Г. О.; Гаазе, К. В. © Философия. Журнал Высшей школы экономики.

дилеммы, сформулированной Франсуа Зурабишвили (1994: 19), прощательным читателем и комментатором Жюль Делеза, не сводится только к игре между онтологией и эпистемологией: за команду бытия играют события, за команду знания — исторические нарративы, которые должны подчинить себе противников и навязать им те или иные порядки связей между ними. Вопрос шире и тревожней.

Если событие является единственной меркой подлинности самого себя, оно противопоставляет себя историческому мышлению как таковому. Октябрь, Холокост, распад СССР, 11 сентября 2001 года, глобальное потепление или пандемия случились или случатся как события-разрывы? Значит, они были ретроспективно неотвратимы и даже хуже — теологически (а не исторически!) неизбежны. И теперь уже нельзя сомневаться в их аутентичности, нельзя походить к ним с релятивистской или конструктивистской меркой. Нельзя задаваться вопросом «могло ли быть иначе», как нельзя спрашивать, можно ли было обойтись без всемирного потопа или гибели Атлантиды.

Эпистемическая проблема такого события-разрыва быстро превращается в политическую. Всегда найдется желающий, который под лозунгом «Иного не дано!» провозгласит свою правоту единственной и неизбежной, а себя — уполномоченным катастрофы, управляющим «оставшимся временем». Вместо продуктивной полифонии мы получим гекатомбу из несводимых, несвязанных и идеологизирующих себя сингулярностей. Не удивительно, что дискуссия о детерминизме и событии вышла за пределы исторической социологии (Mahoney, 2000), и попытки примирить широко понятый историзм с идеей события-разрыва предпринимаются повсеместно: от спекулятивной философии до политической теории.

Спекулятивный реализм предлагает идею «диа-хронии», «временного разрыва между миром и отношением к миру» (Мейясу, Медведева, 2015: 168), чтобы поместить «немыслимые» доисторические события как онтологические факты в контингентную, но не случайную временную последовательность. При помощи коинцидентальной онтологии рассмотрение «континуума событий» возможно за пределами навязываемой альтернативы из руководящего ими трансцендентного принципа или полной автономии их сингулярностей (Регев, 2015). В объектно-ориентированной онтологии есть понятие мерологии, описывающее встроенные друг в друга временные режимы разных объектов (Брайнт, 2019), вполне в духе требования Марка Блока дать каждому из рассматриваемых историком феноменов свое историческое время. «Политический семиозис», продукт комбинирования семиотики Греймаса и нарратологии

Поля Рикера, обосновывает конституитивность «формы» (как нарративной, так и эпистемологической) для вызревания и артикуляции событий (Wagner-Pacifici, 2017), историзм, таким образом, возвращается через неслучайность «форм». Новый исторический материализм преодолевает разрыв между рационализмом (историческим мышлением) и эмпиризмом (догматом о сингулярном событии), превращая историю в лабораторную, в сущности, науку, изучающую «симуляции» сингулярных событий в режиме их «ослабленной эмерджентности» (Bedau, 2008; Coombs, 2015).

Какое отношение могут иметь работы Михаила Гефтера (1918–1995), которому посвящен настоящий выпуск журнала «Философия», к этим бурлящим авангардным дебатам? Хочется избежать банальностей, вроде «актуален как никогда», «опередил свое время» и прочих им подобных. Мышление Гефтера было политически посюсторонним, поскольку он связывал себя императивом участия в истории, и даже «необходимостью участия в Событии»: «Мое наваждение — в приверженности Событию с молодости. Генетическая вмятина в душе» (Павловский, Гефтер, 2017: 218). Но также в определенном смысле это мышление было вневременным, поскольку Гефтер вполне допускал и даже обосновывал возможность выпадения человека, а значит, и историка, из исторического времени как такового. Пример истекшего времени — остров Эльсинор. Хотя все действующие лица участвуют, если так можно сказать, в «европрогнесе» (Горацио, Розенкранц с Гильденстерндром, сам король), именно Гамлет возвращает острову историческое время. Ценой горы трупов и События.

Понятие события находится в центре почти всех разработок Гефтера. Это и «the Событие» его мысли — Октябрьская революция, но и другие, например, Октябрь 1993 года, понимаемый им именно и прежде всего как историческое событие. Тезис, который мы хотим доказать в этом тексте, можно в общем виде сформулировать так. В конце 60-х годов прошлого века случилось «великое расхождение» между европейским и советским марксизмом, которые до этого момента, пусть и не без препятствий, взаимно обогащали друг друга идеями, понятиями, концептуальными схемами. Луи Альтюссер и постальтюссеринский марксизм сделали главным предметом рефлексии антагонизм, его онтологию, детерминированность, каузальность и так далее. Теория события Алена Бадью (2005) — плод именно этой «антагонистической» ветки работы с наследием Маркса.

В СССР же после 1968 года официальный марксизм превратился в выхолощенную догму. Герои советской интеллектуальной сцены ответили на это уходом от Маркса. Но не Гефтер. Его набросок теории события, содержащийся в неоконченном черновике «Заметки в связи с одной старой, но не устаревшей дискуссией», над которым Гефтер работал примерно с 1972 по 1975 годы, представляет собой «не-антагонистическую» вариацию развития этой темы. Те же вопросы, что стояли перед Альтюссером, Гефтер разрешает принципиально иначе, выходя к концептуализации события не обходным путем, через антагонизм, а напрямую, сразу начиная с дилеммы, которую так ясно сформулировал Зурабишвили. Какая история может вместить в себя производящее само себя (и историю) событие на его собственных правах? Реконструкция этого наброска Гефтера (полного и систематического изложения теории события он не дал и не хотел давать), таким образом, прямо выведет нас к точке актуальных дебатов об «историзме» и «событии» и, надеемся, внесет вклад в эти дебаты.

Перед тем, как приступить к работе, нужны некоторые предварительные разъяснения общего характера, связанные со спецификой теоретического аппарата Гефтера, с его этическими и методологическими установками и его биографическими обстоятельствами. Затем, используя указанный выше текст Гефтера в качестве фундамента, мы покажем, как могла бы выглядеть одна из концептуализаций исторического события «по Гефтеру», если бы он захотел заняться ее последовательной разработкой.

ИСТОРИК-ПАРРЕСИАСТ ПЕРЕД ЛИЦОМ КОНЦА ИСТОРИИ

Мыслителей советского периода сегодня требуется оценивать меркой, позволяющей сразу же установить — пророками они были или лжепророками. Если классик как-то «угадал» наше будущее из «мрачного советского прошлого», обычно речь идет о будущем «здесь и сейчас», значит, он пророк, его книги и статьи нужно читать, нужно устраивать конференции и учреждать стипендии его имени. Если же не угадал, классик подлежит забвению. Поскольку картина за окном все время меняется, мы бесконечно переписываем списки пророков и лжепророков, опираясь при этом лишь на «удовольствие узнавания», как это назвал однажды Квентин Скиннер.

Михаил Гефтер сделал все, что было в его силах, чтобы помешать желающим сыграть с ним в эту игру. Прежде всего, само его наследие может быть определено несколькими способами. Он, безусловно, хотел

отправить посылку в будущее, только вот никак не мог решить, что достойно быть в нее упакованным. Он не оставил после себя ни «всеобъемлющей» теории, ни *opus magnum*, который можно было бы выдать студентам в качестве визитной карточки, ни собрания сочинений. Тексты Гефтера сегодня, в лучшем случае, стали объектами теоретического своеволия, в худшем — разошлись на афоризмы, вроде «Сталин умер вчера» или «Третьего тысячелетия не будет».

В середине 70-х годов прошлого века Гефтер осознанно вышел из академической науки. Это решение в той политической ситуации было актом верности событию его жизни — Октябрю 1917 года. Верности и интеллектуальной, и личной, включая сюда и полноту личной ответственности. Но это решение в значительной степени затруднило работу с его наследием. Все, написанное им, может быть рассмотрено из нескольких углов: тексты историка-одиночки, опыты интеллектуала, испытывающего способность русского языка снова служить публичной мысли, историческая теология (или футурология) визионера, в конце концов, политические манифесты. Дело запутывают кажущиеся разрывы в тезаурусе, появление новых понятий и категорий, как будто взятых «из ниоткуда» и никак не связанных с ранее полученными результатами. А еще — умение выйти в речи на рубежи предельной ясности и резкости высказывания, и в смысле фокуса, и в смысле формы, которое, однако, резонировало в письме осторожностью и даже иносказательностью.

Чтобы распутать этот клубок, следует начать с тезиса, который сегодня понять сложнее всего. Гефтер никогда не высказывал «мнений», ни устно, ни письменно. Для него любое высказывание были этически фундированным поступком, обязывающим к действию. Увязывая между собой «Историзм и проблему исторического действия» (название его статьи, написанной для «Нового мира», но неопубликованной), он доводил эту связь до императива: раз Ленин «должен был попытаться» реализовать свою интеллектуальную жизнь в событии, тем самым и он, Гефтер, обязывался к опасному (для себя) мышлению.

Гефтер руководствовался беспрецедентной для своего века доктриной «речевого поведения», термин, заимствованный им у Выготского, но означающий нечто другое. Аналог «речевого поведения» Гефтера можно найти в интерпретации паррессии, данной Мишелем Фуко. То, что делает парресиаст, Фуко характеризует следующим образом: «Со времен Декарта совпадение убеждения и истины должно, с нашей точки зрения, достигаться в определенном ментальном опыте, которым является очевидность. С точки же зрения греков, совпадение убеждения

и истины достигается не в ментальном опыте, каковым является очевидность, а в речевой деятельности, которую и представляет собой парресия», «в парресии выполняется точное совпадение между убеждением и истиной» (Фуко, Карелечкин, 2020: 97). И еще: «парресиаст говорит нечто опасное [...] Я говорил не о языковом акте, а о языковой деятельности» (там же: 104), «парресия это полное саморазоблачение в своеобразном признании» (там же: 126). Последнее — принципиальный момент для Гефтера, поскольку признание соучастника истории в преступлении есть не покаяние, а нечто большее и высшее. Фуко пишет, что «роль парресиаста встречается среди таких фигур как моралисты и социально-политические критики» (там же: 131). Гефтер добавляет в список фигуру историка, ответственного за обращение с агентным прошлым в интересах настоящего и будущего.

Любые высказывания влекут ответственность, как и любые поступки, и они не могут быть просто так высказаны и взяты назад. Пересмотр позиций возможен, но он требует еще большего усилия, не очевидности новой истины или нового выбора, например, в форме озарения, а разбора причин, по которым такой выбор нужно сделать, причем именно сейчас. Упрямство Гефтера в этом вопросе дорого ему стоило. После XX съезда некоторые называли его «сталинистом». Он занял «непрогрессивную» позицию в конфликте вокруг «дела Бурджалова» и «Вопросов истории» в 1956 году и настаивал, что нужно сначала отрефлексировать сталинское руководство как феномен, порожденный революцией и советской властью, и только потом, если это будет оправдано, осудить Сталина.

После разгрома по указанию ЦК созданного Гефтером в Институте истории АН СССР Сектора методологии истории он мог бы попросту забросить Маркса и марксизм: от обиды, от переживаний, связанных с событиями 1968 года, началом «застоя» и так далее. Гефтер действительно двинулся в сторону от ортодоксального марксизма, но он сделал свой отход от Маркса предметом скрупулезной рефлексии, теоретической и биографической проблемой. Немногие из современников, столкнувшись с проблемой «засахаривания» теории и превращения ее в «учение», решились на это. Гефтер создал важный прецедент, и в серии текстов, написанных в 70-х годах (см. например, Гефтер, 1991), показал новые способы прочтения Маркса. «С Марксом у меня общий предмет — человечество. Я свой предмет в окно не швырял», говорил Гефтер в октябре 1993 года (Павловский, 2015: 30).

Если уместна метафора, то речь про дом, который не перестраивался и в котором не было заколоченных или заброшенных комнат. Дом

достраивался, менялась перспектива, открывающаяся из него, но Гефтер никогда не сжигал то, чему поклонялся, и не поклонялся тому, что раньше сжигал (не столь важно, сошлемся мы тут на Тургенева или на Вяземского). Если Гефтер написал меньше текстов, чем мог и хотел бы, то не потому, что тяготился тем, что думал и писал десять, двадцать или сорок лет назад. Его осторожность в письме объясняется вовсе не желанием «обойти» решение, к которому не хочется или неудобно возвращаться. Здесь снова возникает проблема парресиаста, который «противостоит и риторике, [...] и выводу, и строгости доказательства» (Фуко, Карелечкин, 2020: 63), а значит, способен действовать полноценно прежде всего и именно в речи.

Отсюда следует еще одно важное пояснение. Теоретические построения Гефтера могут показаться эклектичными. Но это тоже результат следования его собственным правилам. Гефтер практиковал «запрет на уступку — не какую-то частную, отдельную, а на уступку, которая, вобравшись внутрь и уютно устроившись в том месте, где у человека предполагается душа, начинает исподволь управлять его поступками и мыслями: от первых приползая ко вторым, а затем все чаще и все приметней от вторых к первым» (Гефтер, 2000: 7). Упрощение мысли — уступка, а значит, теория не должна стать результатом серии редукций, уступок, отказов, даже если они оправданы и удобны, например, для простоты и ясности изложения. Теория не может блеснуть на солнце отполированными деталями, это усложняющийся, испачканный и постоянно находящийся в работе инструмент.

Топливо мысли Гефтера — вопросы, а не ответы. Он не выкладывал кирпичную стену аргументов, один ряд, затем другой. Скорее, выложив один ряд, тут же сам испытывал его на прочность новыми вопросами. Отсюда его склонность в речи на ходу производить категории и концепты: они фиксируют не результаты абдуктивного рассуждения, а напряжения, схваченные через сознательно умножаемые вопросы. Вопросы удерживают теоретическое рассуждение от превращения в догму: «И тут и там не ответы, а лишь всегда вопросы. Вопросы, несводимые воедино» (там же). В этом смысле, любое усилие по реконструкции фрагмента «теории» Гефтера будет именно что насильственным: «не надо меня спрямлять», — его собственные слова.

Вопросы — ключ к пониманию сути работы историка, с точки зрения Гефтера. Во-первых, в предметном смысле. «Чаадаевский вопрос» об отношениях России и мировой истории, по мнению Гефтера, движет политической философией Пушкина, а затем Герцена и чуть ли

не Ленина, через «Апологию сумасшедшего» Чернышевского. Вопрос Рахметова о нужности таких, как он, людей-монстров, «страшных людей», для запуска широкого общественного движения — «перепахал» молодого Ульянова. Во-вторых, в методологическом. Одно из наиболее устойчивых различий, проводимых Гефтером, это различие между «прошлым» и «тем, что было». Симметричное различие он проводил между «вспоминанием» и «памятью»¹. Память, как и «то, что было», регистраторы, индексы, хранилища, архивы. Это не история, поскольку история «не энциклопедия описаний» (Павловский, 2015: 49). Воспоминание как усилие — ближе к сути того, что делает историк. Вопросы погружают историка в исследуемую проблему и позволяют представить ее как пространство действия, как сцену, а не как архивный индекс. Исходя из презумпции возможности для человека активно присутствовать в истории и действовать полноценным образом, Гефтер требовал того же от историка: представляя, исполняя историю.

Чтобы понять это, нужно преодолеть современное табу на идею, что происходящее может быть осознано и что альтернативы ему всегда, на самом деле, ясны, по крайней мере, в радиусе жизненного мира действующего. Мы исходим из предпосылки, что историческое время — это хаос представлений, чаще всего опрометчивых, ошибочных, но притом действительных². Но *Homo historicus* Гефтера предполагает существо, живущее в истории и творящее историю. Ни действующий, ни историк никогда не являются просто свидетелями внешнего по отношению к ним процесса. Человек имеет право, амбицию и интеллектуальные средства *отвечать* на исторический вызов, вторгаясь в «спонтанный» ход событий и настаивая на правах субъекта истории. То же историк делает по отношению к «прошлому», которое, строго говоря, с точки зрения Гефтера, не статично и не всегда находится у нас за спиной. Последний из тезисов о Фейербахе Гефтер воспринимал как методологическую установку.

Отсюда можно перейти к сложностям с вписыванием мысли и теоретических наработок Гефтера в стандартные сетки координат: метод и концептуальный аппарат, онтология и эпистемология, предмет и объект исследования, и так далее. Дело не в том, что все было смешано

¹ Например, в интервью Андрею Караулову в марте 1990 года.

² В тексте 1975 года, который мы разбираем ниже, Гефтер приводит следующий пример: ошибка немца Гастгаузена насчет самоуправляемости русской общины (раз самоуправляема, значит, маленькая республика) порождает затем теорию русского социализма, теорию Герцена, имеющую огромные последствия для судеб империи (Гефтер, 1975: 59).

в кучу, совсем нет. Просто различия работали иначе, чем мы можем себе сегодня представить. Метод был связан с этикой *действия и ответственности*, с этикой же был связан и концептуальный аппарат. Говоря о неэтичном поведении исследователя, мы сегодня имеем в виду манипуляции с архивами, натяжку данных на «нужный» результат, плагиат. Для Гефтера неэтичным было спрямить аргумент, замести под ковер неудобный вопрос, всплывший посреди «озарения», упростить отношения между понятиями, чтобы донести мысль или получить нужную реакцию собеседника.

Гефтер интересовался «гносеологической», как называли тогда эпистемологию и теорию научного познания, проблематикой, но, судя по текстам, не считал ее первым предметом беспокойства историка. Вымышленные персонажи русской литературы XIX столетия, эпистемологические инструменты русской мысли, для Гефтера были вполне реальными историческими сущностями, более реальными, возможно, чем соседи по дому в Черемушках. В треугольнике «история — культура — повседневность», по Гефтеру, это базовая антропологическая развертка, с которой историк имеет дело, онтология не приписана к какой-то из вершин. В «Заметках на полях»³ к тексту Мартина Хайдеггера «Образ мира и его эпоха»⁴ Гефтер указывает на неточность в мысли Хайдеггера. Если разница между историей и естественными науками состоит в характере посылок, первая не нуждается в аксиомах, то тогда совсем не любое «опредмечивание прошлого» в истории выхолащивает это прошлое: сознательное, или иначе, если по Марксу, осознанное опредмечивание, ведет к критике прошлого и преодолению настоящего, так что историк совершенно не обязательно оказывается заложником постава.

Может сложиться впечатление, что ход мысли Гефтера, по большей части, был «холостым», опровергающим сам себя или удерживающим этическую установку. Это совсем не так. Его теории работали. Его тезис о «неслучайности Сталина» в судьбе русской революции широко распространился в 60-х годах, повлияв на разных людей, от режиссера Юрия Любимова до интеллектуалов в ЦК КПСС Анатолия Черныяева и Александра Яковлева и руководителя Итальянской компартии Энрико Берлингауэра. Задолго до того, как понятия «глобальный Юг» и «глобальный Север» переключались из тезауруса *development studies*

³Копия машинописной рукописи предоставлена авторам М. Я. Рожанским.

⁴Опубликован на русском языке в 1976 году в реферативном сборнике «Современные концепции культурного кризиса на Западе» в переводе Владимира Библина.

в справочники Всемирного банка и статьи антропологов и социологов, Гефтер утверждал, что наиболее массовая и разрушительная волна беженцев и перемещенных лиц двинется с юга на европейский север, а не с востока на запад, как считалось сразу после падения Берлинской стены. Гефтер не уставал повторять, что монополизм унифицированных реформ правительства Ельцина-Гайдара (сегодня мы бы сказали «неолиберальная экономическая политика») приведет к пересозданию «социума власти» в России, иначе — специфической и исторически контингентной локальной модели правительности (Дин, Писарев, 2016), а не уничтожит ее.

Пожалуй, наиболее важным для дня сегодняшнего преимуществом концептуального аппарата Гефтера была способность продуктивно работать с проблемой финальности, идет ли речь о «конце истории» Фукуямы или «неизбежности» глобализации. Сделав эти мантры (так похожие на нынешние, вроде «мир после пандемии никогда не будет прежним») предметом острого сократического вопрошания, Гефтер утверждал, что и глобализация, и «конец истории» — не эмблемы торжества либерального мира, а симптомы его скорого упадка, поскольку само его существование и его претензия на универсальность были не причиной, а следствием биполярного мироустройства. Человечество не погружается в умиротворяющую кому потребления, свободной торговли и ветвящихся цепочек добавленной стоимости, свободно пересекающих границы государств и континентов. Напротив, события-разрывы происходят теперь буквально каждый день, но арсенала истории у Homo Sapiens под рукой может уже не быть. Сегодня это называют глобальным или «поздним» капитализмом: «„конец истории“ означает просто, что происходит все что угодно» (Джеймисон, Кралечкин, 2019: 629). Гефтер задолго до Фукуямы также называл это «концом истории», и, исходя из этого, говорил, что «третьего тысячелетия не будет».

«МАРКСОВ КONTИНУУМ»

Текст, являющийся теоретическим фундаментом наших построений, сохранился в машинописном черновике под заголовком «Заметки в связи с одной старой, но не устаревшей дискуссией»⁵. Это последний текст Гефтера, писавшийся им как ученым и для ученых. Тогда он уже не

⁵Копия машинописной рукописи предоставлена авторам М. Я. Рожанским, пагинация приводится по этой копии.

оглядывался на советскую науку, текст адресован западным историкам-марксистам, прежде всего, Эрику Хобсбауму. «Заметки...» начинаются с отсылки к полемике, начавшейся за двадцать пять лет до их написания, в 1950 году, известной как Доббов симпозиум. Поводом для нее стали несколько тезисов английского экономиста Мориса Добба⁶, учителя Хобсбаума, по проблеме перехода от феодализма к капитализму. Доббу ответил ученик Шумпетера и учитель Теодора Шанина историк и экономист Пол Суизи, затем к дискуссии присоединились японский историк Кохахино Такахаши и его английские коллеги Родни Хилтон и Кристофер Хилл.

В значительной степени огрубляя ход этой дискуссии (*The Transition from Feudalism to Capitalism*, 1963), можно сказать, что дебатировался следующий вопрос: являются ли предпосылки перехода от феодализма к капитализму внутренними, связаны ли они только с распадом самой этой «формации», или в эти предпосылки нужно включать и какие-то иные элементы, зарождение протокапитализма, например? И шире — что, собственно говоря, есть эти «предпосылки» и «переход»? Добб полагал, что предпосылки были исключительно внутренними, Суизи, напротив, сначала решительно, затем с чуть меньшим пафосом, возражал. Когда дело дошло до публикации сборника, Добб в предисловии смог зафиксировать лишь один пункт, по которому удалось договориться: исторический материализм — живая развивающаяся теория, а не догма, предлагающая лишь «стереотипные ответы на набор заранее известных вопросов» (*ibid.*: 5).

В тексте «Заметок...» Гефтер не отвечает каждому из участников симпозиума, а отталкивается от возникшего в результате коллективной работы перечня нерешенных, но зато теперь внятно поставленных теоретических проблем. И суммирующего тезиса Добба об антидогматичности марксистской исторической мысли. Задача, которую пытается (в очередной раз) решить Гефтер: примирение исторического материализма с идеей «многовариантности истории» (Неретина, 2008: 219). Многовариантности, или контингентности, как бы мы сказали сегодня, и фактов — было так, но могло быть и иначе, — и исторической последовательности как таковой. Вот его собственная формулировка задачи: «Можно ли познать прошлое иначе как отталкиваясь от того, что оно собой „подготовило“». Речь идет существенным образом и о событии тоже: «Под вопросом [...] возможность изучать [...] „закон“

⁶О работах Добба см., например, Shenk, 2013

вне „события“» (Гефтер, 1975: 3). Такая версия исторического материализма должна дать теорию и инструменты для изучения «„задним числом“ непредуказанности прошлого или — как это ни парадоксально звучит — законов специфически (и эволюцией человечества созданной) непредуказанности.» (там же).

У предложенного Гефтером решения несколько теоретических источников. Один можно определить точно — это структурализм, поскольку Гефтер в тексте дает свою интерпретацию базового различения диахронии, синхронии и «третьего времени» из «Структурной антропологии» Леви-Стросса. Второй — новое прочтение Маркса, возможно, частично опирающееся на подход, предложенный Луи Альтюссером десятью годами ранее. Обе идеи — вернуться к Марксу и совместить его идеи со структурализмом — активно обсуждались советскими философами в конце 60-х годов как взаимодополняющие⁷.

Существенное сходство предлагаемой Гефтером версии прочтения Маркса с альтюссеровской состоит в том, что исторический материализм Маркса нужно противопоставить историософии Гегеля, а не сблизить с ней, чтобы опровергнуть тезис, будто марксистская версия истории — это механико-детерминистская докса, где роль демона Лапласа играет Гегель, сам Маркс, Владимир Ленин или Иосиф Сталин. Бенедетто Кроче сформулировал эту претензию еще в конце 40-х годов (напр. Стосе, 1949: 64–67). Значит, нужно доказать, что исторический материализм не наследует детерминистские обертоны философии истории Гегеля и не заменяет в ней идеализм на материализм в его ньютоновском понимании.

В статье «Противоречие и сверхдетерминация», опубликованной в сборнике «За Маркса» в 1965 году, Альтюссер, характеризуя философию истории Гегеля пишет, что в ней «прошлое никогда не бывает смутным или непроницаемым, оно никогда не может стать препятствием. Оно всегда может быть переварено, поскольку оно всегда уже переварено заранее» (Альтюссер, Денежкин, 2006: 167). Сравним с Гефтером: «Не прав ли Гегель: „Начало продолжает лежать в основе всего последующего и не исчезает из него“ [...] Сейчас время сказать — совсем не так» (Гефтер, 1975: 22).

⁷М. К. Мамардашвили говорил об этом во время обсуждения статьи Луи Альтюссера «Историческая задача марксистской философии» с членами редколлегии журнала «Вопросы философии» в 1968 году (*Встреча* 2016: 46–54).

Следующий вопрос: что сделать точкой опоры в текстах Маркса и на какие именно тексты опереться? Точнее, нужно выбрать, о каком Марксе должна идти речь. В том же тексте Альтюссер вводит понятие «свердетерминированного противоречия», которое задано как теоретико-философское и наполняется историческим содержанием: *«противоречие Капитал-Труд никогда не бывает простым, [...] оно всегда приобретает специфическую определенность благодаря конкретным историческим формам и обстоятельствам, в которых оно выражается и действует»* (Альтюссер, Денежкин, 2006: 153). Это противоречие (капитал-труд) устроено намного сложнее Гегелевского противоречия, это уже не в чистом виде логическая категория: «являясь детерминантой, в то же время само детерминировано, причем детерминировано различными уровнями и различными инстанциями общественной формации, в которую оно вдыхает жизнь: мы могли бы сказать, что оно всегда принципиально свердетерминировано.» (там же: 145–146).

Но тем не менее очевидно возражение, отправляющее обратно к той критике, что была высказана Кроче и многими другими. Если историческое развитие невозможно без наличия базового, не простого, но все же базового противоречия, пусть и не вида «капитал-труд», свойственного только капитализму как «экономической общественной формации», а какого-то иного вида, само по себе это противоречие вынужденно, логически, полагается вне истории: «Если бы такая детерминация была истиной, действительной *для каждого общества*, связь между такой детерминацией и условиями, делающими ее возможной, не развивалась бы через контингентную историческую артикуляцию, но представляла бы априорную необходимость» (Laclau, Mouffe, 2001: 98). В карикатурном виде решение Альтюссера сводит всемирную историю к приключениям пары классов-антагонистов, которые, меняя наряды, путешествуют во времени.

Не ведя полемику напрямую с Альтюссером, Гефтер пишет, что у марксистской философии есть существенный изъян: «Будучи марксистами, мы предрасположены прежде всего искать связь мысли с действительностью» (Гефтер, 1975: 27), то есть отождествлять историческую реальность с теоретической моделью, а объективный процесс развития — с процессом революционных преобразований. Историк-марксист оказывается заложником своих теоретических ожиданий (там же: 5):

...в самом превращении всемирно-исторической «вертикали», хотя бы неполной, в современную «горизонталь» он вправе усмотреть нечто хорошо знако-

моему. Именно: идеальный (в философском, логическом) смысле образ мира, каким он представлялся в свое время Марксу. Правда, мы уже давно и не вполне заметно для себя сблизили этот идеальный образ мира с исторической реальностью, притом определенного отрезка времени, когда стремительное развитие революционного процесса внушало надежду, что он вот-вот превратится в буквально всеобщий, а его содержание полностью и прямо воплотит закон восхождения = превращения высшей-последней фазы капитализма в социализм [...] Таким образом, синхронизировались [...] скорее формы и уровни революционного действия, революционной «субъективности», чем различные типы жизнедеятельности, «объективного» «общественного развития».

Отождествление приводит к тому, что история (через теоретический идеал) и современность (через субъективную революционность) «спрямляются» марксистской теорией, а между теорией и историей «не вполне заметно» устанавливаются отношения гомологии. Исчезает возможность не только постигать законы «непредуказанности» (или «контингентность исторической артикуляции», как в приведенной выше цитате из опубликованной в 1985 году книги Эрнесто Лаклау и Шанталь Муфф), но и наблюдать ее.

За точку отсчета Гефтер принимает черновик Маркса, сделанный на ранних подступах к «Капиталу», примерно за год до начала работы над текстом «К критике политической экономии», так называемое «Введение» (Маркс, Айхенвальд, 1958: 709–738). Среди прочих, Маркс задается эпистемологическим вопросом: насколько годны труд и капитал как конкретные категории буржуазного общества для исторического анализа? Ответ отрицательный (там же: 732):

Поэтому, если правильно, что категории буржуазной экономики заключают в себе какую-то истину для всех других общественных форм, то это надо принимать лишь *cum grano salis* [со щепоткой соли]. Они могут содержать в себе эти последние в развитом, в искаженном, в карикатурном и т. д., во всяком случае в существенно измененном виде.

Важно: не прототипы труда и капитала в рудиментарном виде в предшествующих ему формах, например, базовое противоречие, а напротив, эти самые формы в изувеченном виде — в капитале и труде. Обратное — не буквально, но логически совпадало бы с аргументом Альтюссера и валидировало его. Следовательно, капитал начинает себя сам: «Капитал — это господствующая над всем экономическая сила буржуазного общества. Он должен составлять как исходный, так и конечный пункт» (там же: 734). Гефтер опирается на два этих тезиса Маркса. Сформулированный эксплицитно: капитал и труд в буржуазном обществе

включают в себя рудименты предшествующих общественных форм, которые не знали такого труда и такого капитала. И имплицитно: капитал сам по себе своя собственная причина (Гефтер, 1975: 8):

Маркс подчеркивал, что это движение [понятия «капитал» — прим. авторов] происходит на собственной основе — не только в логическом смысле [...], но и в ином смысле, который в равной мере может быть назван историческим и аисторическим. Ибо — сама основа этого универсального движения им же самим и создается. История без предыстории: генезис как «самопроисхождение», в этом смысле только историческая основа, противостоящая естественному фундаменту тех форм и способов жизнедеятельности, которые Маркс объединял общим наименованием органический строй.

Но тезис о «самопроисхождении» нуждается в дополнительной теоретической проработке. Гефтер вводит аксиоматическое различие: «Практическое движение — все в настоящем, в историческом настоящем. Теоретическое же не знает настоящего, а только идеальное будущее и идеальное прошлое. И то, и другое, прошлое и будущее, — запредельны миру товаров» (там же: 20). Речь о разных, на этом этапе не связанных темпоральных планах, а не о разных видах агентности. Практическое движение капитализма, его «абсолютное движение становления» (там же: 22), берется Марксом в эксплуатации, восемнадцатичасовом рабочем дне, детском труде, отчуждении, классовой борьбе, противоречии «труд-капитал» и так далее. Здесь нужны анализ прибавочной стоимости, разбор товарного фетишизма и ложного сознания, теория антагонизма-противоречия и классовой борьбы.

Эти инструменты могут, в частности, указать логические пределы развития капитализма, которые могут стать историческими, а могут и не стать. В этой связи Гефтер, например, ссылается на поставленную Марксом в третьем томе «Капитала» проблему земельной ренты и неизбежной неустойчивости структуры капиталистического общества, в котором есть буржуазия, пролетариат и земельные собственники, но нет места крестьянству. Однако эти инструменты не могут указывать античности, феодализму или коммунизму, какими они должны были быть или должны будут быть, поскольку они ни к чему, кроме «исторического настоящего», не применимы. Капитализм — не продукт самоотрицания феодализма, положительный гуманизм, хотя это и выглядит как парадокс, не продукт самоотрицания капитализма, в обоих случаях самоотрицание — важное условие, но не порождающая причина. Иначе —

снова призраком гегелевского начала, которое всегда лишь возвращается к себе самому. Это первый из двух смыслов «непредуказанности», многовариантности истории: инструменты анализа капитализма и его законов не ректроактивны.

Теоретическое движение устанавливает отношения между «будущим» и «прошлым»⁸, которые связаны в полюсную структуру (Гефтер, 1975: 22):

Будущее и прошлое полярны — и едины своей полярностью. Это не застывшие во льдах купола земли, а плюс и минус магнита, индуцирующие силовое поле — оно пульсирует, постоянно меняет очертания, кажется внешне независимым. Так теоретическое движение производит собою (и «отражает» собою) настоящее.

Историко-теоретическая задача Маркса состояла в том, чтобы дать, как пишет Гефтер, «строгую теорию преобразования будущего в прошлое» (там же). Что это значит? В цитированном выше тексте Маркса есть пассаж, который, кажется, понимать можно только иносказательно: «Мужчина не может снова превратиться в ребенка, не впадая в ребячество. Но разве его не радует наивность ребенка и разве сам он не должен стремиться к тому, чтобы на более высокой ступени воспроизводить свою истинную сущность?» (Маркс, Айхенвальд, 1958: 737). Гефтер интерпретировал это буквально как указание относительно онтологии истории и способа ее преобразования. Он обращает внимание, что в последние годы жизни в переписке с русскими революционерами Маркс «внушал им», что «не следует бояться слова „архаический“» (Гефтер, 1975: 21). Зачем? Потому что будущее это копия прошлого? Нет. Речь не про отождествление коммунизма с русской крестьянской общиной, хотя примордиализм можно, при желании, обнаружить и у Маркса. Исходя из анализа становления «исторического настоящего», историк должен различать два связанных отрицания капитализма: то, что было до него, и то, что может быть после. Различать, иначе второе будет тождественно первому, и тогда все, что можно сказать относительно «будущего-прошлого», будет банальностью, вроде «первые христиане были коммунистами». И различать каждый раз по-разному, поскольку само «историческое настоящее» все время изменяется.

⁸Предикат «идеальный» в данном случае означает, что вся полнота прошлого и будущего не доступна познанию, а не их идеализацию.

Из синтеза этих двух способов «взятия» истории возникает концептуальное ядро предлагаемой Гэфтером в середине 70-х версии исторического материализма — понятие «диахронической синхронии» (Гэфтер, 1975: 6):

Предполагая, что в глазах Маркса мир истории являл собой диахроническую синхронию, при которой прошлое-настоящее-будущее не только разверстаны во времени, но и существуют рядом, вместе, не столько параллельно, сколько одно в другом, в неотделимой связи и в конфликте друг с другом, — я не утверждаю, что таков, буквально, текстуально взгляд автора «Капитала». Я хочу лишь сказать, что при другом отношении к истории логика и архитектоника «Капитала» должны были бы быть другими.

СОБЫТИЕ МЕЖДУ ДИАХРОНИЕЙ И СИНХРОНИЕЙ

Получив на руки новую развертку исторического материализма, перейдем к событию. Где, на какой из осей этой развертки, происходят события? Гэфтер, например, говорил о «цепной синхронии неоднородных связей и событий» (Павловский, 2004: 22). Значит ли это, что события происходят на оси синхронии? В другом своем тексте начала 70-х «История и экономика: соединимы ли в едином предмете исследования»⁹, Гэфтер вводит два важных для нашего исследования различения (Гэфтер, б. д.: 13):

А как же события? Лишена ли их эпоха органического строя? Нет, разумеется. [Но, по-видимому, и слово «событие» нужно употреблять с той же историчностью, какой требует применение таких понятий, как «базис», «надстройка», «экономика», «гражданское общество».] Событие здесь — сколок с природы противоречий, о которых мы только что говорили. В событии ничего не создается, оно по существу ничего не меняет. Таковую событийность можно уподобить вулканизму. Заданность разрушается. Рушатся империи, уходят в небытие цивилизации, песок пустынь погребает их, подобно лаве вулканов. Но там, где они возникают снова, они начинаются с того, чем окончились.

Значит, вместе с такими понятиями, как «капитал» и «труд», понятие события имеет некоторый предел ретроактивности. Если для первых этот предел — возникновение капитализма как общественной формации (отдельный вопрос — методологическая сноровка историка, способного отделять в прошлом капиталистические феномены от феноменов других формаций), то каков этот предел для понятия события? В том же тексте

⁹Копия машинописной рукописи предоставлена авторам М. Я. Рожанским.

Гефтер определяет еще одно конститутивное свойство исторического события (там же: 7):

...ни рассуждения о том, что законы истории действуют через людей, ни оживление истории с помощью «человеческих» заставок и инкрустаций не сохраняют место для человека, если при этом прямо или неявно отвергается суверенность события — материализованного исторического действия.

Здесь снова мы вполне легитимно можем провести параллель с Альтюссером. В тексте «Приложения» к «Противоречию и сверхдетерминации», который был написан в те же годы, но опубликован только в 1996 году (Гефтер его не мог знать), Альтюссер критикует решение проблемы события Энгельсом (Энгельс, Айхенвальд, 1965: 393–397), и утверждает, что саму постановку вопроса о событии нужно радикально пересмотреть (Альтюссер, Денежкин, 2006: 183):

...следует (наконец-то!) изменить порядок постановки проблемы, следует поставить эту проблему по-иному. [...] мы никогда не сможем объяснить историческое событие [...], — если будем стремиться породить (неопределенную) возможность неисторического события. То, что делает то или иное событие историческим, — это отнюдь не тот факт, что оно является событием, но то, что оно встроено в формы, сами являющиеся историческими, в формы исторического как такового (формы базиса и надстройки) [...] Событие, которое определяется этими формами, которое способно быть определенным ими, которое является для этих форм возможным содержанием, которое на них воздействует, их затрагивает, укрепляет их или производит в них переворот, которое их провоцирует или которое провоцируют, отмечают или даже избирают они сами, — таково историческое событие.

Нет игры индивидуальных волей, которые сила классовой борьбы суммирует в результирующий событием вектор. Есть отбор. Если связать процитированный фрагмент с понятием сверхдетерминированного противоречия, можно заключить, что противоречие и есть та форма, что производит этот отбор. Собственно, эта форма делает нечто большее, поскольку вопрос о «просто событии» должен быть снят с повестки. Когда существует гомология между условной «ситуацией» и сверхдетерминированным противоречием, мы получаем шанс исторического события, без нее нет даже шанса, речь про мусор истории, ее отходы. Но Гефтер себе этот путь уже закрыл. События делятся на исторически и не исторические через конститутивное свойство первых — историческое действие, а не за счет гомологии с базовым антагонизмом. К тому же, исторические события были не всегда, человек существовал, он

претерпевал что-то и даже что-то делал, но это были спорадические всплески «вулканизма», а не события.

Значит, нужно вернуться к осям диахронии и синхронии. Диахронию Гефтер определяет так: «одна эпоха в затылок другой, строгая лестничная субординация, жесткая последовательность, которая даже не отвлечение от исторических фактов, а будто бы прямое отображение действительного хода событий...» (Гефтер, 1975: 50). В тексте «Заметок...» нет дефинитивного определения синхронии, возможно, Гефтер не хотел себя им связывать. Но попробуем его реконструировать по отрывку, который предворяет еще одно определение диахронической синхронии как «Марксова континуума» (там же: 17):

...теоретический радикализм, теоретическая — бескомпромиссная последовательность не вправе ограничивать себя «историческим фокусом своего времени». Закрытые на настоящем, они обрекают развитие на «развертывание» — безначальное и бесконечно тождественное себе. Тождественность, исключаящая самопроисхождение-проблему, исключает и всемирную историю. Ибо о последней можно говорить лишь постольку, поскольку генезис в новом и специфическом его смысле превращается в норму, в закон движения человеческого общества. Так рождается Марксова диахроническая синхрония.

Развитие как простое «развертывание», замкнутость на настоящем, на фокусе своего времени. Можно ли тогда сказать, что ось диахронии — это ось «будущее-прошлое», а ось синхронии — «историческое настоящее»? В «Заметках...» Гефтер, рассуждая, как вообще мыслима развертка диахронической синхронии, пишет (там же: 9):

Логически лишь движение капитализма на его же основе, движение, которое для этого само — предварительно — должно стать полным, абсолютным. Однако, чтобы стать таким, ему, очевидно, нужно время и *не нужно* ничего, кроме него самого. Не нужны обломки, остатки, пережитки «не-капиталистического» прошлого — не нужны для самопроисхождения, для главной, универсализирующей работы. Что же, в таком случае, универсализируется — что и во имя чего? Заколдованный круг. Причина отделена от результата. Мало того: результат (превращение в капитализм всего прежнего, всего «до») предшествует причине (становлению *мира товаров*). Будущее почти мистическим образом оказывается одновременно и впереди, и позади настоящего. Прошлое, соответственно, — позади и впереди его. Но так выглядит эта дважды перевернутая последовательность лишь в «обычном» временном измерении. Требуется же, видимо, что-то непривычное, чтобы реконструировать и понять

ее. Может, разгадка в природе исторического времени, в особой реальности его, представленной свойствами, которых лишено «физическое» время.

Это различие поможет сблизить оси диахронии и синхронии с осями «будущее-прошлое» и «историческое настоящее». Сами по себе диахрония и синхрония — это гетерогенные оси «физического» времени. Но когда они оказываются связаны в историческом времени, они становятся «будущим-прошлым» и «историческим настоящим». Речь таким образом про так называемое «третье время», которое вслед за Клодом Леви-Строссом искали и в герменевтике, например, Поль Рикер. Гефтер выучил французский в начале 70-х и знал текст «Структурной антропологии»¹⁰ (1958), где Леви-Стросс соотносит диахронию и синхронию с двумя режимами темпоральности, соответственно обратимым и необратимым (Леви-Стросс, Иванов, 1985: 186):

Проводя различие между языком и речью, Соссюр¹¹ показал, что язык можно рассматривать в двух взаимодополняющих аспектах — структурном и статистическом: язык обратим во времени, а речь во времени необратима. Но если возможно выделить в языке два вышеназванных уровня, то нет ничего невероятного в том, что нам удастся найти и третий. [...] Мы только что дали определение языка и речи через временные системы, к которым они соответственно относятся. Миф также использует третью временную систему, которая сочетает в себе свойства обеих названных временных систем. Миф всегда относится к событиям прошлого: «до сотворения мира» или «в начале времен» — во всяком случае, «давным-давно». Но значение мифа состоит в том, что эти события, имевшие место в определенный момент времени, существуют вне времени. Миф объясняет в равной мере как прошлое, так и настоящее и будущее.

Затем Леви-Стросс проводит параллель между мифом и «политической идеологией»¹². Для историка Французская революция — это «целый ряд прошедших событий, отдаленные последствия которых, безусловно,

¹⁰Русские переводы фрагментов этой работы в машинописных копиях были в обороте с конца 60-х, в 1980 году краткое изложение «Структурной антропологии» было опубликовано в реферативном сборнике ИНИОН АН СССР (Для служебного пользования. Экз. №00315. Клод Леви-Стросс. Структурная антропология (сборник переводов). М.: ИНИОН АН СССР, 1980) — источник: Владимир Бибахин. Для служебного пользования (с) Бибахин В. В., наследники (1999)

¹¹Русский перевод «Курса лекций общей лингвистики» впервые опубликован в 1933 году.

¹²В английском оригинале статьи, речь не о политической идеологии, а просто о политике, «politics» (Lévi-Strauss, 1955: 428–444).

ощущаются и нами, хотя они дошли до нас через целый ряд промежуточных необратимых событий» (там же). То есть историк имеет дело с синхроническими срезами сцепленных одновременных событий, которые даны как фотоотпечатки, нет последовательности событий, есть последовательность отпечатков их реляционных одновременных связей, необратимых внутри себя срезов¹³. Но политик в речах говорит совсем о другом, для него революция как «последовательность прошлых событий остается схемой, сохраняющей свою жизненность и позволяющей объяснить общественное устройство современной Франции, его противоречия и предугадать пути его развития». Этот мифо-политический уровень темпоральности «можно рассматривать как нечто абсолютное» (Леви-Стросс, Иванов, 1985: 186).

Таким образом, сопряжение диахронии и синхронии происходит или только в мифе, или только на верстаке историка. Революция, возможно, была. Это решать историку. Для политика же революция абсолютна¹⁴, поскольку в мифе обратимые события прошлого замирают в мгновения вечности. В «Неприрученной мысли» Леви-Стросс пишет: «мифологическое мышление, этот бриколер, разрабатывает структуры, расставляя события или скорее, остатки событий» (Леви-Стросс, Островский, 2008: 175). Время мифа, таким образом, связывает оси диахронии и синхронии через «схему» события — уже случившегося или того, которое должно с неотвратимой неизбежностью случиться в будущем. Так время мифа укрепляет диахроническими событиями синхронию повседневности и культуры, то есть структуру, но ценой того, что обратимые события становятся «вечными». Время мифа, domesticiруя события, позволяет им быть агентными, позволяет им случаться и причинять, но всегда в вечности. И никогда наоборот — время мифа не позволяет творить события здесь и сейчас.

Различие между историей и мифом — инструмент мысли Гефтера, который он тоже никогда не швырял в окно (Павловский, 2015: 52):

Если поделим человеческую историю на части, не сопоставимые по времени, но в чем-то близкие по важности, то первый, гигантской долготы отрезок

¹³Это очень близко, например, к решению Мишеля Фуко в «Археологии знания» или к идеям «Кембриджской школы».

¹⁴Такое решение предложил А. М. Пятигорский в коротком лекционном курсе «Что такое политическая философия», прочитанном в феврале 2006 года в Москве (Пятигорский, 2007).

был Homo mythicus. Человек Мифический не изобретает мифы, он в мифе живет. Миф как способ жизни человека.

История — тоже способ жизни человека. И, как и миф, конечный, исчерпываемый или исчерпывающий себя способ. Это может обосновать следующий наш ход. Вводимое Гефтером историческое время контрадикторно противопоставлено времени мифа Леви-Стросса, это его инверсия, а не отрицание, не «не-миф», а «анти-миф». Как и время мифа, историческое время соединяет синхронию и диахронию, разорванные в «физическом» времени. Но делает это принципиально иным способом. Если время мифа абсолютно, историческое время относительно. Если время мифа — это универсальная схема, то историческое время плюрално, то есть возможны сосуществующие, переводимые друг в друга, но структурно не тождественные разные «исторические времена» Время мифа позволяет диахроническому событию укрепить синхроническую структуру. Историческое время позволяет «материализованному действию», став событием, разрушить структуру. Если использовать совсем другой теоретический язык, время мифа позволяет только событиям означивать структуру, а историческое время позволяет синхронии, структуре, означивать события диахронии.

Итак, мы, кажется, смогли ответить на вопрос, что является онтологией диахронической синхронии — развертка исторического времени. Относительно события выяснили, что оно состоит из действий. Различим теперь историческое время как развертку «будущего-прошлого» и «исторического настоящего» и историю в предметном, техническом даже смысле. По Гефтеру, такая история называется эпоха (Гефтер, 1975: 43):

Христианством [...] подводится черта взаимодействию, выстроившему эпоху; мы видим, что это понятие нужное, в данном случае нужное не только для того, чтобы воспроизвести средиземноморскую историю *«как целое»*, но и для того, чтобы понять генезис следующих за ней эпох — «историй».

Синхрония Античного мира, развиваясь, приходит к христианству, которое замыкает эту эпоху, отрицает ее, являясь ее частью.

Внутри «органического строя» Маркса Гефтер, как ясно из предыдущих аргументов, различает неисторический (мифологический) и исторический этапы. Античность — переход от времени мифа к историческому времени, переход, в 1975 году понимаемый Гефтером в прямой связи с теорией «осевого времени» Ясперса, которая сильно повлияла на советскую мысль: можно назвать имена Михаила Петрова, антиковеда

Александра Зайцева и другие. «История начинает себя заново. Но начинается не календарной датой, а „вторым отрицанием“» (там же: 44), пишет Гефтер об античной Греции. Первобытность или «первобытный коммунизм» отрицается дважды — первый раз в форме деспотий Передней Азии и олигархий Атики (Гефтер, 1975: 38), это естественное отрицание, «вулканизм». Затем происходит революция, результатом которой становится полисная демократия. Это «второе отрицание» (там же: 64), которое является уже не естественным, не «вулканическим» (или мифологическим), а историческим событием.

Разница между отрицаниями не только в логической форме — «отрицание отрицания» имеет в Гегелевской логике абсолютный приоритет. Разница — в осознанности «процесса революционного отрицания, неотделимого от той самой экономической стихии, против которой этот процесс субъективно направлен» (там же: 17). Естественное отрицание, таким образом, не субъективно и не осознанно, это не историческое событие. Первое такое событие, «мать всех событий» — это полисная революция. Ее онтология на оси синхронии. За счет переозначивания диахронических событий, возвращения им их релятивности и, следовательно, их историзации, революция создает «разрыв» в синхронии — ситуацию, когда «надстройка» может опередить свои материальные условия (там же: 40), свой «базис». Это тот самый момент «самоприсхождения» новой истории-эпохи, которая через означивание заново связывает оси «будущего-прошлого» и «исторического настоящего».

Вопрос. Это уже диархоническая синхрония Маркса? Не совсем. До разворачивания капитализма в «универсальность» в «физическом» времени было возможно одновременное сосуществование нескольких историй-эпох, нескольких конкурирующих исторических времен (там же: 44):

На спорный вопрос — средние ли средние века? — хочется ответить утвердительно. Однако, удастся ли тогда совместить не одно «горизонтальное» (гибель античного мира) с одним «вертикальным» (преемственностью исторического процесса), но также и две «вертикали» — феодальную и капиталистическую?

Существовало несколько конкурирующих связей «будущего-прошлого» с «историческим настоящим». Приведем пример. Античность, по Гефтеру, произвела «свободное время». В одной локальности одного и того же «физического времени», Европа XVI века, оно было использовано двумя диаметрально противоположными способами. Законы о бродяжничестве произвели Марксовых пауперов, будущий пролетариат

капиталистической Европы. Григорианский календарь способствовал на время сплочению Европы феодальной.

Но капитализм как формация претендует на универсальность, впервые в истории. Это не претензия правящего класса, не воля буржуазии «господствующих народов» из «Немецкой идеологии», не страстное желание Александра Македонского покорить всю Ойкумену, а конститутивное свойство «клетки» капитализма — товара. Товар претендует на универсальность, не класс, не нация, не вождь, не герой. Волны пространственной экспансии XVI и XIX столетий дают капитализму ресурсы для самообновления и при этом стремительно преобразуют те регионы, куда он вторгается и которые он захватывает. Маркс указывает, что в «историческом настоящем» есть вкрапления, дающие доступ к «идеальному прошлому», которое может дать модель будущего. Но речь только про модель, да еще только из европейской истории.

Гефтер описывает и другой способ революционного преобразования, связанный, но не тождественный первому. Внутри стремительно универсализирующегося капитализма, в его структуре, мы обнаруживаем гетерогенные ему и воздействующие друг на друга и на сам капитализм локальности, иные «исторические времена», захваченные, но не универсализированные до конца складки. Тогда аргумент Маркса относительно «архаического» — не только указание на образец «прошлого» отрицания капитализма, который за счет нового отрицания может дать образец будущего. Другое «историческое время» можно актуализировать в этом «историческом настоящем», в диахронической синхронии капитализма. Предметный анализ структуры капитализма как «исторического настоящего» отвечает на вопрос, возможно ли здесь и сейчас его самоотрицание, грубо говоря, ослаб ли капитализм в достаточной степени, это уже кризис или еще нет.

Тематизируемый Гефтером способ анализа «будущего-прошлого» дает возможность не только разработать модель отрицания, но и найти потенциал этого отрицания в складке другого «исторического времени», данной в этом «историческом настоящем». Если этот потенциал значим, для революции уже не нужен полностью ослабший, отрицающий сам себя капитализм. Чтобы стать событием, реализоваться и затем дорасти до эпохи, до нового, конкурирующего с капитализмом «исторического времени», действие может быть фундировано не только линейным «историческим настоящим», не только моделями его отрицания на оси

«будущее-прошлое», но и этой локальностью и ее материальным потенциалом. Это предельно мыслимый горизонт актуализации диахронической синхронии в историческом событии. К слову, этот же анализ обосновывает, что внутри диахронической синхронии капитализма возможна актуализация складки иного типа — не складки «исторического времени», а складки времени мифа.

ОНТОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ

Мы знаем, какова дефиниция события — «материализованное историческое действие». Мы установили, что оно может делать в логическом пределе: заново связывать оси «будущего-прошлого» и «исторического настоящего», начинать новую историю-эпоху, новое историческое время. Нужно решить последний вопрос — вопрос об онтологии события, но в связи с поставленной выше проблемой: оно состоит из действия, но действия, адресованного чему-то внешнему по отношению к себе. Любое историческое событие должно адресоваться потенциалу складки в структуре?

Посмотрим, как решает эту проблему Маркс-историк, Маркс, написавший «Восемнадцатое брюмера». Подготовку к событию переворота 2 декабря 1851 года Маркс анализирует скрупулезно, в деталях, и убедительно показывает, как действия, в том числе карикатурные, театральные, вычурные, кажущиеся бессмысленными, «накатывают» гравитацию события, которое еще не произошло (Маркс, Айхенвальд, 1957: 198):

Если когда-либо событие еще задолго до своего наступления отбрасывало вперед свою тень, так это был государственный переворот Бонапарта. Уже 29 января 1849 г., всего лишь через месяц после своего избрания, Бонапарт сделал Шангарнье предложение в этом смысле. Его собственный премьер-министр Одилон Барро летом 1849 г. в завуалированной форме, а Тьер зимой 1850 г. открыто говорили о политике государственного переворота. В мае 1851 г. Персины еще раз попытался заручиться поддержкой Шангарнье в пользу переворота, а «Messager de l'Assemblée» предал эти переговоры гласности. Бонапартистские газеты при каждой парламентской буре угрожали государственным переворотом; и чем ближе надвигался кризис, тем смелее становился их тон. На оргиях, которые Бонапарт устраивал каждую ночь с фешенебельными мошенниками мужского и женского пола, всякий раз как только приближался полуночный час и обильные возлияния развязывали языки и воспламеняли фантазию, государственный переворот назначался на следующее утро [...] Тень уже покрывалась красками, как цветной дагерротип.

Однако затем читатель узнает, что успех переворота объясняется не только сноровкой Наполеона III, не только пассивностью «партии порядка», которая «отдала себя во власть событий», но, прежде всего, симпатиями парцельного крестьянства, молчаливого большинства первого Бонапарта, перешедшего по наследству Бонапарту второму. Онтология переворота в действиях: в инициативах министров, статьях сочувствующей прессы, в карнавале, который готовы устроить услужливые собутыльники. Но причина его успеха в той общественной силе, которая почти не появляется в разделах текста, где речь идет о событии *sui generis*. Действия и причина смыкаются посредством «*idees napoleoniennes*», идеологии нового бонапартизма, которая через прокламации Бонапарта играет на трех струнах resentmentа парцельного крестьянства: сильное правительство, сильная церковь, сильная армия. Речь, таким образом, о политических технологиях.

Решение Гефтера намного сложнее, поскольку ему знаком не только Маркс-историк, не только Маркс-теоретик, но и Ленин — философ-политик. Политика Ленина для Гефтера как теоретика и исследователя — ключ к пониманию теории Маркса, по крайней мере, до 1975 года, возможно, и после. Все, что может делать Наполеон, это создавать идеологическое тождество между будущим (после переворота) и прошлым (как было при первом Наполеоне). Это успех. Это переозначивание «будущего-прошлого». Это историческое событие. Но это и банальность. Прочитируем другой текст Гефтера, написанный в 1989 году (Гефтер, 1991: 406):

19 августа 1917 г. эсеры опубликовали сводку 242 наказов деревни крестьянским депутатам. Ленин без колебаний и промедлений принял ее. Я убежден, что *на* этот шаг и в такой именно форме решиться (среди большевиков) мог только он. Декрет о земле, зачитанный им с черновика на II Всероссийском съезде Советов 26 октября, явился поистине великим *историческим компромиссом*. Ближайшие судьбы России, и прежде всего выход ее из войны держав, были предрешены; предрешен был (этим же!) и разгон Учредительного собрания. Событие перешло в эпоху.

Передовой класс этого «исторического настоящего» — это пролетариат, его антагонизм с буржуазией станет мотором революции, альтернативы нет. Но Ленин зачем-то пытается превратить еще не случившуюся социалистическую пролетарскую революцию в крестьянскую, которая уже была и относится к другой эпохе. Крестьянству, по Марксу, вообще нет места в трехклассовом капиталистическом обществе. Но только так

Ленин открывает потенциал складки другого «исторического времени» в своем «историческом настоящем», ее агентную силу преобразования «исторического настоящего» в будущее. Связывая прошлое отрицание капитализма с будущим отрицанием уже не только на бумаге, не только в модели, а и в практическом движении, Ленин из исторического события — революции, свершившейся 25 октября 1917 года, — на следующий день делает новую историю-эпоху.

Разница между Бонапартом и Лениным в том, что Ленин не отождествляет прошлое и будущее. Он суверенно, сначала в голове и на бумаге, затем в действии различает их, устанавливает между ними новую связь и обращается к потенциалу диахронической складки в «историческом настоящем». Что тогда с онтологией события? Кажется, здесь можно найти решение, сказав, что речь идет о мере интенсивности. Любое историческое событие как действие адресуется как своему внешнему оси «будущее-прошлое», переопределяет, переозначивает эту ось за счет отрицания отрицания. Но только дойдя до высшей степени интенсивности, оно может делать агентной складку другого исторического времени в своем «историческом настоящем». Гегель и Маркс отличаются друг от друга не политическим идеалом, а строем мысли. Гегелю достаточно мышления, чтобы понимать историю, но действовать в ней он не хочет, поскольку не хочет превращаться в еще одно «живое воплощение субстанциального деяния мирового духа» (Гегель, Столпнер и Левина, 1990: 372). Для Гегеля действующий всегда оказывается мусором, который дух коварно использует в своих целях, а затем попросту выбрасывает на обочину. Наблюдатель, философ — вот позиция, которая позволяет увидеть это движение во всем блеске его подлинной объективности. Марксу, Ленину, Гефтеру, напротив, нужно субъективное отрицающее действие, чтобы не остаться на обочине.

Суммируем в виде очень условно наброска концептуализацию события в тексте «Заметок...». Для начала, скажем, что речь об историческом событии, которое не совпадает с социальным событием (напр. Филиппов, 2004) логическим устройством. Историческое событие не элементарно. Историческое событие не одномоментно. Историческое событие состоит из действий, являющихся по отношению к нему аффективными инвестициями (Laclau, 2006: 110) и предшествующих ему в «физическом» времени. Эти действия должны быть осознанными, то есть оценка их возможных последствий дается не через оценку рисков, а через оценку их возможного «вклада» в еще не случившееся событие. Действия, из

которых состоит историческое событие, ориентированы в своем историческом, а не «физическом» времени. Историческое событие имеет своим предметом означивание диахронии синхронией и изменение синхронии, ее подрыв. Поэтому историческое событие необратимо. Историческое событие масштабируется не действиями, из которых оно состоит, а внешним по отношению к нему, это градиент интенсивности — от переозначивания идеальной, модельной диахронии «будущего-прошлого» до актуализации потенциала складок других эпох в «историческом настоящем». Историческое событие может само перерасти в эпоху. Логически, если историческое событие может создать историю, оно может ее и прекратить, хотя в тексте «Заметок...» это не говорится прямо. Авария на четвертом энергоблоке ЧАЭС — не историческое событие. Норильское восстание 1953 года — историческое событие. Письмо Каменева и Зиновьева коллегам по партии 11 октября 1917 года — не историческое событие. Письмо Бухарина Сталину с Лубянки 10 декабря 1937 года — историческое событие.

Как взвесить шансы на успех события? Возможно ли это сделать, или историческое событие — это всегда прыжок в водопад, без каких-либо гарантий, что прыгающий выплывет? Тогда оценка успеха — мера личного авантюризма, поскольку оценку личного риска, чтобы действовать, накатывая гравитацию исторического события, нужно блокировать. Мы начали с вопроса о «непредуказанности» и установили уже один ее смысл в историческом материализме Гефтера: законы «исторического настоящего» не описывают прошлое, данное в историческом времени в виде диахронии «будущее-прошлого» и, после универсализации капитализма, в виде потенциала складки другого исторического времени. Теперь можно перейти ко второму значению «непредуказанности», к контингентности не только в смысле нелинейной «последовательности» эпох, но и к контингентности самих событий в «историческом настоящем». Гефтер строит аргумент из известного парадокса Александра Герцена. Герцен пишет, что России, принадлежит будущее. И пишет, что будущего нет. Как это понимать? Гефтер объясняет это через тезис о непредуказанности успеха события (Гефтер, 1975: 58):

Нет заданной поступательности, в этом смысле нет будущего. Что же есть? Есть «узор». Верховенство всегда принадлежало и будет неизменно принадлежать стихии. Не то, чтобы Герцен не видел различия между мыслящей материей и всем, что до нее, — он против преувеличений, против иллюзий замещения стихии графиком движения, выполняющего поставленную перед ним

единственную — разумную цель [...] Поэтому только мысленным, лишь идейным, рефлексивным путем не превратить вчерашнее завоевание и вчерашнее поражение в новую и тоже всемирную цель. Для этого необходима также смена почвы. Время мировой истории движется — и измеряется — раздвижением исторического пространства. Мысль — это, так сказать, всемирность I. Почва — всемирность II. У каждой из всемирностей своя стихия. Их соединение непредуказано. Но, когда они соединяются, происходит изменение «узора».

Кажется, что, проделав огромную работу, Гефтер вернулся обратно к Гегелю¹⁵. Да к тому же противоречит сам себе: если стихия всегда берет верх, то различие «вулканизмов» и исторических событий зависит от воли случая. Не так. Ной знает, что потоп будет, что он неизбежен. Диахрония, в которую ему довелось заглянуть, уже разметила структуру его повседневности. Он не может своими действиями отменить потоп, он даже не может в нем участвовать, речь о предназначении в чужом плане. Его действие ориентируется не на возможность, а на неизбежность события, которое уже случилось во времени мифа, хотя и отложено пока в «физическом» времени. Выбора нет. Онтология исторического действия героя Гегеля иная, во фрагменте из «Философии истории», на который Гефтер часто ссылался, речь тоже идет о мысли и материи (Гегель, Воден, 2000: 84):

Можно назвать хитростью разума то, что он заставляет действовать для себя страсти, причем то, что осуществляется при их посредстве, терпит ущерб и вред. Ибо речь идет о явлении, часть которого ничтожна, а часть положительна. Частное в большинстве случаев слишком мелко по сравнению со всеобщим: индивидуумы приносятся в жертву и обрекаются на гибель. Идея уплачивает дань наличного бытия и бренности не из себя, а из страстей индивидуумов.

В этой схеме материя — это страсти, а спрямляющий ее к результату вектор — хитрость разума. Связка мысли и действия в историческом материализме устроена иначе. Действие, в отличие от страсти, — это посредник, а не проводник между мыслью и историческим событием. Действие может быть ошибочным. Оно может быть несвоевременным. Оно может быть «изолятом», то есть само может запереть себя в собственной суверенности, осознанно отказавшись от возможности предельного масштабирования. Такова природа «поступка», ключевого понятия словаря диссидентов. Но действие в отличие от страсти должно быть осознанным: через новое означивание диахронии «будущее-прошлое» и через

¹⁵ Позже, в 80-х Гефтер пересмотрит идею «мыслящего движения» и откажется от нее.

направленность на открытый финал — на возможность исторического события в его результате. В этом, втором смысле, «непредуказанность», многовариантность, контингентность — не объясняемое, а объясняющее в историческом материализме Гефтера. То, что разрешает действовать в истории, а не то, что нужно объяснить, создав ту или иную теоретическую модель. Связь между двумя «непредуказанностями» — предмет отдельного вдумчивого разбирательства, возможно, решение вообще не может быть сформулировано на общих основаниях.

Остался последний вопрос, который мы должны осветить. В историческом времени мысль через действие результирует в историческом событии. Какова мера ответственности этой мысли? Мы, чтобы действовать, заблокировали оценку личных рисков. Но нужно ли оценивать другие риски? Содержится ли в действиях Ленина в августе и октябре 1917 года российская версия *Wagernkrieg*, со всеми ее ужасами, которые еще не произошли, но неизбежно произойдут. Или не неизбежно? И это и есть тот самый второй смысл «непредуказанности» истории? Самый сложный вопрос, по многим причинам.

Развертку исторического времени дает Гефтер-теоретик, вдумчивый читатель Маркса, равный собеседник философов-марксистов своего, да и нашего времени. Это наблюдатель. Но Гефтер-историк должен не просто понимать Ленина, но должен, как и Ленин, реализовать свою интеллектуальную жизнь в событии. И тогда событие Октябрьской революции неизбежно включает в себя риск новой Крестьянской войны, но не в Германии XVI века, а в России начала XX. А диссидентство Гефтера включает в себя риск катастрофы: исчезновения второй, конкурировавшей с капитализмом «вертикали», исчезновения, которое может отбросить человечество к очередной точке «конца истории». Противоположный по смыслу ход, ограничивающий событие тем, что доступно не в историческом, а только в «физическом» времени, на уровне теории потребует пересмотреть развертку исторического материализма, на уровне прикладного исторического исследования не позволит увидеть истинную роль крестьянских наказов в революции 1917 года. «Непредуказанность» — это «принцип надежды», а не этическая оговорка.

Остается последний вопрос. Мы должны попытаться объяснить, почему исторический материализм Гефтера содержит в себе эту огромную угрозу для желающего действовать в истории. Гефтер, кажется, не знал работ Поля Рикера. Но сходство легко обнаружить. В «Конфликте интерпретаций» Рикер, тоже отталкиваясь от аргументов Леви-Стросса, ищет ответ на вопрос о начале истории (Рикер, Вдовина, 2008: 106):

Я отнес бы слова: «историчность» — «историчность традиции» и «историчность интерпретации» — к любому пониманию, которое — открыто или скрытно — осознает себя в качестве философского самопонимания «я» и понимания бытия. Миф об Эдипе предстает в таком случае герменевтическим пониманием, когда он, уже благодаря Софоклу, понимается и воспроизводится в качестве первого востребования смысла, в качестве размышления о признании «я», о борьбе за истину и о «трагическом познании».

Историю начинает вопрос о субъекте, отсюда метафора «Елисейский полей», синхронии встречи диахронических философских концептуализаций, где Платон «*может* отвечать своему младшему сыну Декарту» (Рикер, Вдовина и Мачульская, 2002а: 71). Исторический субъект Рикера, таким образом, это вынуждено платоновский субъект, поскольку вопрос об истине, который делает историю (и историю философии) синхронической, это вопрос субъекта об истине себя и своего бытия. Там, где субъект Рикера начинает историю вопросом о себе, субъект Гефтера начинает ее вопросом о действии, отрицание отрицания — субъективное действие, по Гефтеру. И это не платоновский субъект, поскольку его не интересует истина себя, более того, она ему, кажется, противопоказана. Его интересует истина действия. Герцен, равный масштабом Марксу герой «Заметок...» Гефтера, не спрашивает себя, кто он после поражения революции 1848 года. Он спрашивает себя, что делать дальше. Как и Маркс. Будущего не существует, история — пестрый ковер, который мы ткем вместе с другим. Разница лишь в степени осознанности.

А что стоит за осознанностью? Не в смысле рикеровского же «подозрения» или скрытого мотива: еврейство Маркса и распроданное серебро жены, казнь Александра Ульянова и подлость симбирцев, в одночасье отвернувшихся от семьи казненного, унижения Сталина теоретически подкованными Рязановым и Стэнном. А в смысле той операции, которую должна совершить еще неприрученная мысль, чтобы выйти из времени мифа во время истории. Рикер пишет, что самый главный риск для исторического мышления — воображение, поскольку память и воображение, несмотря на внешнее подобие, разделены феноменологически (Рикер, Вдовина и Мачульская, 2002b: 85). Кто ты есть и кем ты себя воображаешь — не одно и то же. Правда. Но, с другой стороны, как иначе ответить на вопрос, кем ты хочешь быть?

Будет ли преувеличением тезис, что для Гефтера связка синхронии и диахронии, которая может породить историческое время, это воображение? Возможно. Но как, если не благодаря силе воображения, Рахметов мог «глубоко перепахать» молодого Ульянова? Гефтер

говорил, что именно культура античной Греции «показывает, какую роль со времен греков в человеческой истории играет воображение» (Павловский, 2015: 46). Разве не одно только воображение (теоретическое, в первую очередь, но только ли теоретическое?) может создать диахроническую ось, где прошлое и будущее будут динамической парой, дойти до парадоксальной идеи означивания ее «историческим настоящим», которое только так и может изменить себя и даже открыть новое историческое время? Рикер пишет, что риск воображения в истории состоит в провале в галлюцинацию. И, добавим мы, в прекращении истории как таковой таким образом. Отсюда — две принципиальные для Гефтера в конце жизни исторические фигуры: поздний Маркс, ошеломленный и сбитый с толку триумфальным шествием планетарного капитализма. И безъязыкий Ленин в Горках, «Ленин в финале истории, и она истощилась в нем и при его участии» (там же: 57).

Что делать историку? Гефтер дает два ответа. В тексте «Заметок...» он пишет, что невозможно отрицать привилегию историка, находящегося в другом историческом времени с объектом его исследования. Нельзя пытаться спрятаться в башне теории, поскольку «теоретическое движение» историка все равно может результировать в «историческом настоящем», а не только в «идеальном прошлом» или «идеальном будущем». Не поможет и «философское шаманство» (Гефтер, 1975: 45) рефлексивности. Историк, добывая истину, неизбежно соучаствует в «превращении истины в факт» (там же) своего «физического» и исторического времени. И «пытаться выскочить из этой ситуации просто нелепо. Остается стоицизм в признании ее, в сознательном и самокритическом отношении к тому, что неотторжимо от собственно человеческой активности, от исторического действия» (там же: 44–45). Но, закончив текст, Гефтер принимает уже не теоретическое, а биографическое решение. И уходит из науки, чтобы действовать в истории.

Здесь пути авторов этого текста расходятся. Социолог скажет, что игра не стоит свеч. Чистота и консистентность верного теоретического аргумента дают возможность увидеть последствия действия, данные во всем величии своих объективных возможностей, включая рискованно-катастрофические. Можно и нужно действовать в теории раз она призвала тебя, и здесь исчислимые мыслью последствия могут быть на ее совести. Но, чтобы действовать в истории, нужно отбросить работающую теорию, которая показывает тебе, что *может* из нее родиться, и положиться на многовариантность. Положиться вслед за Лениным, например, на призрачный шанс, что, хотя новая *Wauernkrieg* уже видна

в теоретической оптике, в историческом настоящем ее может и не быть. Воображение всегда ослепляет, это шоры. Зачем ослеплять собственную мысль? Разве не такова сборка любой исторической катастрофы?

Историк резонно возразит, что разве не такова сборка *любого* события, которое мы ретроспективно называем историческим? Хотел ли Колумб, доказывая сферичность Земли, геноцида коренных народов обеих Америк? Хотел ли Ленин, доказывая правоту Маркса, гражданской войны и антимарксистского «военного коммунизма»? В конце концов, хотел ли Сталин дойти до репрессий¹⁶, придумывая вместе с Бухариным в 1926 году «социализм в отдельно взятой стране», чтобы опровергнуть тезис классиков о «действии господствующих народов, произведённом „сразу“, одновременно» (Маркс и Энгельс, Айхенвальд, 1955: 34)? Мышление — историческое, теоретическое, вообще любое строгое мышление, — нужно, чтобы преодолевать паралич, закладываясь на многовариантность, и осознанно действовать. В противном случае, в истории оно работает вхолостую и всегда только ретрокаузально.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы не утверждаем, что именно такова была концептуализация исторического события Гефтера в 1975 году. Мы лишь утверждаем, что это не только весьма возможно, но и объяснимо кругом его чтения конца 60-х и начала 70-х годов. Это вытекает из суммы тех теоретических шагов, что он сделал в тексте «Заметок...» и в сопровождающих эту работу текстах того же периода. Возможно, это все же не решение Гефтера. Но оно консистентно и вписывается в систему различий, что он выстроил в тексте. Это не твердая гарантия, дать которую могло бы лишь скрупулезное расследование, в том числе в несуществующем в данный момент в целостном виде архиве Гефтера. Но здесь нечто большее, чем просто объективная возможность.

Отвечая на вопрос, поставленный в начале текста, мы можем сказать следующее. Как и утверждают сегодня некоторые философы, не история непримирима с событием, а развертка истории как детерминистской онтологии. Событие — точка отсчета исторического мышления, история, вмещающая событие, контингента. Но и само событие тогда не может

¹⁶ Александр Пятигорский в документальном фильме Валерия Балаяна «Чистый воздух твоей свободы» (2004) говорит следующее: «только полные исторические идиоты не понимают, что страшный сталинский террор был возможен, потому что в каком-то смысле эти люди были готовы к тому, чтобы быть убитыми, и в каком-то смысле хотели этого. Они дали этому случиться. Они сделали это вместе с палачами» (Пятигорский, 2004).

быть детерминировано своими компонентами, оно также контингентно. Выбор в пользу преданного события-разрыва, будь то распад СССР или «неизбежность» экологической катастрофы, приведет нас в другую онтологию, поскольку такие события свершаются во времени мифа, а значит, здесь и сейчас являются идеологиями. Обозначенное Гефтером место встречи события и истории — это не миф, не идеология и не априоризм, а осознанное действие. Является ли такое решение «корреляционистским» и каковы его возможные теоретические следствия — вопросы для дальнейшей дискуссии, вклад в которую Михаила Гефтера нам еще только предстоит осмыслить.

ЛИТЕРАТУРА

- Альтюссер Л.* Противоречие и сверхдетерминация // За Маркса / пер. с фр. А. В. Денежкина. — М. : Праксис, 2006. — С. 127–186.
- Гегель Г. В. Ф.* Философия права / пер. с нем. Б. Г. Столпнер, М. И. Левиной. — М. : Мысль, 1990.
- Гегель Г. В. Ф.* Лекции по философии истории / пер. с нем. А. М. Водена. — СПб. : Наука, 2000.
- Гефтер М. Я.* История и экономика : соединимы ли в едином предмете исследования. — Б. д. — Неопубликованная рукопись.
- Гефтер М. Я.* Заметки в связи с одной старой, но не устаревшей дискуссией. — 1975. — Неопубликованная рукопись.
- Гефтер М. Я.* Россия и Маркс // Из тех и этих лет / под ред. Е. И. Высочиной. — М. : Прогресс, 1991. — С. 37–63.
- Гефтер М. Я.* Россия : диалоги вопросов. — М. : Утопос, 2000.
- Джеймисон Ф.* Постмодернизм или культурная логика позднего капитализма / под ред. А. Олейникова ; пер. с англ. Д. Кралечкина. — М. : Институт Гайдара, 2019.
- Дин М.* Правительность: власть и правление в современных обществах / под ред. С. М. Гавриленко ; пер. с англ. А. А. Писарева. — М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2016.
- Леви-Стросс К.* Структурная антропология / пер. с фр. В. В. Иванова. — М. : Наука, 1985.
- Леви-Стросс К.* Тотемизм сегодня : Неприрученная мысль / пер. с фр. А. Островского. — М. : Академический Проект, 2008.
- Маркс К.* Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // Собрание сочинений. В 50 т. Т. 8 / К. Маркс, Ф. Энгельс ; пер. с нем. Ю. И. Айхенвальда. — М. : Государственное издательство политической литературы, 1957. — С. 115–217.
- Маркс К.* Введение : Из экономических рукописей 1857–1858 годов // Собрание сочинений. В 50 т. Т. 12 / К. Маркс, Ф. Энгельс ; пер. с нем. Ю. И.

- Айхенвальда. — М. : Государственное издательство политической литературы, 1958. — С. 709–738.
- Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Собрание сочинений. В 50 т. / пер. с нем. Ю. И. Айхенвальда. — М. : Государственное издательство политической литературы, 1955. — С. 7–544.
- Мейясу К. После конечности : Эссе о необходимости контингентности / пер. с фр. Л. Медведевой. — М. : Кабинетный ученый, 2015.
- Неретина С. С. Философские одиночества. — М. : ИФРАН, 2008.
- Павловский Г. О. Тренировка по истории. — М. : Русский институт, 2004.
- Павловский Г. О. Третьего тысячелетия не будет. — М. : Европа, 2015.
- Павловский Г. О., Гефтер М. Я. Павловский, Гефтер / под ред. В. Быковой. — М. : Европа, 2017.
- Пятигорский А. М. Чистый воздух твоей свободы / Theory, Practice. — 2004. — URL: <https://theoryandpractice.ru/posts/9751-aleksandr-pyatigorskiy> (дата обр. 1 июня 2020).
- Пятигорский А. М. Что такое политическая философия: размышления и соображения : цикл лекций. — М. : Европа, 2007.
- Реgev Й. Коинциденология. — М. : Транслит, 2015.
- Рикер П. История и истина / пер. с фр. И. С. Вдовиной, А. И. Мачульской. — СПб. : Алетейя, 2002а.
- Рикер П. Память, история, забвение / пер. с фр. И. С. Вдовиной, А. И. Мачульской. — СПб. : Алетейя, 2002б.
- Рикер П. Конфликт интерпретаций : очерки о герменевтике / пер. с фр., под ред. И. С. Вдовиной. — М. : Академический проект, 2008.
- Филиппов А. К теории социальных событий // Логос. — 2004. — Т. 44, № 5. — С. 3–28.
- Фуко М. Речь и истина : лекции о парресии (1982–1983) / под ред. М. Маяцкого ; пер. с фр. Д. Кралечкина. — М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2020.
- Энгельс Ф. Письмо Йозефу Блоху 21 [–22] сентября 1890 года // Собрание сочинений. В 50 т. Т. 37 / К. Маркс, Ф. Энгельс ; пер. с нем. Ю. И. Айхенвальда. — М. : Государственное издательство политической литературы, 1965. — С. 393–397.
- Bedau M. A. Downward Causation and Autonomy in Weak Emergence // Emergence : Contemporary Readings in Philosophy and Science / ed. by M. A. Bedau, P. Humphreys. — Cambridge : MIT Press, 2008. — P. 155–188.
- Coombs N. History and Even : From Marxism to Contemporary French Theory. — Edinburgh : Edinburgh University Press, 2015. — DOI: 10.3366/edinburgh/9780748698998.001.0001.
- Croce B. An Essay in Communist Philosophy // My Philosophy / trans. from the Italian by E. F. Carritt. — London : Allen & Unwin, 1949.
- Laclau E. Ideology and Post-Marxism // Journal of Political Ideologies. — 2006. — Vol. 11, no. 2. — P. 103–114.

- Laclau E., Mouffe C.* Hegemony and Socialist Strategy Towards a Radical Democratic Politics. — London : Verso, 2001.
- Lévi-Strauss C.* The Structural Study of Myth // *The Journal of American Folklore*. — 1955. — Vol. 68, no. 270. — P. 428–444.
- Mahoney J.* Path Dependence in Historical Sociology // *Theory and Society*. — 2000. — Vol. 29, no. 4. — P. 507–548.
- Shenk T.* Maurice Dobb : Political Economist. — London : Palgrave Macmillan, 2013. — DOI: 10.1057/9781137297020.
- The Transition from Feudalism to Capitalism / ed. by P. Sweezy. — NY : Science & Society, 1963.
- Wagner-Pacifici R. E.* What is an Event? — Chicago : The University of Chicago Press, 2017. — DOI: 10.7208/chicago/9780226439815.001.0001.

Pavlovskiy, G. O., and K. B. Gaaze. 2020. "Marks i teoriya sobytiya Mikhaila Geftera [Marx and Michael Geffer's Theory of the Event]" [in Russian]. *Filosofiya. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki [Philosophy. Journal of the Higher School of Economics]* 14 (2), 165–202.

GLEB PAVLOVSKIY

DIRECTOR OF THE RUSSIAN INSTITUTE, MOSCOW

KONSTANTIN GAAZE

MA IN SOCIOLOGY; LECTURER AT THE MOSCOW SCHOOL OF SOCIAL AND ECONOMIC SCIENCES

MARX AND MICHAEL GEFFER'S THEORY OF THE EVENT

Submitted: June 10, 2020. Accepted: June 19, 2020.

Abstract: This article is an attempt to reconstruct the theory of the event of the Soviet philosopher, social theoretician and historian Michael Geffer. Based on his unpublished texts written in the 70s, authors return his version of historical materialism to the context of the debates on the status of the event and historical determinism, which took place in European Marxism at that time. The basic unfolding of historical materialism of Geffer — diachronic synchrony, — is one of the most interesting theoretical solutions, which combines structuralism and a new reading of Karl Marx's political economic works. According to Geffer, a historical event is possible as a fulfillment of the potential of diachronic axis "future-past" in the "historical present" by means of signifying of diachrony by synchrony, in contrast to the "eternal" diachronic event, which exists in the "mythological time" and signifies synchrony. The reconstruction we propose demonstrates the potential of Geffer's version of historical materialism and his theory for the methodology of historical knowledge, modern social theory and speculative philosophy.

Keywords: Methodology of History, Diachrony and Synchrony, Event Theory, Geffer, Marx.

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-2-165-202.

REFERENCES

- Al'tyusser, L. [Althusser, L.] 2006. "Protivorechiye i sverkhdeterminatsiya [Contradiction et surdétermination]" [in Russian]. In *Za Marksa [Pour Marx]*, trans. from the French by A. V. Denezhkin, 127–186. Moskva [Moscow]: Praksis.
- Bedau, M. A. 2008. "Downward Causation and Autonomy in Weak Emergence." In *Emergence: Contemporary Readings in Philosophy and Science*, ed. by M. A. Bedau and P. Humphreys, 155–188. Cambridge: MIT Press.
- Coombs, N. 2015. *History and Even: From Marxism to Contemporary French Theory*. Edinburgh: Edinburgh University Press. doi:10.3366/edinburgh/9780748698998.001.0001.
- Croce, B. 1949. "An Essay in Communist Philosophy [Un saggio in Filosofia Comunista]." In *My Philosophy [La mia filosofia]*, trans. from the Italian by E. F. Carritt. London: Allen & Unwin.
- Din, M. [Dean, M.] 2016. *Pravitel'nost': vlast' i pravleniye v sovremennykh obshchestvakh [Governmentality: Power and Rule in Modern Society]* [in Russian]. Ed. by S. M. Gavrilenko. Trans. from the English by A. A. Pisarev. Moskva [Moscow]: Izdatel'skiy dom "Delo" RANKhiGS.
- Dzheymison, F. [Jameson, F.] 2019. *Postmodernizm ili kul'turnaya logika pozdnego kapitalizma [Postmodernism, or The Cultural Logic of Late Capitalism]* [in Russian]. Ed. by A. Oleynikov. Trans. from the English by D. Kralachkin. Moskva [Moscow]: Institut Gaydara.
- Engel's, F. [Engels, F.] 1965. "Pis'mo Yozefu Blokhu 21 [-22] sentyabrya 1890 goda [Brief an Josef Bloch 21 [-22] September 1890]" [in Russian]. In vol. 37 of *Sobraniye sochineniy [Collected Works]*, by K. Marks and F. Engel's, trans. from the German by Yu. I. Aykhenval'd, 393–397. 50 vols. Moskva [Moscow]: Gosudarstvennoye izdatel'stvo politicheskoy literatury.
- Filippov, A. 2004. "K teorii sotsial'nykh sobyitiy [On the Theory of Social Events]" [in Russian]. *Logos [Logos]* 44 (5): 3–28.
- Fuko, M. [Foucault, M.] 2020. *Rech' i istina [Discours et vérité]: lektsii o parrésii (1982–1983) [Précédé de La parrésia]* [in Russian]. Ed. by M. Mayatskiy. Trans. from the French by D. Kralachkin. Moskva [Moscow]: Izdatel'skiy dom "Delo" RANKhiGS.
- Gefter, M. Ya. N. d. *Istoriya i ekonomika [History and Economy]: soyedinimyi li v yedinom predmete issledovaniya [Are They Compatible in a Single Subject of Research]* [in Russian]. Unpublished Manuscript.
- . 1975. *Zametki v svyazi s odnoy staroy, no ne ustarevshey diskussiyey [Notes in Sonnection with an Old but not Outdated Discussion]* [in Russian]. Unpublished Manuscript.
- . 1991. "Rossiya i Marks [Russia and Marx]" [in Russian]. In *Iz tekh i etikh let [From Those and These Years]*, ed. by Ye. I. Vysochina, 37–63. Moskva [Moscow]: Progress.
- . 2000. *Rossiya [Russia]: dialogi voprosov [Dialogues of Questions]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: Utopos.
- Gegel', G. V. F. [Hegel, G. W. F.] 1990. *Filosofiya prava [Grundlinien der Philosophie des Rechts]* [in Russian]. Trans. from the German by B. G. Stolpner and M. I. Levina. Moskva [Moscow]: Mysl'.
- . 2000. *Lektsii po filosofii istorii [Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte]* [in Russian]. Trans. from the German by A. M. Voden. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Nauka.
- Laclau, E., and C. Mouffe. 2001. *Hegemony and Socialist Strategy Towards a Radical Democratic Politics*. London: Verso.

- Lévi-Strauss, C. 1955. "The Structural Study of Myth." *The Journal of American Folklore* 68 (270): 428–444.
- Levi-Stross, K. [Lévi-Strauss, C.] 1985. *Strukturnaya antropologiya [Anthropologie structurale]* [in Russian]. Trans. from the French by Vyach. Vs. Ivanov. Moskva [Moscow]: Nauka.
- . 2008. *Totemizm segodnya [Le totémisme aujourd'hui]: Nepriruchennaya mysl' [La pensée sauvage]* [in Russian]. Trans. from the French by A. Ostrovskiy. Moskva [Moscow]: Akademicheskii Proekt.
- Marks, K. [Marx, K.] 1957. "Vosemnadsatoye bryumera Lui Bonaparta [Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte]" [in Russian]. In vol. 8 of *Sobraniye sochineniy [Collected Works]*, by K. Marks and F. Engel's, trans. from the German by Yu. I. Aykhenval'd, 115–217. 50 vols. Moskva [Moscow]: Gosudarstvennoye izdatel'stvo politicheskoy literatury.
- . 1958. "Vvedeniye [Einführung]: Iz ekonomicheskikh rukopisey 1857–1858 godov [Aus wirtschaftlichen Manuskripten von 1857–1858]" [in Russian]. In vol. 12 of *Sobraniye sochineniy [Collected Works]*, by K. Marks and F. Engel's, trans. from the German by Yu. I. Aykhenval'd, 709–738. 50 vols. Moskva [Moscow]: Gosudarstvennoye izdatel'stvo politicheskoy literatury.
- Meyyasu, K. [Meillassoux, Q.] 2015. *Posle konechnosti [Après la finitude]: Esse o neobkhozhdosti kontingentnosti [Essai sur la nécessité de la contingence]* [in Russian]. Trans. from the French by L. Medvedeva. Moskva [Moscow]: Kabinetnyy uchenyy.
- Neretina, S. S. 2008. *Filosofskiyе odinchestva [Philosophical Solitude]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: IFRAN.
- Pavlovskiy, G. O. 2004. *Trenirovka po istorii [History Training]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: Russkiy institut.
- . 2015. *Tret'yego tysyacheletiya ne budet [There Will be no Third Millennium]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: Yevropa.
- Pavlovskiy, G. O., and M. Ya. Gefter. 2017. *Pavlovskiy, Gefter [Pavlovsky, Gefter]* [in Russian]. Ed. by V. Bykova. Moskva [Moscow]: Yevropa.
- Pyatigorskii, A. M. 2004. "Chisty y vozdukh tvoey svobody [The Pure Air of Your Freedom]" [in Russian]. Theory and Practice. Accessed June 1, 2020. <https://theoryandpractice.ru/posts/9751-aleksandr-pyatigorskii>.
- Pyatigorskii, A. M. 2007. *Chto takoye politicheskaya filosofiya: razmyshleniya i soobrazheniya [What is Political Philosophy]: tsikl lektsiy [Reflections and Considerations]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: Yevropa.
- Regev, Y. 2015. *Koinsidentologiya [Coincidentally]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: Translit.
- Riker, P. [Riccœur, P.] 2002a. *Istoriya i istina [Histoire et vérité]* [in Russian]. Trans. from the French by I. S. Vdovina and A. I. Machul'skaya. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Aleteyya.
- . 2002b. *Pamyat', istoriya, zabveniyе [La mémoire, l'histoire, l'oubli]* [in Russian]. Trans. from the French by I. S. Vdovina and A. I. Machul'skaya. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Aleteyya.
- . 2008. *Konflikt interpretatsiy [Le conflit des interprétations]: ocherki o germevnutike [Essais d'herméneutique]* [in Russian]. Ed. and trans. from the French by I. S. Vdovina. Moskva [Moscow]: Akademicheskii proekt.
- Shenk, T. 2013. *Maurice Dobb: Political Economist*. London: Palgrave Macmillan. doi:10.1057/9781137297020.
- Sweezy, P., ed. 1963. *The Transition from Feudalism to Capitalism*. NY: Science & Society.
- Wagner-Pacifici, R. E. 2017. *What is an Event?*. Chicago: The University of Chicago Press. doi:10.7208/chicago/9780226439815.001.0001.

Виктория Файбышенко*

ПО ТУ СТОРОНУ ПРИНЦИПА ВЕНАХОДИМОСТИ**

СОБЫТИЕ РЕВОЛЮЦИИ И ПРОБЛЕМА МЕТАЯЗЫКА
В СОВЕТСКОЙ МЫСЛИ 1960-Х ГГ.

Получено: 08.05.2020. Принято: 20.05.2020.

Аннотация: На примере ряда текстов, посвящённых значению и судьбе русской революции, анализируются особенности функционирования и проблематизации идеологического дискурса, в рефлексии позднесоветских интеллектуалов об основаниях советского мира и те метаязыковые парадоксы, которые эта рефлексия производит. Статьи Э. Ильенкова, М. Лифшица, Г. Поспелова, М. Гефтера предлагают разные конфигурации одного семантического поля, в котором убеждения, ценности, методологии авторов вступают в сложные отношения с авторитетным языком, который задает саму разметку этого поля. Выстраивая своего рода теодицею революции, авторы вынуждены отделять «положение вещей» от языка-проекта, которым оно и описывается, и преобразуется. Кроме того, они должны конструировать ситуацию пересечения генеалогий. Коммунистический проект с самого начала рассматривается именно как всемирно-исторический, русская революция, как говорит авторитетный дискурс, имеет «всемирно-историческое значение». Но при этом само событие революции есть акт крайней территориализации, радикальной прагматизации теории и даже разрыва в ней. Мысль об основании вынуждена в разных пропорциях сочетать два режима интерпретации и потому два типа аппроприации: революционный проект как телеологическая форма мировой истории и теории этой истории, и то, на что проект обращен в качестве локальной системы, сталкивающейся с неким ограничением. Сама точка революции оказывается точкой пересечения двух или более генеалогических логик, которые приходится специальным усилием приводить к единству. Наш анализ показывает, что попытка критической легитимации советского проекта в целом приводит к дегерриториализации, своего рода венаходимости самого проекта и напротив, к частичной территориализации его проблем.

Ключевые слова: авторитетный язык, революция, трансцендентальное событие, проект, конкретно-всеобщее, Э. В. Ильенков, М. А. Лифшиц, М. Я. Гефтер.

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-2-203-225.

На примере ряда текстов 1960-х гг. , посвящённых значению и судьбе русской революции, мы попробуем разобрать особенности функционирования и проблематизации идеологического дискурса, в рефлексии

*Файбышенко Виктория Юльевна, к. филос. н., старший преподаватель Свято-Филаретовского православно-христианского института (Москва), vfaib@mail.ru.

**© Файбышенко, В. Ю. © Философия. Журнал Высшей школы экономики.

позднесоветских интеллектуалов об основаниях советского мира и те метаязыковые парадоксы, которые эта рефлексия производит.

Сформулировать проблему таким образом помогло чтение выдающегося исследования А. В. Юрчака «Это было навсегда, пока не кончилось» (Юрчак, 2014). С точки зрения Юрчака, гипернормализация и абсолютная формализация авторитетного дискурса советской системы парадоксальным образом привели к фактическому освобождению смысла, который передавался высказываниями, сделанными на этом языке (там же: 116):

В действительности, если строгий контроль за языком обращен исключительно на форму высказывания, связь этой формы с контекстом становится непредсказуемой, что ведёт к непредсказуемым изменениям смысла, который с этой формой ассоциируется.

Именно реакция на идеологический дискурс, состоящая «не в поддержке или отторжении его буквального смысла, а в перформативном воспроизводстве его формы, но изменении его смысла» (там же: 263) образует «публики своих», которые практикуют режим *внезаходимости* по отношению к советской системе (там же: 264):

Инна использует предлог «вне» — быть вне, находиться вне — для описания особого состояния субъекта по отношению к политической системе, при котором он продолжает жить внутри системы, но становится для нее как бы невидимым, оказываясь вне ее поля зрения. Это состояние отличается и от поддержки системы, и от сопротивления ей.

Однако когда исследователь переходит к описанию самого этого непредсказуемого смысла, читатель испытывает некоторую растерянность. Мир, описываемый респондентами Юрчака, делится на производство перформативных ритуалов авторитетного языка и на осуществление в тени этих ритуалов тех социальных действий, которые «имеют практический смысл» — только в этом узусе обыденного словоупотребления и можно говорить об обещанных автором «непредсказуемых изменениях смысла». В пространстве *внезаходимости*, в котором свободно действуют «нормальные советские люди», отсутствуют средства сколько-нибудь развитой рефлексии «общих вещей», отсутствует «публичное применение разума», то есть крайне затруднены именно артикуляция и трансформация смыслов. Та аппроприация авторитетного дискурса, которую описывает исследователь, стоит на границе полноты бессловесности и может обслуживать только частное потребление

частных вещей. Она целиком ориентирована не на производство, а на потребление уже изготовленного. Сочетание пустой перформативной формы с как бы свободным устройством частного существования пропускает проблему самой нечастности этого существования, его исходной втянутости в общие символические порядки. Эти порядки поддерживаются текстами, в которых использование авторитетного языка отнюдь не отделено от производства смысла. Тем не менее, «внеаходимость» представляется нам важным и продуктивным понятием, поскольку как замечает исследователь, она, парадоксальным образом, является не только формой существования «нормальных людей» в условиях господства авторитетного языка, но и способом функционирования самого этого языка. Но как раз понимание этого функционирования нуждается в уточнениях.

Нет сомнений в том, что книга Юрчака описывает значимые черты позднесоветского жизненного мира, однако предложенная в нем схема функционирования идеологического дискурса абсолютизирует неподвижность авторитетного языка и одновременно недооценивает его активное присутствие во всех или почти всех моделях публичного смыслопроизводства. Она недостаточна для анализа интеллектуальной жизни, производства идей, а не потребления вещей. Вне сферы внимания остается множество текстов, в которых ритуальная функция совмещена, оттеснена или находится в еще более сложных отношениях с другими. Их проблематичность определяется ситуацией множественного функционирования авторитетного языка: как того, что оформляет социальные взаимодействия, того, что пытается на них влиять и того, что претендует на их теоретическое познание.

КАК ВОЗМОЖНА СОВЕТСКАЯ МЫСЛЬ О СОВЕТСКОМ ПРОЕКТЕ?

В статье будут разобраны несколько текстов, которые имеют дело с основаниями «советского» семантического поля — сохраняя позицию «изнутри», они пытаются прояснить способы легитимации самого советского мира для него самого. Не пытаясь выйти за пределы авторитетного дискурса¹, они неизбежно подходят изнутри к его границам и упирают-

¹Я принимаю используемый Юрчаком термин «авторитетный дискурс», чтобы обозначить механизм производства публичной речи в советской системе: «Этот термин Михаила Бахтина использован для того, чтобы подчеркнуть, что стандартизация формы идеологического дискурса сопровождалась его глубоким смысловым сдвигом, в результате которого этот дискурс потерял задачу более-менее верного описания реальности, то есть классическую задачу идеологии, преобретая вместо нее иную задачу — создавать

ся как раз в парадокс его внеаходимости. Сама задача прячет в себе коренное противоречие: с одной стороны, авторитетный язык требует от высказывания такого рода восхождения к предельным основаниям этого языка; с другой стороны, всякая попытка последовательно прояснить эти основания подозрительна: такая задача предполагает как бы сверхнапряжение самой позиции авторитетного дискурса: его субъект вынужден согласовывать претензию на всеобщность этого языка с нахождением ему места в некоей общей топологии, которая с точки зрения этого языка должна быть помещена «внутрь» и может быть задана только самим авторитетным дискурсом. Эта двусмысленная позиция сделала рассматриваемые нами тексты Лифшица и Ильенкова непечатаемыми, несмотря на искреннюю советскую лояльность их авторов, а прошедшие в печать тексты Гефтера и его коллег вызвали проработочную компанию. На их примере мы можем наблюдать к каким эффектам приводит использование авторитетного дискурса в целях, выходящих за пределы перформативного ритуала.

Все тексты, выбранные для анализа, посвящены русской революции не только как историческому, но и как теоретическому событию. Событием революции постулируется и собирается воедино некое трансцендентально-историческое единство. Заметим, что такое парадоксальное единство само по себе не порождение советского дискурса, его первым достаточно отчетливо задал И. Кант в своих реконструкциях «плана человеческой истории». Можно описать его как «обмирщение теологии истории» (Левит, Гирко, 1995: 265–266), добавив, что это именно трансцендентальная теология, ориентированная на умопостигаемое априорное целое истории как источник конкретной историчности.

На эту исходную трансцендентальную историчность накладывает философско-идеологическая проблематика марксизма, раздваивающаяся на воспроизводство канона и его ресемантизацию, к которой подталкивают новые вопросы об источнике, смысле и границах исторического действия, в пятидесятые-шестидесятые годы ставившиеся на языке этого канона.

впечатление, что возможен только такой, и никакой другой вид репрезентации, даже если он и не воспринимается как верный. Иными словами, основным эффектом этой символической системы было не создание как можно более точного описания реальности, а создание ощущения того, что публично описывать реальность можно было только в таких символических формах» (Юрчак, 2014: 91).

Вопрошание о смысле, в свою очередь, вырастает из рефлексии собственного исторического состояния, которая не субстанционально, а казационально привязана к марксистскому дискурсу. В условиях советского строя эта рефлексия использует марксистский язык и как «натуральный» язык, и как язык философской критики «натурального» языка, так что он может оказаться и материей, и формой, и метаформой мышления. В некоторых случаях он выступает первичным теоретизированным материалом, «на» котором философ выполняет свою мысль — так понимал деятельность «московского гносеологического кружка» М. К. Мамардашвили (Мамардашвили, 1990):

И для нас, скажем, логическая сторона «Капитала» — если обратить на нее внимание, а мы обратили — была просто каким-то первым материалом мысли, который нам не нужно было в нищете своей выдумывать, он был единственно редуцированным существом данный образец интеллектуальной работы. Это не марксизм, это текст личной мысли Маркса, текст мыслителя по имени Маркс.

Такой тип использования канона предполагал политически осмысленную *деполитизацию* философии, то есть использование текстов Маркса так, «как если бы» они не были элементом авторитетного дискурса. Те, кто выбирал *политизацию*, одновременно выбирал и активную апроприацию канона, которая предполагала его ресемантизацию, наделение смыслом. Именно примеры такого рода рассмотрены ниже.

Первым примером историософского жанра «оправдания революции» будет доклад Э. В. Ильенкова «Маркс и западный мир» (1965). Он был написан для симпозиума, состоявшегося в 1966 году в Америке, куда автора не пустили, и опубликован на русском языке только в 1991 году (Ильенков, 1969а). Текст является развернутым ответом на присланный организаторами список вопросов. Ильенков сначала обозначает коммунистический проект как законное и выношенное детище западного мира, а потом делит мир на западную и восточную половину по критерию отношения к частной собственности, избавление от власти которой есть первая задача коммунистического проекта (там же: 157):

Итак, альтернатива, о которой идет речь, — это альтернатива не между «западным» и «восточным» миром и их культурами. Это — органически внутренняя дивергенция внутри самого «западного мира», т. е. говоря строже, внутри той части мира, которая на протяжении последних пятисот лет развивала свою культуру на основе («базисе») частной собственности (или, употребляя

более лестную для этого мира, хотя и менее строгую, терминологию, — на основе «свободного предпринимательства»).

Получается, Запад порождает два культурно-политических проекта: один из них подхватывает Россия, которая и в этом, и в других отношениях является безусловно частью западного мира, хотя и отсталой, периферийной частью (Ильенков, 1969а: 158):

Так что пытаться объяснять торжество идей Маркса в России 1917 года специфическими особенностями «восточной психики» — значит попросту выдавать черное за белое. За эти «специфические особенности» и так называемые «традиции» русского духа цеплялись как раз противники марксизма, а «отсталость» экономического и культурного развития не только не способствовала утверждению идей марксизма на русской почве, но, как раз наоборот, была той наиболее косной силой, которая всячески этому сопротивлялась. С отсталостью была связана не «лёгкость», а, наоборот, трудность реализации этих идей — как в сознании, так и в экономике.

Итак, Россия как безусловная часть западного мира стала местом законной, легитимной в марксистском смысле революции. Ильенкову нужно доказать, что революция в России — не экзотическая случайность, а парадигмальный образец, принципиально важный для современного марксизма. Но с самого начала в тему «общего наследия», разделяемого Россией и Западом, вторгается тема специфической «трудности».

Тут Ильенков делает диалектический поворот (там же) :

И те отрицательные явления, которые до сих пор старательно муссирует антикоммунистическая пропаганда на Западе, вытекали не из идей коммунизма. Как раз наоборот, они были следствиями косного сопротивления того материала, в преобразовании которого эти идеи пришлось реализовать. Они целиком объясняются как результаты «преломления» этих идей через призму унаследованной от дореволюционной России «специфики» и ее традиций — через призму «пережитков прошлого», как мы их называем. (В скобках заметим, что это — «пережитки» не капитализма, а скорее добуржуазных, докапиталистических форм регламентации жизни, имевших в дореволюционной России особо прочную силу традиции. Если угодно, то именно их и можно было бы называть тем «специфически восточным» наследием, которое не имело и не имеет никакого отношения к существованию социализма и коммунизма. Это наследие с его традициями как раз препятствовало здесь утверждению подлинных идей Маркса и Ленина, как раз оно-то и приводило в ряде известных случаев к их «искажению»).

Таким образом, утвердив всеобщность события революции, Ильенков сразу вынужден перейти к жгучей теме «отклонения», или, как он

формулирует «преломления». Россия обнаруживает докапиталистическое наследие, которое изменяет аутентичность проекта, «препятствует утверждению подлинных идей Маркса и Ленина». Бросается в глаза гностическое словоупотребление: зло — следствие сопротивления косного материала, который преобразуется вмешательством проекта. Хтонические силы, явившиеся из иного времени, пытались поглотить революцию, задающую аутентичную временность современности. Зло революции никогда не принадлежит агентам революции, но является результатом искажения, возникающего в точке встречи разных временностей. «Наследие» представляет собой иную временность и некую неполноценную, темную агентность, прячущуюся в ней. Далее мы увидим, что эта агентность не вполне поддается локализации. Этот поворот тем более показателен, что он лишний для развертывания главной мысли Ильенкова — отступление о феодальных формах нужно только чтобы ещё радикальнее отделить трансцендентальное событие революции от противостоящей ему стихии, которая может затруднить движение революции, но полностью отделена от её собственного содержания. Главная двусмысленность таится в самой сердцевине ильенковской социальной критики: в том, как Ильенков толкует одну из важнейших проблем марксизма — отчуждение. Отчуждение есть продукт самого принципа частной собственности, который дробит на части природу человека, отнимает возможность быть целым — то есть быть во всеобщем отношении к общности людей. Именно правильное понимание отчуждения даёт ключ к правильному пониманию смысла и задач революции. Дело в том, что социалистическая революция есть только первое условие выхода из состояния отчуждения. В ходе такой революции частная собственность обобществляется, но фактически оказывается собственностью государства. Это шаг необходимый, но недостаточный. На этой, социалистической, стадии развития отчуждение продолжает существовать. Необходима следующая — культурная революция, в ходе которой произойдёт «обратное присвоение» предмета культуры каждым человеком (Ильенков, 1969а: 166). Тогда человек присвоит и полностью интериоризует внешние способы приобщения к всеобщему, произойдет как бы «вкультуривание» культуры. Обретший целостность человек станет сознательной монадой большого коллективного целого, поскольку целое будет целиком внутри него (там же: 163):

Подлинная же задача, составляющая «суть» марксизма, только тут и встаёт перед ним во весь свой рост, во всём своем объеме, хотя на первом этапе

эта задача может вообще ясно не осознаваться. Эта задача — действительное освоение каждым индивидом всего накопленного в рамках «частной собственности» (т. е. «отчужденного от него») богатства. При этом «богатство», которое тут имеется в виду, — это не совокупность «вещей» (материальных ценностей), находящихся в формальном владении, а богатство тех деятельных способностей, которые в этих вещах «овеществлены», «опредмечены», а в условиях частной собственности — «отчуждены». Превратить «частную собственность» в собственность «всего общества» — это значит превратить ее в реальную собственность каждого индивида, каждого члена этого общества, ибо в противном случае «общество» рассматривается еще как нечто абстрактное, как нечто отличное от реальной совокупности всех составляющих его индивидов.

Ильенков выступает критиком «реального социализма» исходя из виртуальной реальности коммунизма и критиком «реального капитализма» исходя из той же реальности. Но поскольку социализм сам является радикальной критикой «западного наследия», он разделяется на критическую активную «коммунистическую часть», сторону проекта, и на пассивную косную «унаследованную часть» в самом себе, которая нуждается в преодолении и путем «культурной революции» будет преодолена до конца. Для Ильенкова репрессивная система сталинского СССР оказывается следствием общей проблемы отчуждения — отчуждения «общества как такового» от его индивидов и соответствующего отчуждения индивидов от общества. Это отчуждение не может рассматриваться как сущностная черта социализма — оно «унаследовано» и является темным анклавом предшествующей истории. Социализм как он есть — не реальность, но медиум между трансцендентальной формой «способностей» и опредмеченным материалом. Таким образом, по Ильенкову только узнанное и принятое целое коммунистического проекта создаёт возможность критики системы социализма, как и всякой другой системы. Поскольку все недостатки системы обусловлены фундаментальным пороком социального бытия человека — отчуждением, то очевидно, что преодолены они могут только в полной реализации коммунистического безгосударственного устройства общества. Таким образом, то, что делает возможным критику социалистического общества, создаёт и базовую лояльность ему. Ведь пороки этого общества структурно те же, что пороки общества буржуазного, но они уже в высшем смысле, «теоретически» преодолены в нем — преодолены самой включенностью в проект, соотносительностью с его телеологической формой.

Так Ильенков подходит к заключительному диалектическому рывку (Ильенков, 1969а: 165):

... «западная» критика современного коммунизма, поскольку в ней заключается рациональное зерно, вся, от начала до конца, оказывается «имплицитно» самокритикой. Она справедлива, поскольку ее объектом оказываются те непреодоленные еще коммунистическим обществом тенденции и феномены, которые унаследованы этим обществом от мира «частной собственности». Однако всё дело в том, что эти тенденции эволюцией социалистического общества преодолеваются, находятся на линии угасания, в то время как стихия товарно-капиталистической, а особенно монополистической собственности эти тенденции неизбежно усиливает. Поэтому, скажем, кошмары Олдоса Хаксли и Джорджа Оруэлла на самом-то деле — независимо от иллюзий самих авторов этих антиутопий — рисуют вовсе не перспективу эволюции социалистического общества, а как раз грозную перспективу развития частнокапиталистической формы собственности. Рисуя — по внешним приметам и признакам — «современный коммунизм», эти авторы на самом деле очерчивают, по существу, линию дрейфа товарно-капиталистического строя жизни. Потому-то эти кошмары так и пугают гуманиста-интеллекта «западного мира». Нас они не пугают. Мы понимаем эти тенденции как наш вчерашний, хотя и не до конца еще пережитый день.

Заметим, «наш вчерашний день» по существу является и «нашим сегодняшним днем», но теоретически и телеологически он принадлежит иной временности, темному остатку. Так Ильенков творит радикальную теодицею коммунистического проекта: он стирает пропасть между социализмом и капитализмом, отодвинув и тот, и другой строй по ту сторону чаемого состояния человека, по ту сторону присвоения общим частного. Но этим же шагом он отменяет и любую либеральную или гуманистическую критику социализма: ведь все его пороки есть пороки капитализма — материал отчужденной действительности все ещё не преодолен, критика действительности возможна только по сю сторону проекта. То, что реальность не «соответствует» проекту, никак его не опровергает, поскольку именно это несовпадение ещё раз удостоверяет теоретическую необходимость проекта и как орудия познания реальности, и как орудия её преобразования. Сама революция в этой системе понимается как доступ к смыслу всей человеческой культуры вообще; смыслу, который сейчас отчуждён от человечества, но будет возвращён ему в обратном присвоении. Революция в своей полноте и есть утраченная родина человечества. В данном случае усилие индивидуального

философствования осуществляется как детерриториализация авторитетного дискурса («в отличие от активного сопротивления или оппозиции системе детерриториализация является процессом воспроизводства системы при ее одновременном внутреннем сдвиге» (Юрчак, 2014: 237). Это пример сращения, взаимной апроприации, где в качестве языка критики и теоретизации выступает сам же «авторитетный дискурс», который обеспечивает в итоге как бы теоретическое капсулирование самой реальности объекта критики (Файбышенко, 2017). Этот язык работает как язык легитимации системы, даже когда он используется как основание критики, но Ильенков превращает его в орудие критики, которая следует из легитимации.

Для Михаила Лифшица органом и горизонтом русской революции оказывается классическая европейская культура, великим восстановлением которой, *Restauratio Magna*, и служит советский проект. В статье Лифшица «Нравственное значение Октябрьской революции», написанной к пятидесятилетию Октября, но напечатанной только в 1985 году (Лифшиц, 1988)², разворачивается совершенно теологическая (в специфическом кантовском смысле «религии в пределах разума») коллизия. Революция 1917 оказывается своего рода катехоном, «удерживателем мира» от провала в разверзающуюся щель «радикально злого» (термин кантовской антропотеологии). Опыт XX века есть опыт самораскрытия безудержного зла, уже не прикрываемого формальной моралью. Советский проект — это попытка радикального противостояния радикально злему, единственно возможный ответ на антропологическую катастрофу современного мира. Лифшиц совершает характерную подмену: фашизм у него как бы диалектически предшествует советскому проекту (вообще для советской историософии характерно растворение собственной революционности фашизма и отождествление его с кризисом ценностей буржуазной культуры, которую фашизм претендовал преодолеть). Для Лифшица коммунистическая революция, по сути, радикально консервативна — это проект, силой облекающий абстрактно-формальную норму классической культуры в социальную материю. В соответствии с такой переменной имен, Лифшиц обвиняет консервативно-революционные проекты в нигилистическом бунте против классической культуры, а проекты радикального авангарда, наоборот, в консервации «старого беспорядка» (там же: 249):

²Сокращенный текст статьи опубликован в журнале «Коммунист», 1985, № 4.

Вот почему не всякое отрицание старого имеет социалистическое содержание. *Бунт и революция* — не одно и то же. Более ста лет назад в связи с «философией бунта» одного из основателей анархизма Маркс и Энгельс перевели эту разницу понятий на язык действительной жизни. Бывает такое отрицание, которое может только усилить известный порядок вещей путём обновления его свежими силами в лице бунтарей, выскочек и анархистов, которым революция может сказать словами поэта — «ты для себя лишь хочешь воли».

В сущности же, вся статья Лифшица проклинает контркультурный бунт, противопоставляя ему революцию как восстановление нормы (Лифшиц, 1988: 251):

Революционное отрицание старой организации жизни должно перейти в отрицание старой дезорганизации. Это обязательное условие. Социализм отвергает классовую мораль буржуазного строя, но он не может победить без укращения ещё более опасного врага — присущего старому обществу аморализма, освобождённого от всяких норм. Задача, ясно очерченная Лениным, состояла в том, чтобы оградить здоровое ядро революции масс от всяких карикатур на общественные преобразования, от элементов распада прежнего общества, голого, «зряшного» отрицания с его атмосферой насилия, агрессивности хамства, выдаваемых часто за что-то неподкупно революционное, с его возвращением к идеалу мёртвого покоя в духе бюрократической утопии одного из учеников Хули Хуренито, Карла Шмидта, или в духе известного нам «бравого нового мира». Долой бога, но долой и дьявола!

У Канта радикально злое в человеческой природе заключалось в естественной склонности человека менять местами собственное эгоистическое желание и категорический императив так, чтобы императив следовал из желания и подчинялся ему. Лифшиц представляет радикально злое как ресентимент, подчиняющий революцию изнутри, и оказывается, что «бурса» внутри революции восстаёт против того культурного императива, за реализацию которого восстаёт революция.

Радикально злое побеждало до сих до сих пор все революции не только извне, но и изнутри. Лифшиц так описывает это внутреннее зло (там же: 258):

Образ бурсака, проявляющего свою личность бессмысленным расточением общественных средств, презирающего казённую науку, которой его обучают, и знающего тысячи хитростей для уклонения от неё, отравленного чувством мести к обществу, опасного в своём произволе, коварстве, ничтожном властолюбии, имеет всемирно-историческое значение. В его реальных подвигах мы узнаём радикально-злое Канта — кошмар образованных людей времён французской революции.

Революция случается с ветхими людьми, не совершившими революцию в себе. Они должны выработать в себе нового человека, но вместо того они предаются сладостному самоосвобождению от пут враждебной им культуры. Появляется новая власть, которая должна связать «ветхого человека» и защитить культуру, но насколько она сама является порождением и зеркалом контркультурного погромщика, она отражает и все его свойства. Хотя радикально злое являет себя и по эту сторону территорий, управляемых советской властью, Лившиц не сомневается, что советский проект Катехона удался: «Октябрьская революция поставила человеческую проблему, которую отвлечённо решали все нравственные системы мира, на реальную историческую почву» (Лившиц, 1988). Последний массовый приступ радикально злого в лице фашизма остановлен, однако производство зла в современном мире продолжается и тем самым продолжается и священное служение советского проекта. Отсюда открытая антропотеология финала (там же):

Чудес в истории не бывает, но в ней бывают великие повороты, иногда неожиданные и настолько богатые историческим содержанием, что они могут казаться настоящим чудом. Невыносимость мировой казармы создала в наши дни громадную массовую силу, пугающую обывателя и действительно чреватую большими бедами, если она не получит свободного выхода. Но эта сила является также великой надеждой человечества. Она способна порвать кровавую сеть международных несправедливостей, поднять людей над уровнем их борьбы за преимущества, карьеру, существование, сплотить их в большинстве, несмотря на все различия, единой волей к светлой деятельности. Это возможно. Хотите видеть пример такого чуда? Взгляните на Октябрьскую революцию.

Смелые рассуждения о диалектике революции не предполагают никаких политических следствий: революция по самому статусу трансцендентального события вечно утверждает основание классической культуры как реальное основание, но ветхий человек, жертва «антропологической катастрофы» буржуазного мира, противостоит революции как вовне, так и внутри. Выходом из состояния насилия снизу и насилия сверху является далее не конкретизируемое установление «истинной солидарности масс». Революция вызвана требованием самодеятельности, конститутивным для человека, то есть, собственно, тем, что совершает и довершает человеческую природу в истории, реализует требование, мессиански сформулированное культурой. Революция здесь понимается в определенном смысле по-кантовски, но Кант предусмотрительно

различает трансцендентальный смысл революции, толкуемый как «исторический знак» поворота к лучшему в человеческой истории (этот знак открывает нам смысл истории, а не ее реальный маршрут, см.: Кант, Левина, 1994: 101), и эмпирическое событие революции, чреватое аномией. Лившиц вынужден стягивать два эти полюса воедино, но невольно подчеркивает онтологический зазор между ними.

Текст филолога Г. Н. Поспелова «Российский путь перехода к социализму и его результаты» (1965), выданный им за «завещание» академика-экономиста Е. Варги, ходил в самиздате и был опубликован (1968) во франкфуртском журнале «Грани». Это опыт неподцензурного анализа советской системы на языке марксизма, авторитетном для самой системы. Характерно, что он с большей резкостью реализует уже рассмотренные нами паттерны исторического суждения (Варга [Поспелов], 1968: 151):

Русский путь перехода к социализму как раз и заключается в том, что, по причине слабости нашей буржуазии, крепко связанной с самодержавно-помещичьим строем, и ввиду их общенационального банкротства, развитие капитализма в России было прервано в самом начале. Русский народ так и не узнал, не испытал полноценного развития капиталистических отношений. Эти тенденции не получили соответствующего удовлетворения в объективных социальных процессах, но они существовали субъективно внутренне и были подавлены резким переходом к экспроприации частной собственности на средства производства. Русский «буржуазный мир» был «внутри не кончен» и, естественно, он стал постепенно проступать в мире «социалистическом» в той мере, в какой это позволяют ему принципы «социалистического» производства и общежития. Возврат к этому миру уже, конечно, невозможен, но он, загнанный вглубь души советских людей, проявляет себя и создает глубокие внутренние препятствия успешному развитию нового общества.

Поспелов, так же как и Лившиц, и Ильенков, противопоставляет реальности советского строя требование проекта, предъявляемое к модеятельности масс (там же: 153):

Коммунизм не сводится к росту производительных сил, производительности труда и материальной культуре. Коммунизм есть прежде всего полное торжество социалистического демократизма и свободной гражданской самодейтельности масс, основанной на самоуправлении трудящихся во всех областях жизни. Пока не начнут постепенно и сознательно преодолевать тяжелые извращения социалистической демократии, являющиеся существенной особенностью современного общественного строя в СССР, никакого комму-

низма в этой стране невозможно будет достигнуть ни через 20, ни через 100 лет. При таких условиях возможна лишь пародия на коммунизм.

Поспелов, не связанный соображениями публикабельности, не жалеет резких формулировок применительно к советской системе. В отличие от статей Ильенкова и Лифшица его сочинение воспринималось как диссидентское. Тем не менее, оно опирается на тот же набор интеллектуальных техник. Событие революции раскалывается на трансцендентальную форму, которая задает правильный способ говорения о мире и сама есть, прежде всего, факт языка (в этом смысле предписываемое ею будущее является формой настоящего), и на противостоящий ему тёмный остаток, который, собственно, территориализирует событие революции. Здесь это незавершенный в себе мир русского капитализма, который своей негативностью съедает «собственное» содержание революции. «Незавершённость» капитализма оказывается своего рода ущербной формой временности, которая выступает провалом в хтонический подвал непреодоленного прошлого.

И у Ильенкова, и у Лившица история революции это безусловно история победы, но одновременно, неизбежным образом, и история отклонения. Победа несомненна для авторов: оба они «советские патриоты», в том смысле, что конкретная реальность государства, в котором они живут, задана для них проектом революции, разделить их нельзя. Но в той степени, в какой они признают событие революции, они вынуждены отслаивать его от этой реальности, именно для того, чтобы сохранить теоретическое и телеологическое значение революции. В итоге риторика «пережитков прошлого» оказывается самым естественным способом и для «спасения» реальности, и для её дезавуирования. Советская культурная норма задается парадоксом: всякое критическое высказывание в её рамках могло быть сформулировано только через отсылку к авторитетному дискурсу, но критикуемое должно быть полностью отделено от него и представлено как обрывочная, ущербная, бессознательная реализация чужого дискурса. Критик системы должен занять вакансию квалифицированного носителя дискурса данной системы. Таким образом, критика в буквальном смысле не имеет содержания — оно всегда уже принадлежит авторитетному языку. В рамках мышления «от проекта» всякая критика действительности формулируется через экспликацию отклонения и извращения — моментов, в которых связь с проектом затемняется вторжением негативности, фактически равной материальности. Само событие революции оказывается метасобытием,

которое вносит в анализ событий телеологическое измерение. Событие революции не столько историческое, сколько теоретическое или трансцендентальное событие. Оно устанавливает оптику, из которой мир может быть увиден и оценен правильным образом. Революция выступает переключателем телеологических горизонтов, в которых любое событие обретает смысл. Но именно поэтому реальная временность, запущенная событием революции, распознается как большее или меньшее отклонение от смысла революции. Это отклонение хода революции от ее заданного смысла создаёт сам набор проблем, признаваемых реальными. Именно отклонение и становится скрытой или явной темой мысли о революции, в том числе, вполне лояльной мысли. Рефлексия на тему «отклонения» неизбежна в рамках теоретической проблематизации авторитетного дискурса, но в своём «дисциплинарном» применении этот дискурс занят «спасением» реальности за счёт возможно более полного вытеснения этой реальности из теоретического сознания. Формула отклонения даёт возможность описать некоторую реальность, но само это описание может строиться только из трансцендентальной презумпции реализующегося проекта. Само объявление об отклонении уже является отклонением, но его трудно описать как творчество новых непредсказуемых смыслов, именно потому что оно возникает в точках, где авторитетный язык не может быть отличен как нечто внешнее и непрозрачное от языка действующих «под ним» субъектов. Сами авторы в той степени, в какой они принимали телеологическое значение революции, были вынуждены осуществлять сложное двойное действие: они разделяли событие революции на трансцендентальную сторону «смысла и значения» и материальную сторону, которая определяется агентностью «пережитков прошлого». Только такая детерриториализация революции спасает её философский смысл, но делает её саму, в некотором роде, внеаходимой. Горизонты прошлого и будущего смыкаются, поскольку речь идёт о телеологическом событии присутствия, создающего смысл истории. Но присутствие это в реальном мире не полно, оно вечно терпит ущерб.

Происходит захват и присвоение временности, утверждающей всеобщность, непреодоленной реальностью частного. Частное есть способ существования прошлого в качестве осколка, который разрывает непрерывность перехода проекта в конкретную всеобщность. В каждый конкретный момент настоящее принадлежит силам прошлого. Но это не просто историческое прошлое как таковое — в прикровенном виде темные силы воплощают марксистский вариант «человеческого положения»,

первородного греха как онтологической недостаточности реальности, не способной целиком войти в проект. В этом смысле патриотизм проекта сохраняет свою венаходимость по отношению к частному, потому что является единственным носителем общей, завершающей позиции, с которой возможна оценка и переоценка частного.

Важно, что именно событие революции приведено в качестве привилегированного феномена, на котором может быть рассмотрена проблема конкретно-всеобщего, в финале статьи Ильенкова «Всеобщее» для Философской энциклопедии (Ильенков, 1970). А именно эта проблема является ключевой для ильенковского марксизма: «Марксизм-ленинизм основывается на конкретном истолковании всеобщего» (там же: 303).

Ильенков фактически признает, что конкретно-всеобщее может быть распознано в вещах только через презумпцию телеологического целого. Конкретное есть единичное, понятое как упаковка целого, заключающая в себе движущую силу противоречия. Проблема заключается в правилах распаковки (там же):

Конкретно всеобщее часто может находиться даже в отношении прямой противоположности, противоречия с абстрактно всеобщим, с простой одинаковостью всех единичных явлений. Всеобщее не существует иначе, как в диалектическом единстве с особенным и единичным. Примером этого может служить отношение закона стоимости как всеобщего закона капиталистической экономики к общему закону средней нормы прибыли. Решение проблемы, добытое Марксом с помощью диалектической логики, сводится к отысканию всей цепи опосредующих звеньев, объясняющих, как всеобщее переходит в свою собственную противоположность, в особенное, стоящее в отношении противоречия к нему. Диалектика, таким образом, снимает, как ложно поставленный, вопрос о том, что «первично» — всеобщее или единичное? Единичное не возникает и не существует иначе, как в системе всеобщего взаимодействия, его рождение всегда обусловлено действием некоторого всеобщего (закона), а всеобщее не существует иначе, как в единичном и через диалектическое взаимодействие массы единичных вещей, предметов, явлений.

Это означает два принципиальных момента для анализа события: а) истинное объяснение единичного есть объяснение «всего» и может быть дано только из точки, в которой это *все* собрано и эксплицировано. В реальном дискурсивном производстве роль этого недостижимого ни в какой момент настоящего *всего* неизбежным образом играет само теоретически установленное и дисциплинарно предписанное целое проекта; б) анализ конкретного невозможен за пределами предустановленной оптики, которая обеспечивает раскрытие и, следовательно, в конечном

счете, снятие противоречия в явлении, поскольку она способна подвести противоречие под форму всеобщности.

Теперь мы перейдем к последнему кейсу. Он занимает особое место в выстроенном нами ряду, поскольку включает в себе отчетливую рефлексию проблемы метаязыка в ее связи с проблемой события. Речь идет о текстах М. Я. Гефтера в знаменитом сборнике «Историческая наука и некоторые проблемы современности» (1969), который стал предметом разоблачительной компании и поводом для разгрома созданного и руководимого Гефтером сектора методологии истории ИИ АН СССР (Неретина, 1990).

Гефтер нащупывает самую теоретическую аномалию, возникающую вокруг искомой точки соединения мышления и бытия, на пересечении способа описания реальности и образа действия в ней. В обсуждении доклада А. С. Арсеньева он задается вопросом именно о конкретно-всеобщем (Гефтер, 1969а: 356):

В свете дискуссии этот вопрос можно сформулировать так: является ли всеобщность, о которой идет речь как об основном — наряду с историзмом — условию возникновения марксовой логики, неизменной для марксизма (я говорю о именно о марксизме как целом, как системе, т. е. в том же смысле, что и А. С. Арсеньев)? Для сторонников детерминации тотальностью тут вроде и проблемы нет, мне же думается, что она существует. Ибо существует противоречие между изначальной всеобъемлемостью и конкретным содержанием, которое диалектико-материалистическое движение приобретает в процессе превращения «объясняющей» философии в «преобразующую». Иными словами, это противоречие между всеобщностью и историзмом, между целью и движением к цели.

Для Гефтера это противоречие требует отхода от канонической взаимосвязи тотальности и конкретности: всеобщее содержание конкретного не определяется из тотальности, но опережает ее. Отсюда настойчивая попытка найти в мысли Ленина «то, что в совокупности составляет философию и методологию *исторической альтернативы*, без которой нельзя представить себе марксизм XX в.» (там же: 358). «Система объективного анализа процесса в целом» предполагает «не закономерности плюс отклонения, а закономерности как конфликт и равнодействующая тенденций, заключающих *разные* возможности исторического движения» (там же). Но тогда способ мышления, который исходит из уже замкнутой в теории тотальности исторического закона, не равен той телеологической оптике, которая обеспечивает само движение целого. Конкретно-всеобщее превращается в подвижную величину, в отношение

переменных. Есть ли тут выход за пределы диалектики ильенковского образца? В статье «О всеобщем» (1973) Ильенков вновь предельно ясно утверждает всеобщность-в-явлении (Ильенков, 1969b: 338):

«Всеобщее» заключает, воплощает в себе «все богатство частных» не как «идея», а как вполне реальное особенное явление, имеющее тенденцию стать всеобщим и развивающее «из себя» — силой своих внутренних противоречий — другие столь же реальные явления, другие «особенные» формы действительного движения. Поэтому — не всякое, не любое «особенное», а лишь такое, сама «особенность» которого заключается в том, и именно в том, что оно становится «подлинной всеобщностью».

В некотором смысле Гефтер сам отвечает на этот вопрос: существует «противоречие между всеобщностью и историзмом, между целью и движением к цели» (Гефтер, 1969a: 356), и это противоречие не снимается через круг раскрытия всеобщего в саморазвитии особенного (которое всегда указывает на предусмотренное всеобщее, даже видимым образом противореча ему). Противоречие перестает быть спасительным аргументом в согласовании всеобщего и особенного, но превращается в проблему всегда открытого будущего, меняющего настоящее.

Безусловно Гефтер движется в том же семантическом горизонте, задаваемом логикой «саморазвития органического целого». Но неявным образом он переходит от диалектического материализма к философии события со всеми ее парадоксами. Похоже, что этот сдвиг случается там, где он ставит под вопрос устройство телеологической оптики того, кто наблюдает процесс и одновременно участвует в нем (там же: 360):

Но что происходит с самой целью? Воплощение через саморасчленение, детализацию и только? Или осуществление неизбежно и неизменно несет в себе и добавления, и исправления, и исключения, наконец, безразличные в отношении характера, цели отклонения от ведущей тенденции, которые, накапливаясь, вызывают «взрыв», критический момент развития, возвращающий его как бы к исходному пункту и требующий воспроизведения самой цели — на новой основе, в обновленной форме?

Это в том числе означает невозможность описывать временность, отсчитываемую от революции, как отношение трансцендентальной формы и темного остатка. Здесь выступает другой тип темпоральности, стянутый к событию, в котором сама темпоральность переопределяется. Отсюда ориентация Гефтера на реконструкцию политического мышления революционера, открытого игре возможностей, в его статье из того же сборника 1969 г. (Гефтер, 1969b: 30):

Из тезиса Маркса вытекало не только то, что изменение обстоятельств невозможно вне деятельности, но и то, что оно невозможно *без изменения самой деятельности*. Обусловленная и потому ограниченная объективными условиями, она вместе с тем больше того, что в этих условиях предварительно содержится.

Гейфтер выходит к онтологическим границам языка доктрины изнутри самого этого языка, обнаруживая переизобретение цели движения в самом движении внутри переизобретаемого целого.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, марксистское теоретизирование заявляет себя как технику выявления противоречия; эта техника предполагает, что противоречие и открывает себя, и (теоретически) себя снимает в постижении всеобщего-конкретного. Упрощая, это конструкция, в которой структура факта и теория факта совпадают, критика действительности и ее оправдание образуют единство внутри заданной оптики. В дисциплинарных условиях советского интеллектуального производства противоречие должно быть увидено только как уже снятое — если не исторически, то логически. По этой линии проходит граница между допустимым и недопустимым высказыванием. Выбранные нами тексты отсылают к авторитетному языку, все они кроме «завещания Варги», были рассчитаны на легальную публикацию, тем не менее, вероятно, именно «прокравшееся» в них напряжение не до конца снятого противоречия сделало их непубликуемыми или еретическими.

Революция как событие основания заключает в себе трудноразрешимый парадокс. Во-первых, несмотря на свой эмпирический характер, революция — это трансцендентальное событие. Оно есть условие реальности того языка, на котором она может быть правильно описана и который она же сама утверждает в качестве единственного легитимного источника описания и преобразования реальности. Событие революции соединяет язык истинного описания с описываемой реальностью, делая, таким образом, возможным существование авторитетного языка как перформатива. Парадокс в том, что *этого соединения на самом деле не происходит*.

Выстраивая своего рода теодицею революции, авторы вынуждены отделять «положение вещей» от языка-проекта, которым оно и описывается, и преобразуется. Кроме того, они должны конструировать ситуацию пересечения генеалогий. Коммунистический проект с самого

начала рассматривается именно как всемирно-исторический, русская революция, как говорит авторитетный дискурс, имеет «всемирно-историческое значение». Но при этом само событие революции есть акт крайней территориализации, радикальной прагматизации теории и даже разрыва в ней. Мысль об основании вынуждена в разных пропорциях сочетать два режима интерпретации и потому два — типа апроприации: революционный проект как телеологическая форма мировой истории и теории этой истории и то, на что проект обращен в качестве локальной системы, сталкивающейся с неким ограничением. Сама точка революции оказывается точкой пересечения двух или более генеалогических логик, которые приходится специальным усилием приводить к единству. Наш анализ показывает, что попытка *критической легитимации* советского проекта в целом приводит к детерриториализации и своего рода вневходимости самого проекта, и напротив, к частичной территориализации его проблем.

А. Юрчак полагает, что деструкция советской системы началась с того, что в ходе перестройки в неё вернулся метадискурс, которого не было после исчезновения исключительной фигуры вождя. Можно сказать, что начиная с XX съезда не вожди, но интеллектуалы позднесоветского мира вновь и вновь предпринимали попытки выработать метадискурс, который не являлся внешним самому дискурсу, но неизбежно ставил его под вопрос самой попыткой обоснования. Этот процесс хорошо виден на примере текстов посвященных инициальному событию советского мира и конструирующего его дискурса — событию революции.

ЛИТЕРАТУРА

- Варга Е. [Поспелов Г. Н]. Российский путь перехода к социализму и его результаты // Грани. — 1968. — № 68/69. — С. 134–153.
- Гефтер М. Я. Выступление при обсуждении доклада А. С. Арсеньева // Историческая наука и некоторые проблемы современности : статьи и обсуждения / под ред. М. Я. Гефтера. — М. : Наука, 1969а. — С. 354–362.
- Гефтер М. Я. Страница из истории марксизма начала XX века // Историческая наука и некоторые проблемы современности : статьи и обсуждения / под ред. М. Я. Гефтера. — М. : Наука, 1969б. — С. 13–44.
- Ильенков Э. В. Маркс и западный мир // Философия и культура. — М. : Издательство политической литературы, 1969а. — С. 156–170.
- Ильенков Э. В. О всеобщем // Философия и культура. — М. : Издательство политической литературы, 1969б. — С. 13–45.

- Ильенков Э. В.* Всеобщее // *Философская энциклопедия*. Т. 5 / под ред. Ф. В. Константинова. — М. : Советская энциклопедия, 1970. — С. 301–304.
- Историческая наука и некоторые проблемы современности : статьи и обсуждения* / под ред. М. Я. Гефтера. — М. : Наука, 1969.
- Кант И.* Спор факультетов / пер. с нем. М. И. Левиной // *Собрание сочинений*. В 8 т. Т. 7 / под ред. А. В. Гулыги. — М. : Чоро, 1994. — С. 57–132.
- Левит К.* О смысле истории / пер. с нем. Л. В. Гирко // *Философия истории : Антология* / под ред. Ю. А. Кимелева. — М. : Аспект-Пресс, 1995. — С. 262–274.
- Лифшиц М. А.* Нравственное значение Октябрьской революции // *Собрание сочинений*. Т. 3 / под ред. М. Ф. Овсянникова, А. Я. Зись. — М. : Изобразительное искусство, 1988. — С. 230–258.
- Мамардашвили М. К.* Начало всегда исторично. — 1990. — URL: <https://www.mamardashvili.com/ru/merab-mamardashvili/avtobiograficheskoe/nachalo-vsegda-istorichno> (дата обр. 11 сент. 2019).
- Неретина С. С.* История с методологией, или Конец истории // *Вопросы философии*. — 1990. — № 9. — С. 143–151.
- Файбышенко В. Ю.* Вещи без слов и целое без частного : Советская философия Эвальда Ильенкова // *Логос*. — 2017. — № 5. — С. 45–64. — DOI: 10.22394/0869-5377-2017-5-45-62.
- Юрчак А. В.* Это было навсегда, пока не кончилось : Последнее советское поколение. — М. : Новое литературное обозрение, 2014.

Faybyshenko, V. Yu. 2020. "Po tu storonu printsipa vnenakhodimosti [On the Other Side of the "Vnenakhodimost" Principle]: sobytiye revolyutsii i problema metazyzka v sovet'skoy mysli 1960-kh gg. [The Event of the Revolution and the Problem of Metalanguage in Soviet Thought of the 1960s]" [in Russian]. *Filosofiya. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki [Philosophy. Journal of the Higher School of Economics]* IV (2), 203–225.

VIKTORIYA FAYBYSHENKO

PHD IN PHILOSOPHY, SENIOR LECTURER

AT THE ST. PHILARET'S CHRISTIAN ORTHODOX INSTITUTE (SFI), MOSCOW

ON THE OTHER SIDE
OF THE "VNEAKHODIMOST" PRINCIPLE
THE EVENT OF THE REVOLUTION AND THE PROBLEM
OF METALANGUAGE IN SOVIET THOUGHT OF THE 1960S

Submitted: May 08, 2020. Accepted: May 20, 2020.

Abstract: Analyzing a number of texts devoted to the significance and fate of the Russian revolution, we can study the functioning and problematization of ideological discourse in the reflection of late Soviet intellectuals on the foundations of the Soviet world and the metalanguage paradoxes that this reflection produces. The articles by E. Ilyenkov, M. Lifshits,

G. Pospelov, M. Gefter offer different configurations of the same semantic field, in which the beliefs, values, and methodologies of the authors enter into complex relationships with an authoritative language that defines the very layout of this field. Building a kind of theodicy of revolution, the authors are forced to separate the “state of things” from the project-language, by which it is described and transformed. From the very beginning, the communist project is considered precisely as a world-historical one; the Russian revolution, as the authoritative discourse says, has “world-historical significance”. But at the same time, the very event of the revolution is an act of extreme territorialization, radical pragmatization of the theory, and even a break in it. The idea of foundation is forced to combine in two proportions two modes of interpretation and therefore two types of appropriation: a revolutionary project as a teleological form of world history and the theory of this history, and what the project addresses as a local system, faced with a certain limitation. The very point of revolution turns out to be the intersection point of two or more genealogical logics, which have to be brought to unity by a special effort. Our analysis shows that an attempt to critically legitimize the Soviet project as a whole leads to deterritorialization, a kind of *vnenakhodimost'* of the project itself and, conversely, to a partial territorialization of its problems.

Keywords: Authoritative Discourse, Revolution, Transcendental Event, Project, Concrete Universal, E. V. Ilyenkov, M. A. Lifshitz, M. Ya. Gefter.

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-2-203-225.

REFERENCES

- Faybyshenko, V. Yu. 2017. “Veshchi bez slov i tseloye bez chastnogo [Things Without Words and the Whole Without the Particular]: Sovet-skaya filosofiya Eval'da Il'yenkova [Soviet Philosophy of Evald Ilyenkov]” [in Russian]. *Logos [Logos]*, no. 5: 45–64. doi:10.22394/0869-5377-2017-5-45-62.
- Gefter, M. Ya., ed. 1969a. *Istoricheskaya nauka i nekotoryye problemy sovremennosti [Historical Science and Some of the Problems of Modernity]: stat'i i obsuzhdeniya [Articles and Discussions]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: Nauka.
- . 1969b. “Stranitsa iz istorii marksizma nachala xx veka [Page from the History of Marxism from the Beginning of the 20th Century]” [in Russian]. In Gefter 1969a, 13–44.
- . 1969c. “Vystupleniye pri obsuzhdenii doklada A. S. Arsen'yeva [Speech During the Discussion of the Report of A. S. Arsenyev]” [in Russian]. In Gefter 1969a, 354–362.
- Il'yenkov, E. V. 1969a. “Marks i zapadnyy mir [Marx and the Western World]” [in Russian]. In Il'yenkov 1991, 156–170.
- . 1969b. “O vseobshchem [On Universal]” [in Russian]. In Il'yenkov 1991, 13–45.
- . 1970. “Vseobshcheye [Universal]” [in Russian]. In vol. 5 of *Filosofskaya entsiklopediya [The Philosophical Encyclopedia]*, ed. by F. V. Konstantinov, 301–304. Moskva [Moscow]: Sovet-skaya entsiklopediya.
- . 1991. *Filosofiya i kul'tura [Philosophy and Culture]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: Izdatel'stvo politicheskoy literatury.
- Kant, I. 1994. “Spor fakul'tetov [Der Streit der Fakultäten]” [in Russian]. In vol. 7 of *Sobraniye sochineniy [Collected Works]*, by I. Kant, ed. by A. V. Gulyga, trans. from the German by M. I. Levina, 57–132. 8 vols. Moskva [Moscow]: Choro.
- Levit, K. [Löwith, K.] 1995. “O smysle istorii [Zur Kritik der Geschichtsphilosophie]” [in Russian]. In *Filosofiya istorii [Philosophy of History] : Antologiya [Anthology]*, ed. by Yu. A. Kimelev, trans. from the German by L. V. Girko, 262–274. Moskva [Moscow]: Aspekt-Press.
- Lifshits, M. A. 1988. “Nravstvennoye znachenie Oktyabr'skoy revolyutsii [The Moral Significance of the October Revolution]” [in Russian]. In vol. 3 of *Cobraniye sochineniy*

- [*Collected Works*], ed. by M. F. Ovsyannikov and A. Ya. Zis', 230–258. Moskva [Moscow]: Izobrazitel'noye iskusstvo.
- Mamardashvili, M. K. 1990. "Nachalo vseгда istorichno [The Beginning is Always in History]" [in Russian]. Accessed Sept. 11, 2019. <https://www.mamardashvili.com/ru/merab-mamardashvili/avtobiograficheskoe/nachalo-vsegda-istorichno>.
- Neretina, S. S. 1990. "Istoriya s metodologiyey, ili Konets istorii [History with Methodology, or the End of History]" [in Russian]. *Voprosy filosofii [Question of Philosophy]*, no. 9: 143–151.
- Varga, Ye. [Pospelov, G. N]. 1968. "Rossiyskiy put' perekhoda k sotsializmu i yego rezul'taty [Russian Path of Transition to Socialism and its Results]" [in Russian]. *Grani [Facets]*, nos. 68–69: 134–153.
- Yurchak, A. V. 2014. *Eto bylo navsegda, poka ne konchilos' [It Was Forever, Until it Was Over]: Posledneye sovet-skoye pokoleniye [The Last Soviet Generation]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: Novoye literaturnoye obozreniye.

КОНЦЕПТЫ (САМО)ОПИСАНИЯ
РУССКОЙ МЫСЛИ

ИССЛЕДОВАНИЯ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ

STUDIES. PART 2

ФЕДОР ГАЙДА*

«РУССКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ»: РОЖДЕНИЕ ПОНЯТИЯ**

Получено: 21.12.2019. Принято: 08.04.2020.

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о появлении в России социального понятия «интеллигенция». Проанализирована историография вопроса. Автор приходит к выводу, что русский термин «интеллигенция» для обозначения определенной социальной группы (образованного общества, коллективной мыслящей личности) сформировался в 60-е гг. XIX столетия под польским влиянием (в Польше, в свою очередь, понятие появилось из Германии). Решающее значение в этом сыграла публицистика И. С. Аксакова. Первоначально термин воспринимался как инородный и зачастую становился объектом иронических нападок (Н. С. Лесков, И. С. Тургенев, Н. К. Михайловский). Однако уже в конце 1860-х гг. новое понятие было принято на вооружение народническими публицистами (Н. В. Шелгуновым, П. Н. Ткачевым). Для народников имело значение внесловное понимание «интеллигенции». В 1870-е гг. произошло сближение нового понятия с буржуазными слоями, что вновь спровоцировало критику со стороны литераторов (Г. И. Успенского, М. Е. Салтыкова-Щедрина). В ответ появилось понятие «передовая интеллигенция» (П. Л. Лавров). В целом, эволюция термина в России соответствовала польской тенденции: от отвлеченной философской категории к обозначению образованного общества, а затем к его прогрессивно мыслящим (передовым) силам. Новые смыслы возникали на фоне кризиса сословного строя и формирования общественности как самостоятельной политической силы. Основным оружием этой новой силы считались мысль и сознательность, что постоянно побуждало выводить термин «интеллигенция» из-под ударов критиков и вкладывать в него новые позитивные смыслы.

Ключевые слова: интеллигенция, И. С. Аксаков, Н. Я. Данилевский, Ф. М. Достоевский, Н. К. Михайловский, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев, М. Е. Салтыков-Щедрин.

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-2-229-248.

Герцен:[...] Огромная страна, которая вмещает и оленеводов, и погонщиков верблюдов, и ныряльщиков за жемчугом. И при этом ни одного оригинального философа. Ни единого вклада в мировую политическую мысль.

Кетчер: Есть! Один! Интеллигенция!

Грановский: Это что такое?

Кетчер: То новое слово, о котором я говорил.

*Гайда Федор Александрович, д. и. н., профессор-консультант, БФУ имени И. Канта (Калининград), fyodorgayda@gmail.com.

**© Гайда, Ф. А. © Философия. Журнал Высшей школы экономики.

Огарев: Ужасное слово.

Кетчер: Согласен. Зато наше собственное, российский дебют в словарях.

Герцен: Что же оно означает?

Кетчер: Оно означает нас. Исключительно российский феномен. Интеллектуальная оппозиция, воспринимаемая как общественная сила.

Грановский: Ну!..

Герцен: А... интеллигенция!..

Огарев: И Аксаков интеллигенция?

(Т. Стоппард. Берег утопии)

Споры о русской интеллигенции идут уже не первое столетие. Частью проблемы является вопрос о появлении в России самого понятия «интеллигенция» и его первоначальных значениях. Б. М. Маркевич отмечал, что в отношении определенной социальной группы понятие «интеллигенция» использовалось в Польше еще в 1840-е гг. и лишь позднее было заимствовано в России (Маркевич, 1912: 393). В исследовании Ю. С. Сорокина было рассмотрено постепенное формирование современного понимания «интеллигенции» и так же отмечено польское (или галицийское) влияние. По мнению автора, обозначение «интеллигенцией» определенной социальной группы в России произошло в конце 1860-х гг. (Сорокин, 1965: 144–149)¹. С. О. Шмидт, напротив, настаивал на зарождении такого понимания еще у пушкинского круга в 1830-е гг. (Шмидт, 2000: 90–108). Б. А. Успенский справедливо усомнился в этой гипотезе и также склонился к польской версии (Б. А. Успенский, 1999: 8). Она нашла дополнительное подтверждение в статье польского исследователя Е. Едлицкого, посвященной эволюции понимания «интеллигенции» в польской традиции (автор приводит пример, датированный 1844 г.; Jedlicki, 2009: 15–30). Ю. С. Степанов прослеживает общеевропейскую эволюцию философского понятия «интеллигенция» в первой половине XIX в.: у Ф. Гизо в «Истории цивилизации во Франции» (1829 г.) это «разлитый в обществе разум-интеллигенция», у Гегеля — «представление, интеллект», а К. Маркс в 1842 г. уже критикует понимание

¹В статье А. К. Панфилова были приведены примеры применения понятия «интеллигенция» в русской прессе именно по отношению к польской элите начиная с 1862 г. (Панфилов, 1970: 367–370).

«интеллигенции» как ученого сообщества (Степанов, 1999: 18–20)². Таким образом, в германском контексте «интеллигенция» как социальная группа появляется ранее, чем в польском: можно предположить заимствование польского понятия из Германии. С. В. Мотин указал на приоритет И. С. Аксакова в употреблении нового термина в русском контексте. Первым таким примером исследователь считает статью «В чем недостаточность русского патриотизма?», опубликованную 17 октября 1864 г. (Мотин, 2012: 838–844).

Многозначное латинское слово *intelligentia*, как известно, включает в себя целый ряд понятий: (1) понимание, рассудок, познавательная сила, способность восприятия; (2) понятие, представление, идея; (3) восприятие, чувственное познание; (4) умение, искусство. В первой половине XIX в. в Германии уже сформировалось новое значение: *intelligentia* (нем. *Intelligenz*) как ученое сообщество. В Польше социальное понимание «интеллигенции» уже было значительно расширено. Философ и общественный деятель К. Либельт в 1844 г. под «интеллигенцией» понимал «всех тех, кто, получив более тщательное и обширное образование в высших учебных заведениях, становятся лидерами нации в лице ее ученых, чиновников, учителей, священнослужителей или промышленников; они стоят во главе нации из-за их более высокой просвещенности» (Jedlicki, 2009: 17). Впоследствии акцент был смещен с образования на идейность. Не позднее 1861 г. «интеллигенцией» в Польше стали именовать патриотически настроенную национальную элиту (там же: 17–18). Программная статья в львовском издании «Литературный журнал» (автор — писатель и историк К. Шайноха, 1861 г.) провозглашала: «Для того, чтобы называться интеллигенцией общества, оно требует, чтобы его члены понимали национальное дело, лелеяли его, работали и были готовы многим пожертвовать для него, одним словом общество требует, чтобы интеллигенция любила свою страну [...] Это слово в своем польском понимании имеет некоторые духовные размеры, которые ни один глаз измерить не может [...] таким образом, это никоим образом не может применяться только к профессии» (там же). Издатель варшавского «Еженедельного обзора общественной жизни, литературы и изобразительного искусства» А. Виглицкий в 1880 г. отмечал (там же: 23):

² Автор отмечает статьи К. Маркса «О сословных комиссиях Пруссии» (1842 г.; Маркс, 1975: 275–291).

Роль интеллигенции имеет решающее значение для настроений нации, и поскольку самосознание является основным условием ее существования, интеллигенция является группой, которая должна определить себя, чтобы сформировать будущее общества; интеллигенция также несет ответственность за все последствия своей социальной работы.

Русско-польский общественный деятель и ученый В. М. Козловский в 1893 г. писал о представителях интеллигенции (Jedlicki, 2009: 24):

Поскольку они должны думать обо всем обществе, они должны непременно отвечать интересам и симпатиям любого отдельного слоя. [...] Интеллигенция должна быть не только самой мудрой группой общества, но и лучшей. [...] Это судьба интеллигенции — они проповедники идей.

Однако встречалась и критическая точка зрения, выраженная, например, Б. Прусом (1886 г.) (там же: 25):

Это неопровержимая истина, и слишком грустно от слов, что интеллигенция не имеет никакого отношения к крестьянам, интеллигенты не знают и не понимают их, не воспринимают их и не пытаются влиять на них. Еврейский хранитель и ростовщик, младший юриконсульт или даже вор [...] больше связаны с крестьянами, чем интеллигенция, которая притворяется вождем общества.

В данном случае «интеллигенции» придавалось прежнее значение — образованное общество.

В русской культуре слово «интеллигенция» прописалось по мере обретения вкуса к западной философии, преимущественно немецкой классической. Например, в дневнике за 1836 г. В. А. Жуковский писал об «интеллигенции» как *самосознании*: «Кареты, все исполненные лучшим петербургским дворянством, тем, которое у нас представляет всю русскую европейскую интеллигенцию» (Жуковский, 2004: 40). В письме Н. П. Огарева к Т. Н. Грановскому в 1850 г. упоминается «какой-то субъект с гигантской интеллигенцией» (Черняк, 1933: 163). П. Д. Боборыкин, настаивавший уже в начале XX в. на том, что именно он породил термин «интеллигенция» в его новом, социальном понимании (Боборыкин, 1904: 80), на самом деле первопроходцем отнюдь не был. Например, в его романе «Жертва вечерняя» (1868 г.) это слово употреблялось в традиционном значении: «Даже теперь я вижу, что твой ум возбужден неизмеримо больше, чем это было два года тому назад. Я вижу, что по твоей интеллигенции [...] прошла рука опытного мастера» (Боборыкин, 1886: 196). По своей исторической этимологии

в русской культуре «интеллигенция» сперва оказалась весьма близка к понятию «личность». И то, и другое представляло собой гегелевское «самосознание» (Гайда, 2019b: 45–71). Для Г. Ф. В. Гегеля личность выступала объективно сознающим себя субъектом (Гегель, Столшнер и Левина, 1990: 96). При этом человек был обречен отстаивать себя как личность (Гегель, Воден, 2000: 100, 118). Гегелевское определение, идеократическое по своей сути, пришлось очень кстати.

Уже в 1860-е гг. в России появляется новое понимание «интеллигенции» как образованного общества. Ю. С. Сорокин привел пример, относящийся к 1861 г. В статье слависта, профессора Харьковского университета П. А. Лавровского, посвященной Галиции, сообщалось: «Бесспорно, образованный класс, или, как называют его в Австрии, интеллигенция, отчетливо понимает значение сочувствия и помощи, ясно видит, что в таком-то случае правительство имеет свои расчеты» (Сорокин, 1965: 147). Таким образом, Лавровский употреблял слово в еще не привычном для русского общества значении. У А. К. Панфилова также цитируется статья за 1862 г., где обыгрываются сразу два значения слова: «Поляки (и друзья их) считают себя интеллигенцией края. Нужно не иметь никакой интеллигенции, чтобы считать их интеллигенцией вообще и интеллигенцией края в частности» (Панфилов, 1970: 367). В 1864 г. газета «Киевлянин» передавала разговор местного губернатора с польским помещиком, отказавшимся говорить по-русски (там же: 369):

— А на каком же языке вы объясняетесь с вашими русскими крестьянами? — А то мы с теми холопами говорим их мужицким языком, — отвечал один из представителей так называемой интеллигенции в крае. — Ну и со мной говорите тем же мужицким языком: я такой же русский, как и ваши крестьяне, и говорю так, как говорят они, — возразил изумленной интеллигенции представитель русского правительства в русском крае.

Как отметил А. К. Панфилов, само слово применялось именно в отношении польской элиты (там же). Летом 1863 г. термин появился в публицистике И. С. Аксакова. 22 июня 1863 г. он пояснял читателю: «Общество, т. е. та туземная среда, независимая по положению, поднимающаяся над общим уровнем населения своими материальными средствами и образованием, и называемая обыкновенно „интеллигенцией края“». По словам Аксакова, она вместе с католическим клиром

противостояла «простому народу», православному духовенству и чиновникам. 31 августа 1863 г. публицист вновь упомянул «Польскую интеллигенцию» (Аксаков, 1886: 109, 204).

Ю. С. Сорокин делает вывод: «Возможно, что и в дальнейшем на распространение у нас этого слова (как раз в период после Польского восстания 1863 г.) оказала влияние польская или западно-украинская среда». Однако аргументы для своей гипотезы автор находит лишь в текстах конца 1860-х гг. (Сорокин, 1965: 147). Тем не менее, есть и более ранние примеры. 11 апреля 1864 г., на исходе Польского мятежа, который столь сильно повлиял на внутрироссийские настроения, И. С. Аксаков опубликовал в своей газете «День» передовую статью «О значении областной России и необходимости областной печати», в которой писал (Аксаков, 1891: 181–182, 184)³:

Что бы случилось с Россией, если бы она управлялась не внутренними, не органическими началами своего хотя бы и неорганизованного земства, а только и единственно так называемым *образованным обществом* Санкт-Петербурга и Москвы — так долго чуждавшимся Русской народности и только теперь сближающимся с нею?!.. Что бы случилось с Россиею, если бы она была способна вполне подчиниться влиянию — например, хоть бы столичной светской среды или бюрократической стихии, обхватившей столичную *интеллигенцию* и, так сказать, вертеться, как флюгер, по воле всех ветров, дующих из-за границы, видоизменяться по прихоти всех теоретиков, начинивших свои пустые головы заемным содержанием и благоговеющих перед всякою последнею модною теориею, привезенную с Запада? [...] Пока *интеллигенция* в России жила полною невозмутимую верою в Запад, она могла, говоря ее языком, игнорировать провинцию и пренебрегать ею.

17 октября 1864 г. Аксаков писал: «Скрывать от иностранцев разрыв *образованных классов* с народом, слабость народного самосознания в Русском обществе, недостаток цельности, единства духовного с Русской землей и отсутствие органического творчества в так называемой Русской *интеллигенции* — скрывать это было бы совершенно напрасно; да и невозможно» [курсив наш — Ф. Г.] (там же: 224–225).

³Статья от 21 октября 1863 г. имеет название «Отчужденность интеллигенции от народной стихии» (Аксаков, 1891: 8), но оно не носит оригинального характера и дано публикатором уже после кончины И. С. Аксакова; в самом тексте упоминания «интеллигенции» нет. В предыдущей статье от 14 октября присутствует понятие «наше самосознание» (там же: 6). Ср. словесные обороты из статьи от 5 января 1863 г.: «Общество как народ на второй ступени своего развития, как народ самосознающий. [...] Дворянство [...] представляло собою силу интеллигентную, но не народную, и в строгом смысле слова не составляло и общества» (Аксаков, 1887а: 200–201).

Личная история взаимоотношений Аксакова с понятием «интеллигенция» сложилась прямо противоположным образом, чем у Боборыкина: введя его в оборот в наиболее распространенном позднее значении, Аксаков затем ставил его под сомнение. В речи при открытии памятника А. С. Пушкину 7 июня 1880 г. Иван Сергеевич говорил (Аксаков, 1887b: 816, 833):

Жизнь наводнилась ложью, призраками, абстрактами, подобиями, фасадами — и колоссальным недоразумением между народом и его так называемой «интеллигенцией» — официальной и неофициальной, консервативной и либеральной, аристократической и демократической. [...] Пусть изваянный в меди образ этого всемирного художника и русского народного поэта неумолчно зовет чреды сменяющихся поколений к труду народного самосознания, к плодотворному служению *истине* на поприще *правды народной*, чтоб сподобиться, наконец, русской «интеллигенции» стать действительным высшим выражением русского народного духа и его всемирно-исторического призвания в человечестве! [здесь и далее: курсив автора — Ф. Г.].

Предполагая польские корни термина, Ю. С. Сорокин указывал на его употребление Н. Я. Данилевским (Сорокин, 1965: 148). В его труде «Россия и Европа» (1869 г.) фигурирует преимущественно «польская интеллигенция», причем Данилевский часто применял оборот «так называемая» (Данилевский, 1995: 29, 82, 303, 309, 332, 333, 343–344, 396, 432, 459). В данном случае нет никаких сомнений в содержании самого термина (там же: 343):

Такие примеры гармонического внутреннего развития народной образованности вообще не слишком часты, — и лучшим из них может служить Англия. Ни Россия, ни другая какая-либо славянская страна не могут ими похвалиться; а без такой народной основы так называемая интеллигенция ничто иное, как более или менее многочисленное собрание довольно пустых личностей, получивших извне почерпнутое образование, неперевавших и неусвоивших его, а только перемалывающих в голове, перебалтывающих языком ходячие мысли, находящиеся в ходу в данное время под пошлой этикеткой — современных.

И далее: «Говорим „народы“, хотя в данном случае увлечение касается только общества (т. е. интеллигенции), но общество представляет собой движущуюся часть народа, а остальная часть является хранильницей непечатых сил» (там же: 432).

Можно привести ряд примеров за 1865 г., когда понятие «интеллигенция» употребляется в разных значениях. В дневнике кн. В. Ф. Одоевского за 11 августа 1865 г. отмечено (Одоевский, 1935: 198):

Милютин говорит: поляки в продолжение 40 и более лет смотрели на нас, как на *медведя*, правда — но с которым человек, *одаренный умом* (т. е. поляк), всегда может справиться посредством своей интеллигенции. Надобно их уверить, что и москаль не лишен интеллигенции.

А. В. Никитенко 7 апреля 1865 г. использовал переходный вариант («интеллигентное», т. е. образованное общество): «В так называемом интеллигентном обществе мало участия к этой великой скорби отца и царя-освободителя, но народ будет глубоко огорчен» (Никитенко, 1955: 507). Далее значение употреблялось вполне традиционное. 31 января 1865 г. в дневнике зафиксировано: «Вот что, между прочим, сказал остзейский губернатор граф П. А. Шувалов в речи своей в Дерпте, обращенной к представителям тамошнего университета, дворянства и прочее» (там же: 497):

Хотя я не уроженец этих провинций, но знаю по опыту, что по многим отраслям деятельности на всем пространстве нашего обширного государства нет лучшей рекомендации, как образование, полученное в Дерпте. [...] Выходит так, что за все лучшее, что мы имеем в нашей интеллигенции, за все это мы обязаны одним нашим немцам.

13 августа 1865 г. Никитенко записал в дневник (Никитенко, 1956: 130)⁴:

⁴С учетом приведенных цитат следует заключить, что под «интеллигенцией» Никитенко ранее, в 1864 г., вероятно, понимал все же самосознание. 25 февраля в дневнике появилось такое рассуждение: «Что поляки не могут снести вида русского мужика, что они питают к нему вместе и антипатию и презрение, — это понятно, потому что действительно они образованнее, а русский мужик или масса народа покоится еще в древнем варварском киммерийском мраке. Но непонятно то, что они те же чувствования питают к так называемому образованному сословию: ведь они уж никак не выше его. Тот же умственный и нравственный разврат, та же пустота ума, отсутствие всякого характера и пр. и пр. Их интеллигенция — такая же гадость, как и наша, да у них еще хуже, с прибавкою католицизма. Тут поистине нечем гордиться и превозноситься перед нами» (Никитенко, 1955: 413–414). 22 марта было записано: «Тут прочитал он целую огромную филищпику противу русских литераторов: как они малограмотны, малосведущи и бесстыдно недобросовестны. Он привел несколько фактов и примеров тому, которые, в самом деле, не много делают чести нашей интеллигенции» (там же: 424). 21 апреля описывалось скандальное поведение русских «нигилистов» и студентов: «Дивны дела твои, о русское общество и русская интеллигенция!» (там же: 432). Запись 4 октября отчетливо демонстрирует традиционное понимание термина «интеллигенция»: «Наша народность пока сильна только своею численностью, смутным сознанием своей силы и смутным же стремлением к самостоятельности. Разумеется, и эту силу и эту самостоятельность, равно как и сознание их, надобно всячески поддерживать, но не криком и показыванием кулаков, а более деятельными и твердыми стремлениями к развитию наших умственных и нравственных сил, к развитию народной интеллигенции» (там же: 466).

Они думают опираться единственно на массы, и потому для них не существует привилегированных состояний. Дворянство, наследственная аристократия, конечно, почти во всей Европе утратили свою силу и обаяние; но взамен их там выступила другая аристократия — аристократия ума, знания, таланта, словом, аристократия народной интеллигенции. Вот с нею-то труднее управляться. Наполеон III до сих пор управлялся, и некоторые другие захотели ему подражать, но мыслящая Франция, однакоже, с каждым днем заявляет свои силы и подымается на ноги. Тут в конце концов несдобровать деспотизму, опирающемуся на массы.

Министр внутренних дел П. А. Валуев 12 февраля 1865 г. написал в дневнике (Валуев, 1961: 22):

Кн. Долгоруков [...] сказал мне, что он объяснялся с Н. Милютиним насчет того, как он разумеет устройство управления под фирмою: «Царь и народ». Милютин объяснил, что прежде дворянство стояло между государем и частью подданных, но что и тогда уже не было никого между царем и государственными крестьянами. Теперь же вместо 10 млн., имеющих прямое общение с царем, 20 млн., — вот и все различие. Управление по-прежнему будет состоять из элементов *интеллигенции* без различия сословий, призываемых к правительственной деятельности правительственной властью.

Под «элементами интеллигенции», таким образом, уже понимаются представители образованного общества. Но и в 1870 г. М. Е. Салтыков (Щедрин) вполне мог писать так: «Все эти картины и рассказы живописуют именно высшее русское общество, в котором, по всем данным, должна была сосредоточиваться наша интеллигенция» (Салтыков-Щедрин, 1970: 390)⁵.

Появление нового термина зачастую иронически обыгрывалось. В дневнике В. О. Ключевского сохранилась запись (между 14 апреля и 7 мая 1866 г.) (Ключевский, 1968: 228):

А вот и интеллигенция! Что она? Как себя чувствует? Грустно! Народ безумствует пред великими фигурами Минина и Пожарского, не понимая их смысла и значения, жаждет молебнов с вином, попирает и религию и историю — все свое нравственное и умственное достояние. А интеллигенции грезятся призраки или сама она становится безобразным призраком, в действительность которого не хотелось бы верить. Презренная учащаяся молодежь, ругающаяся и над верой и над народом, устраивает процессии к Иверской, ставит

⁵Н. В. Шелгунов в 1871 г. писал о «людях интеллигенции». При этом уже в 1875 г. у него встречается понятие «интеллигент» (Шелгунов, 1871: 23; Шелгунов, 1875: 134; Языков Н. [Шелгунов Н. В.], 1875: 70–101; Сорокин, 1965: 145–146, 148–149).

неугасимые лампы, носит на руках заведомого, осмеянного ей самой дурака и мошенника, — всякий глупый торгаш чувствует себя вправе сказать ей в глаза, что еще недавно она бунтовала *на всех трех языках*. Мыслящие люди, неучащиеся дети, — что они? — толкуют о черни, смешивая ее с народом и сравнивая с парижским пролетариатом, глумятся над ее безобразиями и боятся ее дикой силы, кружатся в болоте собственных недодуманных, нервических соображений и, не зная выхода, не видя ничего ни впереди, ни за собой, вызывают великие тени Петра и Екатерины, винят их в собственных гадостях, не желая подумать, что в их собственные головы не влезет и миллионной доли того, что продумали и выносили в душе поругаемые великие наши деятели. Предания, будущее и прошедшее — все нипочем!.. Мне жаль тебя, русская мысль, и тебя, русский народ!

В хронике «Чающие движения воды» (первоначальной версии «Собо-рян», опубликованной в 1867 г.) Н. С. Лесков писал (Лесков, 1867: 491) :

В Старом Городе, конечно, были люди и поразвитее, и подальнороче — была своя интеллигенция, даже было несколько сортов этой интеллигенции; но на всех представителей этой интеллигенции Глафира смотрела, не видя их вовсе, как не видала валявшихся перед ее домом неграмотных. Интеллигенцию эту составляли преимущественно не коренные старогорожане, а люди пришлые — чиновники и духовенство. Все они играли между собою в карты, строили друг другу разные шуточки и штучки, и все жили своею жизнью, не желая никакой иной жизни, и ни о какой иной жизни не мечтали, тогда как Глафира жила одними мечтами.

Подобная ирония была характерна и для И. С. Тургенева в рассказе «Странная история» (1869 г.): «А впрочем, послезавтра в дворянском собрании большой бал. Советую съездить: здесь не без красавиц. Ну и всю нашу *интеллигенцию* вы увидите» (Тургенев, 1981: 139–140). Н. К. Михайловский в 1868 г. писал (Михайловский, 1868: 337–338):

Литератор, чиновник, адвокат, актер, околоточный надзиратель, артист, духовное лицо, — все это несомненная интеллигенция. Всякая Перепетуя Епистратовна мнит себя причастною к интеллигенции, «потому как она дама образованная». А уж если человек знаком с Персией по персидскому порошку, с Англией по английской соли и с Францией по французской болезни, то интеллигенция его не подлежит ничьим сомнениям. Кажется, Наполеон говорил: «поскоблите русского и обрячете казака, поскоблите казака и обрячете медведя». Теперь к этому изречению следует еще прибавить такой хвостик: «поскоблите медведя и обрячете интеллигенцию».

С этого времени «интеллигенция» в аксаковском значении социальной группы уже встречается у целого ряда социалистических публицистов.

Однако, в отличие от Михайловского, другие авторы относились к новому термину вполне серьезно. П. Н. Ткачев заявлял (Ткачев, 1975: 292, 295):

Образованное меньшинство стоит почти на одинаковом уровне развития с образованным меньшинством западной Европы, — мало того, — по господствующим в нем тенденциям, по господствующему в нем складу и направлению мысли, оно, по крайней мере, в лице своих лучших представителей, может занять не последнее место в первых рядах европейской интеллигенции. [...] По своему строго-критическому отношению к окружающим ее явлениям, по смелости своей мысли, — она ни в чем не уступает лучшей части западно-европейской интеллигенции.

При этом Ткачев отмечал новую важную тенденцию:

Центр тяжести нашей интеллигенции переместился; прежде она почти исключительно выходила из сословия прочно обеспеченного, консервативно настроенного; теперь же барская интеллигенция должна была ступеваться перед другою, вышедшею из другого класса людей. Этот другой класс людей, начавший формироваться очень давно, и получивший особенно сильное развитие после экономических преобразований, составляет нечто среднее между сословием прочно обеспеченным и совсем необеспеченным. Умственные занятия и другие тесно связанные с ними отрасли труда служат для него единственным средством к существованию; а так как запрос на продукты подобного труда, при таких условиях, в которых живет большинство нашего населения, весьма ограничен, то понятно, что обеспечение этого класса не представляет никакой прочности, никакой солидности. Видя источник своего существования единственно в своей собственной деятельности, в своем личном труде, — он не имеет ни малейших оснований питать нежные чувства к каким-либо другим посторонним источникам, которые его не поят и не кормят.

Профессионализация интеллектуального труда была отмечена Н. В. Шелгуновым: «Интеллигент — не всякий, кто думает. Надо знать, что думать, надо уметь думать» (Языков Н. [Шелгунов Н. В.], 1875: 71; Сорокин, 1965: 145–146, 148–149).

Постепенно новый термин входил в лексикон более умеренных кругов. В 1875 г. Ф. М. Достоевский отметил в записной книжке (в ней также содержались полемические выпады против Н. К. Михайловского): «Вся интеллигенция России, с Петра Великого начиная, не участвовала в прямых и текущих интересах России, а всегда тянула дребедень отвлеченно-интеллигентскую...» (Достоевский, 1980: 267). Через несколько

лет, 19 декабря 1880 г., в письме А. Ф. Благодравову писатель поставит вопрос о «неинтеллигентности» (несознательности) интеллигенции и необходимости «новой интеллигенции» (Достоевский, 1988: 236):

Нет, уж я лучше буду с народом; ибо от него только можно ждать чего-нибудь, а не от интеллигенции русской, народ отрицающей и которая даже не интеллигентна. Но возрождается и идет новая интеллигенция, та хочет быть с народом. А первый признак неразрывного общения с народом есть уважение и любовь к тому, что народ всею целостью своей любит и уважает более и выше всего, что есть в мире, — то есть своего Бога и свою веру. Эта новогрядущая интеллигенция русская, кажется, именно теперь начинает подымать голову. Именно, кажется, теперь она потребовалась к общему делу, и она это начинает и сама сознавать.

К этому времени появились расширительные трактовки «интеллигенции». В письме Н. К. Михайловскому, 14 марта 1876 г. Г. И. Успенский назвал «интеллигенцией» конторских служащих (Г. И. Успенский, 1951: 192):

Подлые концессионеры глотают миллионы во имя разных шарлатанских проектов, — а во сколько же раз подлее интеллигенция, которая не за миллионы, а за два двугривенных осуществляет эти разбойничьи проекты на деле, там, в глубине страны?

Одновременно Успенский использовал и обычное значение: «Жизнь крепостного народа всегда была сокрыта для русского общества, быть может потому, что и интеллигенция-то русская сплошь состояла из душевладельцев» (Г. И. Успенский, 1953: 69). Под «интеллигенцией» могли подразумевать и различные социальные элиты. Путешественник П. И. Огородников писал (Огородников, 1878: 187):

В интересах отечественной торговли и промышленности *настоятельно требуется присутствие русского элемента в Персии, для распространения в ней наших произведений, но только торговая интеллигенция в состоянии устроить это дело*, а не рутинная торговля армян и мусульман, доставляющих сюда из России товары, какие вывозили их деды и отцы.

Однако к концу 1870-х гг. «интеллигенция» в значении образованной общественности стала повсеместно употребляема, причем среди публицистов разных политических направлений. Во втором издании словаря В. И. Даля (1881 г.) приводилось такое значение: «Интеллигенция — разумная, образованная, умственно развитая часть жителей» (Даль, 1881: 44). В 1879 г. Щедрин уже высмеивал подобные определения (Убежище Монрепо; Салтыков-Щедрин, 1972: 386–387):

Благодаря этим наблюдениям, я знаю, например, что независимо от клейменных русских словарей в нашей жизни выработался свой собственный подоплечный словарь, имеющий очень мало сходства с клейменными. И представь себе, Разуваев, что когда речь идет о выражениях еще не утвердившихся, новоявленных, каковы, например: интеллигенция, культура, дирижирующие классы и пр., то я положительно предпочитаю последний первым. Я инстинктивно чувствую, что клейменные словари фаталистически обречены на повторение задов. [...] Но, по счастью, рядом с клейменными словарями существует толковый интимно-обывательский словарь, который провидит и отлично объясняет смысл даже таких выражений, перед которыми клейменный словарь стоит, уставясь лбом в стену. Вот к этому-то неизданному, но превосходнейшему словарю я всегда и обращаюсь, когда мне нужно вложить персты в язвы. [...] Я, по старой привычке, беру сначала клейменный словарь и спешу справиться в нем: что сей сон значит? Но увы! никаких утешений в нем не обретаю, кроме того, что интеллигенция есть интеллигенция, а правящий класс есть тот, который правит. Тогда я припоминаю, что у нас есть еще неизданный интимно-обывательский толковый словарь, мысленно разворачиваю его и читаю следующее: *Интеллигенция*, или кровопивство... *Правящий класс*, или шайка людей, втихомолку от начальства объегоривающая...

При этом позднее (1886 г.) в творчестве Щедрина акценты поменялись (Мелочи жизни; Салтыков-Щедрин, 1974: 12–13):

В последнее время многие огульно обвиняли нашу интеллигенцию во всех неурядицах и неурействах и предлагали против нее поистине неслыханные, по своей нелепости, меры. [...] Не будь интеллигенции, мы не имели бы ни понятия о чести, ни веры в убеждения, ни даже представления о человеческом образе. Остались бы «чумазы» с их исконным стремлением расцарапать общественный карман до последней нитки

Подобное понимание соответствовало тенденциям 1880-х гг., когда уже рождалось представление о «настоящей» или «передовой» интеллигенции. О «передовой интеллигенции» писал в 1884 г. П. Л. Лавров (Социальная революция и задачи нравственности; Лавров, 1965: 486, 489). Позднее он отмечал: «Историческая эволюция имеет место, как имела место с самого начала исторического времени, лишь в меньшинстве *интеллигенции*, которая одна познала наслаждение развитием, ощутила в нем потребность и с тем вместе стала жить исторической жизнью» (Биография-исповедь; там же: 647).

Таким образом, русский термин «интеллигенция» для обозначения определенной социальной группы (образованного общества) сформировался в 60-е гг. XIX столетия под польским влиянием. Первоначально

он воспринимался как инородный и зачастую становился объектом иронических нападок. Однако уже в конце 1860-х гг. новое понятие было принято на вооружение народническими публицистами. Позднее, в 1880-е гг. в русской социалистической публицистике начнет складываться новое значение интеллигенции: упор будет сделан не на образовании, а на идейности (Гайда, 2019а: 141–149). Впрочем, в польском контексте это произошло еще в начале 1860-х гг. Как бы то ни было, а новые смыслы возникали в России на фоне усиливавшегося кризиса сословного строя и формирования общественности как самостоятельной политической силы. Основным оружием этой новой силы считались мысль и сознательность, что постоянно побуждало выводить термин «интеллигенция» из-под ударов критиков и вкладывать в него новые позитивные смыслы.

ЛИТЕРАТУРА

- Jedlicki J.* Problems with the Intelligentsia // *Acta Poloniae Historica*. — 2009. — Т. 100. — С. 15–30.
- Аксаков И. С.* Сочинения И. С. Аксакова 1860–1886. В 7 т. Т. 3. — СПб. : Типография Л. Г. Волчанинова, 1886.
- Аксаков И. С.* Сочинения И. С. Аксакова 1860–1886. В 7 т. Т. 6. — СПб. : Типография Л. Г. Волчанинова, 1887а.
- Аксаков И. С.* Сочинения И. С. Аксакова 1860–1886. В 7 т. Т. 7. — СПб. : Типография Л. Г. Волчанинова, 1887б.
- Аксаков И. С.* Сочинения И. С. Аксакова. В 4 т. Т. 2. — СПб. : Типография А. С. Суворина, 1891.
- Боборыкин П. Д.* Собрание сочинений. В 12 т. Т. 5. — М. : Типография Товарищества М. О. Вольфа, 1886.
- Боборыкин П. Д.* Русская интеллигенция // *Русская Мысль*. — 1904. — № 12. — С. 80–82.
- Гайда Ф. А.* Миссия «интеллигенции» в публицистике русского освободительного движения (1882–1909) // *Вопросы философии*. — 2019а. — № 9. — С. 141–149. — DOI: 10.31857/S004287440006326-3.
- Гайда Ф. А.* Понятие «личность» в эпоху Достоевского : самосознание или самопожертвование? // *Достоевский и мировая культура : Филологический журнал*. — 2019б. — Т. 6, № 2. — С. 45–71. — DOI: 10.22455/2619-0311-2019-2-45-71.
- Гегель Г. В. Ф.* Философия права / пер. с нем. Б. Г. Столпнер, М. И. Левиной. — М. : Мысль, 1990.
- Гегель Г. В. Ф.* Лекции по философии истории / пер. с нем. А. М. Водена. — СПб. : Наука, 2000.

- Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. — СПб., М. : Типография Товарищества М. О. Вольфа., 1881.
- Данилевский Н. Я.* Россия и Европа : Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому. — СПб. : Глаголь, 1995.
- Достоевский Ф. М.* Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 21. Дневник писателя 1873. Статьи и заметки 1873–1878 / под ред. Л. Д. Опульской. — М., Л. : Наука, 1980.
- Достоевский Ф. М.* Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 30. Ч. 1. Письма, 1878–1881 / под ред. А. В. Архиповой. — М., Л. : Наука, 1988.
- Жуковский В. А.* Полное собрание сочинений и писем. В 20 т. Т. 14 / под ред. И. А. Айзиковой, Н. Ж. Вётшевой. — М. : Языки славянской культуры, 2004.
- Ключевский В. О.* Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. — М. : Наука, 1968.
- Лавров П. Л.* Философия и социология : Избранные произведения. В 2 т. Т. 2 / под ред. А. Ф. Окулова. — М. : Мысль, 1965.
- Лесков Н. С.* Чающие движения воды (Романическая хроника) // Отечественные записки. — 1867. — Т. 171. — С. 463–513.
- Маркевич Б. М.* Полное собрание сочинений и писем. В 11 т. Т. 11. Чад жизни. Рассказы и очерки. — М. : Издательство М. В. Саблина, 1912.
- Маркс К.* О сословных комиссиях Пруссии // Собрание сочинений. В 50 т. : пер. с нем. / К. Маркс, Ф. Энгельс. — М. : Государственное издательство политической литературы, 1975. — С. 275–291.
- Михайловский Н. К.* Письма о русской интеллигенции : Письмо I // Современное обозрение. — 1868. — № 6. — С. 337–351.
- Мотин С. В.* О понятии «интеллигенция» в творчестве И. С. Аксакова и П. Д. Боборыкина // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. — 2012. — № 27. — С. 838–844.
- Никитенко А. В.* Дневник. В 3 т. Т. 2 / под ред. И. Я. Айзенштока. — М., Л. : Гослитиздат, 1955.
- Никитенко А. В.* Дневник. В 3 т. Т. 3 / под ред. И. Я. Айзенштока. — М., Л. : Гослитиздат, 1956.
- Огородников П. И.* Очерки Персии. — СПб. : Типография товарищества «Общественная польза», 1878.
- Одоевский В. Ф.* «Текущая хроника и особые происшествия» : Дневник В. Ф. Одоевского 1859–1869 гг. // Литературное наследство. Т. 22/24 / под ред. П. И. Лебедева-Полянского. — М. : Жур. газ. объединение, 1935. — С. 79–308.
- Панфилов А. К.* О слове интеллигенция // Вопросы языкознания и русского языка : Ученые записки МГПИ им. В. И. Ленина. — 1970. — № 353. — С. 362–373.
- Салтыков-Щедрин М. Е.* Собрание сочинений. В 20 т. Т. 9. Рассказы и очерки : Критика и публицистика. 1868–1883. — М. : Художественная литература, 1970.

- Салтыков-Щедрин М. Е.* Собрание сочинений. В 20 т. Т. 13. Господа Головлевы. 1875–1880. Убежище Монрепо. 1878–1879. Круглый год. 1879–1880. — М. : Художественная литература, 1972.
- Салтыков-Щедрин М. Е.* Собрание сочинений. В 20 т. Т. 16. Сказки. 1869–1886. Пестрые письма. 1884–1886. — М. : Художественная литература, 1974.
- Сорокин Ю.* Развитие словарного состава русского литературного языка : 30–90-е годы XIX века. — М. : Наука, 1965.
- Степанов Ю. С.* «Жрец» нарекись, и знаменуйся : «Жертва» (К понятию «интеллигенция» в истории российского менталитета) // Русская интеллигенция : История и судьба / под ред. Т. Б. Князевской. — М. : Наука, 1999. — С. 14–44.
- Ткачев П. Н.* Сочинения. В 2 т. Т. 1 / под ред. А. А. Галактионовой, В. Ф. Пустарнаковой. — М. : Мысль, 1975.
- Тургенев И.* Полное собрание сочинений и писем. В 12 т. Т. 8 / под ред. М. П. Алексеева. — М. : Наука, 1981.
- Успенский Б. А.* Русская интеллигенция как специфический феномен русской культуры // Русская интеллигенция и западный интеллектуализм : История и типология / под ред. Н. Г. Охотина. — М. : О.Г.И., 1999. — С. 7–20.
- Успенский Г. И.* Полное собрание сочинений. В 14 т. Т. 13. — М. : Издательство АН СССР, 1951.
- Успенский Г. И.* Полное собрание сочинений. В 14 т. Т. 13. — М. : Издательство АН СССР, 1953.
- Черняк Я. З.* Огарев, Некрасов, Герцен, Чернышевский в споре об огаревском наследстве по архивным материалам : Последнее советское поколение. — М. : Academia, 1933.
- Шелгунов Н. В.* Неудавшаяся «Беседа» и задачи интеллигенции // Дело. — 1871. — № 5. — С. 20–49.
- Шелгунов Н. В.* Внутреннее обозрение // Дело. — 1875. — № 9. — С. 123–150.
- Шмидт С. О.* «Интеллигенция» — слово пушкинского окружения // Труды Института российской истории РАН. 1997–1998. Ч. 2 / под ред. А. Н. Сахарова. — М. : ИРИ РАН, 2000. — С. 90–108.
- Языков Н.* [Шелгунов Н. В]. Теперешний интеллигент // Дело. — 1875. — № 10. — С. 70–101.

Gayda, F. A. 2020. “‘Russkaya intelligentsiya’: rozhdeniye ponyatiya [‘Russian intelligentsia’: the Birth of the Concept]” [in Russian]. *Filosofiya. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki* [*Philosophy. Journal of the Higher School of Economics*] IV (2), 229–248.

FEDOR GAYDA

DOCTOR OF LETTERS IN HISTORY; HABILITATED DOCTOR, PROFESSOR AND CONSULTANT,
I. KANT BALTIC FEDERAL UNIVERSITY

“RUSSIAN INTELLIGENTSIA”: THE BIRTH OF THE CONCEPT

Submitted: Dec. 21, 2019. Accepted: Apr. 08, 2020.

Abstract: The question of the emergence in Russia of the social concept of “intelligentsia” is considered in the article. The Russian term “intelligentsia” as a certain social group (educated society, collective thinking personality) was formed in the 60s. XIX century under Polish influence (in Poland, in turn, the concept originated from Germany). The decisive importance in this was played by the journalism of I. S. Aksakov. Initially, the term was perceived as foreign and often became the object of ironic attacks (N. S. Leskov, I. S. Turgenev, N. K. Mikhailovsky). However, in the late 1860s. a new concept was adopted by the Populist publicists (N. V. Shelgunov, P. N. Tkachev). Out-of-class understanding of the “intelligentsia” was of great importance for populists. The convergence of the new concept with the bourgeois layers occurred in the 1870s, which again provoked criticism from the writers (G. I. Uspensky, M. E. Saltykov-Shchedrin). The concept of “advanced intelligentsia” (P. L. Lavrov) appeared as an answer. In general, the evolution of the term in Russia corresponded to the Polish tendency: from an abstract philosophical category to the designation of an educated society, and then to its progressively thinking (advanced) forces. New meanings arose against the background of the crisis of the estate system and the formation of the public as an independent political force. The main weapon of this new force was thought and consciousness, which constantly prompted to withdraw the term “intelligentsia” from the blows of critics and to invest in it new positive meanings.

Keywords: Intelligentsia, I. S. Aksakov, N. Ya. Danilevsky, F. M. Dostoevsky, N. K. Mikhailovsky, P. L. Lavrov, P. N. Tkachev, M. E. Saltykov-Shchedrin.

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-2-229-248.

REFERENCES

- Aksakov, I. S. 1886. [in Russian]. Vol. 3 of *Sochineniya I. S. Aksakova 1860–1886* [Writings of I. S. Aksakov 1860–1886]. 7 vols. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Tipografiya L. G. Volchaninova.
- . 1887a. [in Russian]. Vol. 6 of *Sochineniya I. S. Aksakova 1860–1886* [Writings of I. S. Aksakov 1860–1886]. 7 vols. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Tipografiya L. G. Volchaninova.
- . 1887b. [in Russian]. Vol. 7 of *Sochineniya I. S. Aksakova 1860–1886* [Writings of I. S. Aksakov 1860–1886]. 7 vols. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Tipografiya L. G. Volchaninova.
- . 1891. [in Russian]. Vol. 2 of *Sochineniya I. S. Aksakova* [Writings of I. S. Aksakov]. 4 vols. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Tipografiya A. S. Suvorina.
- Boborykin, P. D. [Boborykin, P. D.] 1886. [in Russian]. Vol. 5 of *Sobraniye sochineniy* [Complete Works]. 12 vols. Moskva [Moscow]: Tipografiya Tovarishchestva M. O. Vol'fa.

- . 1904. “Russkaya intelligentsiya [Russian Intelligentsia]” [in Russian]. *Russkaya Mysl’ [Russian Thought]*, no. 12: 80–82.
- Chernyak, Ya. Z. 1933. *Ogarev, Nekrasov, Gertsen, Chernyshevskiy v spore ob ogarevskom nasledstve po arkhivnym materialam [It Was Forever, Until it Was Over]: Posledneye sovet-skoye pokoleniye [The Last Soviet Generation]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: Academia.
- Dal’, V. I. 1881. *Tolkovyy slovar’ zhivogo velikorusskogo yazyka [Explanatory Dictionary of Living Great Russian Language]* [in Russian]. Vol. 2. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg] and Moskva [Moscow]: Tipografiya Tovarishchestva M. O. Vol’fa.
- Danilevskiy, N. Ya. 1995. *Rossiya i Yevropa [Russia and Europe]: Vzgljad na kul’turnyye i politicheskiye otnosheniya Slavyanskogo mira k Germano-Romanskomu [Views on Cultural and Political Relations of the Slavic World to German-Romanian]* [in Russian]. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Glagol’.
- Dostoyevskiy, F. M. 1980. *Dnevnik pisatelya 1873. Stat’i i zametki 1873–1878 [Writer’s Diary in 1873. Articles and notes 1873–1878]* [in Russian]. Vol. 21 of *Polnoye sobraniye sochineniy [Complete Works]*, ed. by L. D. Opuł’skaya. 30 vols. Moskva [Moscow] and Leningrad: Nauka.
- . 1988. *Pis’ma, 1878–1881 [Letters, 1878–1881]* [in Russian]. Vol. 30, bk. 1 of *Polnoye sobraniye sochineniy [Complete Works]*, ed. by A. V. Arkhipova. 30 vols. Moskva [Moscow] and Leningrad: Nauka.
- Gayda, F. A. 2019a. “Missiya ‘intelligentsii’ v publitsistike russkogo osvoboditel’nogo dvizheniya (1882–1909) [Mission of ‘intelligentsia’ in Publicity of the Russian Liberation Movement (1882–1909)]” [in Russian]. *Voprosy filosofii [Question of Philosophy]*, no. 9: 141–149. doi:10.31857/S004287440006326-3.
- . 2019b. “Ponyatiye ‘lichnost’ v epokhu Dostoyevskogo [Notion of ‘Personality’ During the Time of Dostoevsky]: samosoznaniye ili samopozhertvovaniye? [Self-Consciousness or Self-Sacrifice?]” [In Russian]. *Dostoyevskiy i mirovaya kul’tura [Dostoevsky and World Culture]: Filologicheskii zhurnal [Philological Journal]* 6 (2): 45–71. doi:10.22455/2619-0311-2019-2-45-71.
- Gegel’, G. V. F. [Hegel, G. W. F.] 1990. *Filosofiya prava [Grundlinien der Philosophie des Rechts]* [in Russian]. Trans. from the German by B. G. Stolpner and M. I. Levina. Moskva [Moscow]: Mysl’.
- . 2000. *Lektsii po filosofii istorii [Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte]* [in Russian]. Trans. from the German by A. M. Voden. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Nauka.
- Jedlicki, J. 2009. “Problems with the Intelligentsia” [in Russian]. *Acta Poloniae Historica* 100:15–30.
- Klyuchevskiy, V. O. 1968. *Pis’ma. Dnevniki. Aforizmy i mysli ob istorii [Letters. Diaries. Aphorisms and Thoughts About History]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: Nauka.
- Lavrov, P. L. 1965. [in Russian]. Vol. 2 of *Filosofiya i sotsiologiya [Philosophy and Sociology]: Izbrannyye proizvedeniya [Selected Works]*, ed. by A. F. Okulov. 2 vols. Moskva [Moscow]: Mysl’.
- Leskov, N. S. 1867. “Chayushchiye dvizheniya vody (Romanicheskaya khronika) [Charming Water Movements (The Romanic Chronicle)]” [in Russian]. *Otechestvennyye zapiski [Fatherland Notes]* 171:463–513.
- Markevich, B. M. 1912. *Chad zhizni. Rasskazy i ocherki [The Chad of Life. Stories and Essays]* [in Russian]. Vol. 11 of *Polnoye sobraniye sochineniy i pisem [Complete Works]*. 11 vols. Moskva [Moscow]: Izdatel’sтво M. V. Sablina.

- Marks, K. 1975. "O soslovykh komissiyakh Prussii [Ueber die staendischen Ausschusse in Preussen]" [in Russian]. In *Sobraniye sochineniy [Collected Works]*, by K. Marks and F. Engel's, 275–291. 50 vols. Moskva [Moscow]: Gosudarstvennoye izdatel'stvo politicheskoy literatury.
- Motin, S. V. 2012. "O ponyatii 'intelligentsiya' v tvorchestve I. S. Aksakova i P. D. Boborykina [On the Notion 'Intelligentsia' in the Works of I. S. Aksakov and P. D. Boborykin]" [in Russian]. *Izvestiya PGPU im. V. G. Belinskogo [Proceedings of the Belinsky State Pedagogical University]*, no. 27: 838–844.
- Nikitenko, A. V. 1955. "O slove intelligentsiya [About the Word Intelligentsia]" [in Russian]. Vol. 2 of *Dnevnik [Diary]*, ed. by I. Ya. Ayzenshtok. 3 vols. Moskva [Moscow] and Leningrad: Goslitizdat.
- . 1956. [in Russian]. Vol. 3 of *Dnevnik [Diary]*, ed. by I. Ya. Ayzenshtok. 3 vols. Moskva [Moscow] and Leningrad: Goslitizdat.
- Odoyevskiy, V. F. 1935. "'Tekushchaya khronika i osobyye proisshestviya' ['Current Chronicles and Special Events']": Dnevnik V. F. Odoyevskogo 1859–1869 gg. [Diary of V. F. Odoyevsky 1859–1869]" [in Russian]. In *Literaturnoye nasledstvo [Literary Heritage]*, ed. by P. I. Lebedev-Polyanskiy, 22/24:79–308. Moskva [Moscow]: Zhur. gaz. ob'yedineniye.
- Ogorodnikov, P. I. 1878. *Ocherki Persii [Essays on Persia]* [in Russian]. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Tipografiya tovarishchestva "Obshchestvennaya pol'za".
- Panfilov, A. K. 1970. "O slove intelligentsiya [About the Word Intelligentsia]" [in Russian]. *Voprosy yazykoznaniiya i russkogo yazyka [Linguistics and Russian Language Issues]: Uchenyye zapiski MGPI im. V. I. Lenina [Academic Notes of Lenin's Moscow Pedagogical State University]*, no. 353: 362–373.
- Protasov, A. [Mikhaylovskiy, N. K.] 1868. "Pis'ma o russkoy intelligentsii [Letters on Russian Intelligentsia]: Pis'mo I [Letter I]" [in Russian]. *Sovremennoye obozreniye [Contemporary Review]*, no. 6: 337–351.
- Saltykov-Shchedrin, M. Ye. 1970. *Rasskazy i ocherki [Child of life. Stories and Essays]: Kritika i publitsistika. 1868–1883 [Criticism and Publicism. 1868–1883]* [in Russian]. Vol. 9 of *Sobraniye sochineniy [Complete Works]*. 20 vols. Moskva [Moscow]: Khudozhestvennaya literatura.
- . 1972. *Gospoda Golovlevy. 1875–1880. Ubezhrishche Monrepo. 1878–1879. Kruglyy god. 1879–1880 [Gentlemen of the Golovlevs. 1875–1880. The Sanctuary of Montrepo. 1878–1879. All Year Round. 1879–1880]* [in Russian]. Vol. 13 of *Sobraniye sochineniy [Complete Works]*. 20 vols. Moskva [Moscow]: Khudozhestvennaya literatura.
- . 1974. *Skazki. 1869–1886. Pestryye pis'ma. 1884–1886 [Fairytale tales. 1869–1886. Painted letters. 1884–1886]* [in Russian]. Vol. 16 of *Sobraniye sochineniy [Complete Works]*. 20 vols. Moskva [Moscow]: Khudozhestvennaya literatura.
- Shelgunov, N. V. 1871. "Neudavshayasya 'Beseda' i zadachi intelligentsii [The Failed 'Conversation' and the Challenges of the Intelligentsia]" [in Russian]. *Delo [The Case]*, no. 5: 20–49.
- . 1875. "Vnutrenneye obozreniye [Inner View]" [in Russian]. *Delo [The Case]*, no. 9: 123–150.
- Shmidt, S. O. 2000. "'Intelligentsiya'—slovo pushkinskogo okruzheniya ['Intelligentsia'—Word of Pushkin's Company]" [in Russian]. In *Trudy Instituta rossiyskoy istorii RAN. 1997–1998 [Proceedings of Institute of Russian History RAS. 1997–1998]*, ed. by A. N. Sakharov, bk. 2, 90–108. Moskva [Moscow]: IRI RAN.
- Sorokin, Yu. S. 1965. *Razvitiye slovarnogo sostava russkogo literaturnogo yazyka [Development of the Vocabulary of the Russian Literary Language]: 30–90-ye gody XIX veka [30–90s of the XIX century]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: Nauka.
- Stepanov, Yu. S. 1999. "'Zhrets' narekis', i znamenuysya [The 'Priest' Call Yourself, and Be Known]: 'Zhertva' (K ponyatiyu 'intelligentsiya' v istorii rossiyskogo mentaliteta) ['Victim'

- (To the Concept of 'Intelligentsia' in the History of the Russian Mentality)]" [in Russian]. In *Russkaya intelligentsiya [Russian Intelligentsia] : Istoriya i sud'ba [History and Fate]*, ed. by T. B. Knyazevskaya, 14–44. Moskva [Moscow]: Nauka.
- Tkachev, P. N. 1975. [in Russian]. Vol. 1 of *Sochineniya [Works]*, ed. by A. A. Galaktionova and V. F. Pustarnakova. 2 vols. Moskva [Moscow]: Mysl'.
- Turgenev, I. S. 1981. [in Russian]. Vol. 8 of *Polnoye sobraniye sochineniy i pisem [Complete Works and Letters]*, ed. by M. P. Alekseyev. 12 vols. Moskva [Moscow]: Nauka.
- Uspenskiy, B. A. 1999. "Russkaya intelligentsiya kak spetsificheskiy fenomen russkoy kul'tury [Russian Intelligentsia as a Specific Phenomenon of Russian Culture]" [in Russian]. In *Russkaya intelligentsiya i zapadnyy intellektualizm [Russian Intelligentsia and Western Intellectualism] : Istoriya i tipologiya [History and Typology]*, ed. by N. G. Okhotin, 7–20. Moskva [Moscow]: O.G.I.
- Uspenskiy, G. I. 1951. [in Russian]. Vol. 13 of *Polnoye sobraniye sochineniy [Complete Works]*. 14 vols. Moskva [Moscow]: Izdatel'stvo AN SSSR.
- . 1953. [in Russian]. Vol. 13 of *Polnoye sobraniye sochineniy [Complete Works]*. 14 vols. Moskva [Moscow]: Izdatel'stvo AN SSSR.
- Yazykov, N. [Shelgunov, N. V.]. 1875. "Tepereshniy intelligent [The Present Intellectual]" [in Russian]. *Delo [The Case]*, no. 10: 70–101.
- Zhukovskiy, V. A. 2004. [in Russian]. Vol. 14 of *Polnoye sobraniye sochineniy i pisem [Complete Works]*, ed. by I. A. Ayzikova and N. Zh. Vëtsheva. 20 vols. Moskva [Moscow]: Yazyki slavyanskoy kul'tury.

АЛЕКСЕЙ ПАНЧЕНКО*

ОТ ОБЩЕГО К ЧАСТНОМУ И ОБРАТНО**

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЗНАНИЯ НАРОДНИКАМИ

Получено: 08.03.2020. Принято: 09.05.2020.

Аннотация: Народничество как общественное движение и интеллектуальное течение начало формироваться в 1860–70-х гг. в среде российского студенчества. Несмотря на то, что первые народники обучались на разных специальностях, существовал определенный интеллектуальный «канон», знакомство с которым было необходимым для всех. Именно исходя из глобальных историко-философских и политико-экономических концепций, была сформирована народническая идеология, которая должна была получить подтверждение в ходе дальнейших действий. Однако «хождение в народ» показало, что столь широкие обобщения идут вразрез с действительностью и не могут использоваться в качестве инструмента познания. После разгрома народничества многие его участники оказались в ссылке на окраинах империи, где были лишены доступа к традиционному кругу чтения. Одной из основных форм деятельности для них стало участие в экспедициях, в которых собирался конкретный материал (от этнографического до геологического), осмысление которого требовало знакомства с узкоспециальной литературой. По мере накопления полевого материала, некоторые народники так или иначе выходили на уровень новых обобщений, часто делая это как бы мимоходом. В ходе Сибиряковской экспедиции были высказаны довольно смелые лингвистические и антропологические гипотезы, при обсуждении проектов экспозиции в Русском музее Д. А. Клеменцем были сформулированы основы теории хозяйственно-культурных типов. Позднее бывшие народники Л. Я. Штернберг и В. Г. Богораз смогли создать новые глобальные концепции в этнографии, касающиеся происхождения религии и развития культуры. Таким образом производство знания народниками шло по следующему принципу: сначала использовались обобщающие теории, которые не выдержали проверки практикой, затем настал этап создания частнонаучных знаний в области археологии, этнографии, геологии, а после на их основе создавались новые теории высокого уровня.

Ключевые слова: народничество, этнография, Д. А. Клеменц, В. Г. Богораз, П. Л. Лавров, Л. Я. Штернберг, история науки.

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-2-249-281.

Проблема производства социально-гуманитарного знания в Российской империи в последние полтора десятилетия стала объектом множества исследований. Основными темами в них являются следующие:

*Панченко Алексей Борисович, к. и. н., доцент, Сургутский государственный педагогический университет, alexeypank@rambler.ru.

**© Панченко, А. В. © Философия. Журнал Высшей школы экономики.

существовала ли специфика производства народоведческого знания в Российской империи, или же она вписывалась в контекст ориентализма; какие акторы участвовали в производстве этого знания и как они взаимодействовали между собой; соотношение прикладного и «чистого» научного знания в этом процессе. При этом следует отметить, что практически все исследователи связывают производство этого знания с востоковедением (Схиммельпэнник ван дер Ойе, Бавин, 2019; Тольц, 2013), практически полностью игнорируя другие варианты этого процесса (пожалуй, за исключением Александра Эткинда (Эткинд, Макаров, 2013), который обращается и к вопросу изучения русских крестьян этнографами и правительственными чиновниками). В результате из поля зрения исследователей во многом выпал феномен народнической этнографии, несмотря на то, что именно представители этого течения во многом выполняли роль «агентов колонизации» в отдаленных уголках империи. В достаточно упрощенном виде народническая этнография охарактеризована в работе Ю. Слезкина (со ссылкой на С. А. Токарева): «Жадно читавшие Конта, Спенсера, Энгельса, Тейлора и Моргана, почти все радикалы 1880–1890-х годов были этнографами, и все без исключения были эволюционистами» (Слезкин, Леонтьева, 2008: 143). Им же был выдвинут тезис о близости взглядов различных акторов колониализма: «антиправительственные интеллигенты, правительственные чиновники и православные идеологи были согласны друг с другом, когда речь заходила о „диких и полудиких инородцах“. Прогресс, гражданственность и спасение душ были неразрывно связаны с русификацией» (там же: 140). В реальности же ситуация была гораздо более сложная, причем можно выделить две крайности: парадоксальное соединение в одном лице различных акторов — «Царский генерал и одновременно блестящий ученый с народническими и социалистическими убеждениями был далеко не редкой фигурой в Туркестане» (Центральная Азия в составе Российской империи, 2008: 333); либо же разнонаправленное действие представителей власти, науки и интеллигенции в рамках производства и использования конкретного знания. Не менее трудным является вопрос о характере этого знания, которое, по мнению П. Сартори и П. Шаблея, применительно к истории Российской империи не может рассматриваться только с позитивистского подхода как основа для административных преобразований и результат противоречивого и непоследовательного процесса взаимодействия между империей и ее подданными. Это обуславливается, во-первых, отставанием роста научных знаний от требований совершенствования

управления, а во-вторых — неготовностью колониальных чиновников отступить от имеющихся у них политических и идеологических стереотипов (Сартори, Шаблей, 2019: 42–43). В полной мере этот тезис может быть применен и ко внутренним районам Российской империи, в частности — Сибири и Дальнему Востоку, которые даже в середине XIX века были недостаточно изучены.

Хотя народникам как собирателям этнографических сведений о народах империи еще в той или иной степени уделялось некоторое внимание, но их теоретические взгляды, сформировавшиеся на основе изученного ими полевого материала, до сих пор слабо представлены в рамках изучения истории науки. Тем более, что вопрос производства теоретического этнологического знания вообще остается малоизученным¹. Хотя и такого рода знание, безусловно, могло использоваться в процессе организации управления имперским многообразием, но его характер существенно отличался от того, что создавалось в рамках непосредственно «полевой» работы. В отличие от материалов обычного права, описаний особенностей быта и фольклора, антропологических измерений, теоретическое знание нуждалось в определенном осмыслении со стороны представителей власти, прежде чем могло быть внедрено в управленческую практику. Помимо этого, теоретическое знание могло использоваться для идеологического обоснования тех или иных действий властей при решении как внутриимперских, так и внешнеполитических задач. Но поскольку теоретическое знание создавалось идеологическими противниками действующей власти, процесс его усвоения не мог быть простым принятием, что требует дополнительного изучения. В рамках данной статьи предполагается частично восполнить этот пробел на основе анализа деятельности нескольких активных участников революционного народничества. Выбор именно этого направления в рамках народнического движения обусловлен спецификой условий, в которых они формировались как исследователи, будучи долгое время оторванными от основных научных центров и не имея возможности в полной мере познакомиться с новейшими теориями в этнологии. В силу этого они, с одной стороны, меньше зависели от

¹В указанной работе Веры Тольц есть раздел, посвященный соотношению «чистой» и прикладной науки в рамках востоковедения (Тольц, 2013: 129–140), но под «чистой» в ней подразумевается не производство теоретического знания на уровне новых обобщений, а скорее изучение древних языков, истории и культуры древневосточных цивилизаций.

чужих схем и сложившихся стереотипов, но с другой, часто были вынуждены заново искать ответы на уже решенные вопросы. Поэтому интересным представляется проследить логику создания теоретического знания революционными народниками, что позволит расширить наши представления об особенностях российского ориентализма.

1860-е гг. стали временем серьезных преобразований Российской империи во всех сферах жизни. Безусловно, они не могли не затронуть и сферу производства знания, причем во всех аспектах — начиная от подготовки кадров и заканчивая рецепцией теорий из европейской науки и философии. Принятие в 1863 г. нового Университетского устава, серьезно расширившего автономию высших учебных заведений, при сохранении возможности доступа к высшему образованию выходцев из разных социальных слоев создало питательную почву для формирования среди студентов различных кружков общественно-политического характера. Годом позже был принят гимназический устав, разделивший эти учебные заведения на классические, с упором на древние языки, и реальные, в которых приоритет отдавался естествознанию. В учебные заведения активно проникали новые идеи, в том числе ярко выраженного либерального характера. Не менее значительным было проникновение и научно-философских теорий: материализма, позитивизма, эволюционизма. Все это соединялось с нигилистическим мировоззрением, которым была пронизана литература. При этом эти идеи практически никак не ограничивались учителями, которые не реагировали на «отрицательное направление» в литературе. Причиной этого, по мнению О. А. Милевского, было то, что «априорная вера в безусловную полезность книжного знания сыграла с людьми 30–40-х годов злую шутку» (Милевский, Панченко, 2017: 34). Но при всем том, что перед молодежью открылся большой объем новой информации, усваивалась она крайне поверхностно. Как характеризовал эту эпоху один из идеологов народничества П. Н. Ткачев: «Мысль, освобожденная от темничного затворничества, с лихорадочной поспешностью перескакивала от вопроса к вопросу, от одной идеи к другой» (Ткачев, 1990: 563). Но эта поверхностность соединялась с безоговорочной верой в истинность положений, выдвигаемых тогдашними кумирами молодежи. Как позже вспоминал один из видных народников (а на тот момент уже консерватор) Л. А. Тихомиров: «Это грубо механистическое материалистическое мировоззрение было у меня вбито накрепко разными Фогтами. Это была вера, не допускающая никаких сомнений» (Тихомиров, 1927: 37).

Выпустившись из гимназий, обладающие поверхностными знаниями, но твердо убежденные в своей правоте, молодые люди из семей небогатых дворян, купцов, управляющих и, в меньшей степени, священников, переезжали в Санкт-Петербург, Москву и другие крупные города для продолжения учебы в университетах и институтах. Там они попадали в особую среду, которую с начала 1860-х гг. формировали первые тайные кружки революционного характера, из которых самой влиятельной была «Земля и воля», а также кружок «ишутинцев», член которого Д. В. Каракозов организовал неудачное покушение на Александра II, после чего последовали массовые аресты членов народнического движения. Помимо этого, начало нарастать недовольство реформами, которые не привели к улучшению жизни крестьян и рабочих. В этих условиях фактически завершается становление мировоззрения будущих активных участников революционного народничества, которые включаются в деятельности новых объединений, активно заявивших о себе уже в 1870-е гг.

Л. А. Колесниковой был выделен определенный интеллектуальный «канон», определивший мировоззрение революционных народников этой эпохи. В первую очередь к нему относились сочинения Дж. С. Милля «Основы политической экономии», Л. Бюхнера «Материя и сила», Г. Спенсера «Социальная статика» и Я. Моленшота «Круговорот жизни». Помимо сочинений зарубежных авторов, в число самых читаемых работ входили первые философские и теоретические обобщения П. Л. Лаврова («Исторические письма») и В. В. Берви-Флеровского («Положение рабочего класса в России»)², ставшие базисом для формирования народнических представлений. Также в число самых популярных авторов входили Ч. Дарвин, Д. И. Писарев и Н. Г. Чернышевский, причем последний ценился больше как комментатор и переводчик Дж. С. Милля, нежели как критик или писатель (Колесникова, 1996: 44–45). В то же время, как отмечает Ю. А. Сафронова, наличие общего круга чтения не означало одинаковое понимание прочитанного. Часто из философских сочинений усваивались не ключевые идеи, а самые яркие, да еще и не в том смысле, какой в них вкладывался автором (Сафронова, 2018). Во многом это можно объяснить отсутствием необходимого

²В десятку самых читаемых книг также входили «Евангелие», Л. Бокль «История цивилизации в Англии», Л. Блан «История Великой французской революции», В. Е. Варзар «Хитрая механика», Ф. Шпильгаген «Один в поле не воин» и М. А. Бакунин «Государственность и анархия».

жизненного опыта у читающих, а также слабостью общегуманитарной подготовки, из-за чего в головах у студенческой молодежи не было цельной картины развития научного и философского знания.

Исходя из очерченного круга чтения, можно предположить, что важную роль в формировании представлений у революционно настроенной молодежи стали играть Петр Лаврович Лавров и Василий Васильевич Берви-Флеровский. Оба они написали труды, принесшие им известность, в ссылке, но тем не менее между ними существовали серьезные различия в способах формирования нового знания. «Исторические письма» Лаврова, написанные в вологодской ссылке, стали результатом творческого переосмысления идей И. Канта, Л. Фейербаха, Дж. С Милля и Г. Спенсера. В итоге им была создана собственная теория исторического процесса, основанная на принципе субъективизма: *«для человека процесс истории всегда представляется — более или менее ясно и последовательно — борьбою за прогресс, реальным или идеальным развитием прогрессивных стремлений, прогрессивного понимания»* (Лавров, 1965: 45). Из этого вытекало, что главным орудием прогресса неизбежно становится личность, причем обязательно *«критически мыслящая»*. Но такая личность обладает нравственным долгом перед человечеством — она должна бороться за прогресс. Для этого таким личностям следует вести разъяснительную работу в массах, формируя круг единомышленников, после чего совместными усилиями станет возможным смести все преграды на пути прогресса (там же: 247). Хотя для подтверждения этой теории П. Л. Лавров не приводил конкретных эмпирических фактов, но для его читателей сама логика рассуждений казалась не вызывающей сомнений.

Сочинение же Берви-Флеровского «Положение рабочего класса в России», написанное им после возвращения из томской ссылки, опиралось на материалы, собранные автором путем наблюдений и работы с земской статистикой. На основании получившихся выводов о бедственном состоянии российских рабочих и крестьян, а также их семей, причины которого лежат в историческом развитии страны. Из этого делались вполне конкретные предложения по улучшению благосостояния простого народа, среди которых — обеспечение возможности заниматься трудом в оптимальных условиях. Для того же,

чтобы деятельность человека была наиболее плодотворной, необходимо, чтобы он при ее выборе руководствовался исключительно своими способностями

и наклонностями, а этого можно достигнуть только тогда, когда и материальный и интеллектуальный труд и экономия будут получать одинаковое вознаграждение и будут жить жизнью одного уровня — разница будет зависть от успеха, а не от рода деятельности (Флеровский, 1869: 494).

Другое крупное произведение Берви-Флеровского — «Азбука социальных наук» — подобно «Историческим письмам» претендовало на новое осмысление исторического процесса, в основе которого лежит стремление человека жить «мировой жизнью», что возможно только через совместную деятельность с другими (Берви-Флеровский, 1871). Таким образом, к началу 1870-х гг. в среде революционного народничества распространились глобальные теоретические концепции, претендующие на осмысление реальности. При этом эти теории воспринимались как базис для практических преобразований реальности, к попыткам чего и приступили члены народнических кружков.

Опираясь на идеи Лаврова о критически мыслящей личности, которая должна стремиться к «оплате долга» перед народом, за счет которого она получала образование, и Берви-Флеровского о необходимости воспитания людей, готовых совместно развиваться и идти к процветанию, были заложены основы для начала масштабной акции — «хождения в народ», наиболее активная фаза которой пришлось на 1874–1876 гг. При этом если теоретическая база для этого была заложена, в первую очередь, Лавровым, то сведения о реальном положении «объектов пропаганды» народники черпали из «Положения рабочего класса» Берви-Флеровского и «Исследования внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений России» немецкого этнографа Августа Гакстгаузена (Алаев, 2014: 46), путешествовавшего по России в 1843–1844 гг., его работа вышла на русском языке в 1870 г. Опираясь на исследования, основанные на богатом фактическом материале, народники воспринимали крестьян и рабочих (которые в большинстве были вчерашними крестьянами) как идеальные типы, характеризующиеся «врожденным» социализмом, внутренней солидарностью, антиправительственным настроением и т. д., поскольку такие обобщения ложились на теории Лаврова и Берви-Флеровского. Однако в среде пропагандистов-народников не существовало единства в отношении к научным знаниям. Это было хорошо показано в рамках учебника по истории революционного движения в России, написанного для подготовки жандармов подполковником Ф. С. Рожановым с опорой на материалы Особого отдела Департамента полиции.

Автором было выделено три типа таких пропагандистов (Рожанов, 1913: 85–86):

(1) Деятели первой группы утверждали, что никакой научной подготовки не нужно, что достаточно одной грамотности, самых элементарных познаний и что затем следует немедленно идти в народ, слившись с которым, под видом простых рабочих, мастеровых и поденщиков, проповедовать в его среде революционные идеи и готовить его к открытому восстанию. (2) Деятели второй группы доказывали, напротив, что для серьезного агитатора в среде простого народа необходимы прочные научные знания и некоторая опытность, причем отрицали «ученые дипломы и всякие аттестаты как средства крайне деморализующие и обращающие свободного человека в буржуазию, т. е. в раба известной обстановки». (3) Наконец представители третьей и быть может самой опасной группы требовали серьезной научной подготовки и общего образования и, не отвергая значения дипломов и аттестатов, признавали, что для действительно успешного и возможно быстрого достижения предположенной цели — разрушения существующего государственного строя, — отнюдь не должно ограничиваться революционной пропагандою исключительно лишь в среде простого народа, а следует каждому революционеру действовать в той сфере, где он находится — независимо от того, будет ли это сфера простого рабочего, солдата, мастерового, или же учителя, акушерки, врача и вообще государственной службы...

Именно в третью, самую опасную, категорию попали члены кружка «чайковцев», которые не только участвовали в хождении в народ (хотя часть активных участников кружка и были арестованы накануне этого предприятия), но и занимались издательской деятельностью, печатая как пропагандистские брошюры, так и более фундаментальные работы (в частности, именно «чайковцы» издали «Азбуку социальных наук»). Одним из выдающихся членов этого кружка был Дмитрий Александрович Клеменц, ставший автором нескольких стихотворений и сказок, стилизованных под крестьянский фольклор. Несмотря на все усилия народников, итог их хождений был неутешительным. При этом нельзя не отметить очень важный парадокс: хотя в ходе своей деятельности они довольно долго взаимодействовали с крестьянами и рабочими, но собранные ими фактические сведения о реальном положении дел не стали основой для производства теоретического знания, хотя и нашли отражения в ряде публикаций по состоянию дел в деревне. В качестве же теоретической базы, помимо работ названных выше авторов важную роль начали играть сочинения Карла Маркса, которые переводили сами народники.

Ситуация кардинальным образом изменилась после разгрома народнического движения в начале 1880-х гг. Ряд наиболее активных его участников оказались либо в заключении (как Н. А. Морозов), либо в ссылке в отдаленные регионы империи (как Д. А. Клеменц и И. И. Майнов, позже к ним присоединились уже участники народовольческого движения — Л. Я. Штернберг, В. И. Иохельсон, В. Г. Богораз и другие), некоторые члены вынуждены остаться в эмиграции без особой надежды на возвращение (как Л. А. Тихомиров). В интеллектуальном отношении хуже всего приходилось именно ссыльным. Если эмигранты имели свободный доступ к любой литературе, а заключенные в тюрьмах Европейской России довольно часто могли обойти имеющиеся запреты (Пенькова, 2015: 167–171) (тем более, что далеко не все философские и научные книги подпадали под них), то ссыльные фактически оказались лишены доступа к привычному кругу чтения. Помимо того, что вся доставляемая им корреспонденция могла досматриваться, многие ссыльные не имели возможности приобретать литературу по причине отсутствия средств для этого. Наконец, сам факт пребывания в отдаленных местах часто делал невозможным получение той или иной литературы чисто физически, поскольку ее просто было невозможно доставить. В силу этого принципы производства нового знания, особенно носящего обобщающий теоретический характер, ссыльными народниками и народовольцами принципиально поменялись по сравнению с их более «удачливыми» товарищами.

Будучи очень деятельными по натуре людьми, ссыльные народники оказались в сложной ситуации из-за имеющихся ограничений по сферам деятельности: они не могли преподавать, заниматься любой публичной деятельностью, организовывать типографии или заниматься книготорговлей, существовало даже ограничение на содержание питейных заведений и торговлю алкоголем. Дополнительную трудность составляло отсутствие привычного интеллектуального круга в силу того, что в отдаленных местах империи вообще было мало образованных людей, тем более — разделяющих народнические убеждения (хотя эта проблема постепенно решалась за счет прибытия новых ссыльных и формирования определенных «колоний» единомышленников). В такой ситуации народники вынуждены идти на сотрудничество с официальными учреждениями империи, в первую очередь — с отделами Императорского Русского географического общества и губернскими статистическими комитетами. Еще одной точкой приложения своей энергии для них становится участие в научных экспедициях, причем самого разного рода —

от ботанических и геологических, до этнографических и археологических. Не имея доступа к новейшим философским, социологическим, экономическим и историческим сочинениям, народники были вынуждены обратиться к изучению конкретного «полевого» материала, причем зачастую не будучи специалистами в новых отраслях своей деятельности. Наконец, еще одной сферой приложения своей деятельности (после окончания официального срока ссылки) для революционных народников стало литературное творчество или журналистика.

Такой расклад принципиально изменил место революционных народников в системе производства теоретического знания (и знания вообще). Если прежде они выступали в качестве реципиентов для больших теорий, которые затем стремились реализовать на практике, то провал «хождения в народ» и несостоятельность ожиданий революции после убийства Александра II привела к необходимости пересмотра своих позиций. Переход от пропагандистской деятельности к исследовательской, заказчиками которой могли выступать как представители местной администрации, так и промышленники, потребовал знакомства с теориями в рамках частных наук, в том числе естественных. Помимо этого, для осмысления результатов собственных полевых исследований революционные народники фактически были вынуждены перейти к самостоятельному созданию теоретических обобщений. Таким образом, они стали одновременно выступать в нескольких ипостасях: как начинающие исследователи, стремящиеся занять себя интеллектуальной деятельностью, как агенты внутренней колонизации, как эксперты для промышленников, и все это — не отказываясь от собственных революционных убеждений.

Одним из наиболее активных ссыльных-исследователей стал Д. А. Клеменц, оказавшийся в Минусинске в 1881 г. и пробывший там до 1886 г. Фактически единственным «интеллектуальным островком» в этом городе был краеведческий музей, созданный Николаем Михайловичем Мартьяновым, поэтому неудивительно, что Клеменц активно начал сотрудничать с ним. Еще одной отдушиной стали совместные с Александром Васильевичем Адриановым (выдающимся этнографом и археологом, одним из активных участников областного движения) экспедиции. Кроме того, в это время Дмитрий Александрович впервые выступил в роли исследователя для нужд частной промышленности, проведя в 1886 г. обследование ряда приисков, принадлежащих Иннокентию Михайловичу Сибирякову. В ходе полевых исследований и работы

с экспонатами музея, Д. А. Клеменц не только приобрел базовые знания в новых для него сферах (он учился на физико-математическом факультете), но попытался выйти на уровень теоретических обобщений. При этом следует отметить, что сам он себя специалистом в археологии, этнографии и географии не считал, поэтому довольно скромно оценивал те выводы, которые ему удавалось сформулировать. Не будучи знакомым с существующими археологическими и этнологическими теориями, Клеменц не был стеснен их рамками, что давало ему определенную методологическую свободу. В то же время он начал активно изучать специальные работы, часто позволяя себе критические замечания, основанные на собственном полевом опыте.

Например, готовя в 1884 г. к изданию лекцию В. В. Радлова, посвященную сравнительной грамматике северных тюркских языков, Клеменц указывал в комментариях (Комментарии Д. К. Клеменца..., б. д.):

Племя, народ автор очень часто называет словом «Stamm», роды, подразделение племени на крупные группы обозначаются всюду словом «Lesschlect», для подразделений рода автор снова употребляет слово «Stamm». В последнем случае мы почти везде передаем этот термин словом поколение, так называть одним и тем же именем и целый народ, и подразделение его мы сочли неубедительным. У абаканских и черневых татар есть свой весьма характерный термин для обозначения группы лиц, ведущей и помнящей еще свое происхождение от родоначальника, сознающей свое кровное родство — этот термин сек или в некоторых татарских названиях сук — по-русски кость. Члены одного сека — люди одной кости. По нашему мнению, деление на секи гораздо важнее в этнографическом отношении, нежели деление на роды.

Здесь проявилась запутанность в терминологии, которая существовала не только в российской, но и в мировой этнографии. Со своей стороны Д. А. Клеменц попытался решить эту проблему через обращение к известному ему полевому материалу.

Еще одно важное обобщение (без осознания его значимости со стороны автора) было сделано Клеменцем при подготовке каталога Минусинского музея в 1886 г. В нем он, помимо прочего, остановился на рунических письменах и указал, что

(1) они древнее фигурных писаниц; [...] (3) сходство их с западными рунами Золотого рога, брактатов и северными указывает на один общий источник всех этих алфавитов. Иначе пришлось бы предположить, что разные народы, на разных концах света додумались до тождественных знаков для выражения мыслей, что совершенно невероятно (Клеменц, 1905: 41).

Он сам не акцентировал внимание на этом положении (далее перечислялось еще 6 различных пунктов), но оно фактически является одним из ключевых тезисов диффузионизма, основы которого на тот момент только начали закладываться немецким географом Фридрихом Ратцелем. Идея о том, что различные элементы культуры не создаются независимо друг от друга, а распространяются от одного региона к другому через культурную диффузию (посредством торговли, путешествий и т. д.), на тот момент еще не высказывалась никем из этнографов, поскольку господствующим течением был эволюционизм. Самого Клеменца многие исследователи также считали эволюционистом, однако приведенная цитата показывает, что это утверждение не совсем корректно. Дмитрий Александрович на тот момент не был знаком с классическими работами эволюционистов (ни с «Первобытной культурой» Эдварда Тайлора, ни с «Древним обществом» Генри Моргана), что давало ему большой простор для самостоятельного осмысления этнографических явлений.

В то же время слабая теоретическая база иногда приводила к серьезным ошибкам. Так в работе «Наговоры и приметы у крестьян Минусинского округа», Клеменц предположил, что собранные им молитвы и заговоры содержат в себе элементы языческих и сектантских произведений (Клеменц, 1888). Однако как было высказано в критической статье С. К. Кузнецова (Кузнецов, 1888), то, что автор принял за сектантские мотивы, на самом деле является вполне традиционными православными молитвами, которые легко найти в различных сборниках. Тут мы видим желание Дмитрия Александровича делать обобщающие выводы на слабо знакомом ему материале, из-за чего и произошла столь грубая ошибка.

В дальнейшем уже отбыв срок ссылки Дмитрий Клеменц активно занимался наукой в Томске и Иркутске, где возглавил Восточно-Сибирское отделение Русского Императорского географического общества (ВСОИРГО). На этом посту он смог организовать экспедицию в Якутию, получившую название Сибиряковской (по имени мецената И. М. Сибирякова, выделившего на нее 10 тысяч рублей). История организации и проведения Сибиряковской экспедиции наглядно показывает, насколько сложным является вопрос об участниках производства колониального знания. Ко второй половине XIX в. Якутия превратилась в поле пересечения интересов нескольких групп акторов, каждая из которых преследовала свои цели, зачастую противоположные. Так, ВСОИРГО проявляло научный интерес к региону, однако, было слишком стеснено в средствах для организации самостоятельных экспедиций.

Если такие мероприятия и происходили, то они финансировались либо Академией Наук, либо местными промышленниками, которые были еще одним актором в регионе. В первую очередь это были иркутские купцы и золотопромышленники. Они были заинтересованы как в достоверных сведениях о природных ресурсах Якутии (в первую очередь золото, древесина и пушнина), так и в информации об образе жизни местного населения и влиянии на него русских. Особую роль в освоении и изучении области сыграли две семьи купцов и промышленников — Громы и Сибирияковы.

Для центральной власти, представленной в регионе восточносибирским генерал-губернатором, проживавшим в Иркутске, представляло интерес использование Якутии в качестве места ссылки, само расположение которого минимизирует возможности побега. Отношение же к ссыльным со стороны бывшего тогда генерал-губернатором А. Д. Горемыкина было достаточно жестким.

Местная администрация, во главе которой находился губернатор В. Н. Скрипицын, была заинтересована в получении максимально подробной информации об области для оптимизации управления ею (Архипова, 2011). Однако недостаток квалифицированных кадров вынуждал привлекать ссыльных для проведения необходимых исследований. При этом губернатор настороженно относился к ученым из других регионов (особенно из центральных учреждений), поскольку опасался, что они заберут с собой все полученные материалы. Поэтому любимым детищем В. Н. Скрипицына был областной статистический комитет, возглавляемый в это время сотником А. И. Поповым, в работе которого активно участвовали и ссыльные.

Третьим актором в Якутии в это время была значительная колония ссыльных, которых по данным на 1889 г. насчитывалось около 6 тысяч, что составляло более половины всего неинородческого населения области. Но при этом большая их часть была рассеяна по удаленным наслегам, где они оказывались в окружении якутов, которые часто в деле надзора за ссыльными превосходили в рвении полицейских чинов. Помимо этого, стоит отметить сложности с коммуникацией между ссыльными, проживающими в разных районах Якутской области из-за трудностей по доставке почты, которая могла идти несколько недель или даже месяцев. Но даже в таких условиях ссыльные умудрялись заниматься научной работой, в том числе устанавливая контакты с представителями местной интеллигенции. Именно ссыльные в дальнейшем стали основными участниками экспедиции, в том числе и народовольцы

Владимир Ильич Иохельсон и Владимир Германович Богораз. При чем их ситуация была еще хуже, чем в начале ссылки у Клеменца — они оказались в совсем глухих местах Якутской области (в районе Среднеколымска), где доступа к научной литературе или общению с образованными людьми фактически не было. Поэтому для них экспедиция оказалась не просто глотком свежего воздуха, но способом выживания (среди ссыльных был довольно высокий процент самоубийств, связанных с ощущением безысходности и бесполезности своего существования).

Только после длительных переговоров Д. А. Клеменцу удалось согласовать интересы всех сторон. Помимо трудностей в переговорах с представителями царской администрации, которые с подозрением относились к участию ссыльных в экспедиции, ему пришлось столкнуться с разногласиями в среде самих ссыльных, которые едва не переросли в большой конфликт. Однако в итоге экспедиция состоялась и стала одним из крупнейших и успешных мероприятий по изучению самой восточной окраины Российской империи. При этом только часть полученных в рамках нее знаний (та, что касалась земельных отношений) в итоге была использована местной администрацией.

Совместными усилиями нескольких исследователей был сделан вывод об идущих процессах обьякучивания русского населения области. В основном это выражалось в утрате русской речи у крестьян, а у тех, кто ее еще не утратил, происходила серьезная порча языка. Вообще, говоря о таком явно выраженном явлении, как метисация, один из участников экспедиции Н. Л. Геккер выделил четыре расовых типа: тюрко-монгольский, монгольско-тюркский, якутско-русский и русско-якутский (Отчет о Сибиряковской экспедиции, б. д.). В дальнейшем на основании этих материалов другой народник И. И. Майнов написал обобщающую работу о русских крестьянах и оседлых инородцах Якутской области, где указал, что метисация может идти крайне неравномерно: часть признаков (размеры тела) могут передаваться от русских, а другие (лицевые) — от якутов (Майнов, 1912: 21). Помимо антропологических изменений метисация приводила и к сокращению рождаемости, из-за чего у метисов она была скорее на уровне инородцев, а не русских. В результате был сделан вывод, что метисы могут быть выделены в отдельную этнографическую группу, а не считаться просто частью великорусского этноса.

На основе собранного лингвистического материала, В. И. Иохельсон сделал несколько крупных открытий относительно этногенеза неко-

торых групп инородцев. Как указывает С.Б. Слободин (Слободин, 2005: 83):

В.И. Иохельсон определил, что считавшееся вымершим племя омоков, ранее ассоциировавшееся с юкагирами, является всего лишь одним из родов до сих пор существующего, хотя и немногочисленного, но сохранившего самобытную культуру, язык и этническую самостоятельность юкагирского народа.

Причем сам Иохельсон осознавал значение своих лингвистических изысканий (Сирина, 2007):

Мои предположения относительно языка Колымских тунгусов вполне оправдались. Они говорят на юкагирском наречии. Я свел тунгуса из Колымского округа с Колымским тунгусом, и они друг друга понимали, только когда последний заговорил по-ламутски. Нижнетунгусское наречие имеет 3/4 юкагирских основ, а тунгусские основы в дальнейших словообразованиях подчинены юкагирской грамматике. Вообще строение языка вполне юкагирское, отличается же от юкагирского значительным количеством тунгусских слов, переходом одних согласных в другие. Смягчением некоторых из них, удлинением некоторых гласных и так что все конечные гласные произносятся как французские носовые звуки.

Вообще использование языка как важнейшего признака народа было характерно для этнографии рубежа XIX-XX вв., но в данном случае интересно, что открытие было сделано человеком без специальной подготовки, самостоятельно изучившим языки, специалистов по которым в мире на тот момент просто не было.

Примерно на то же время (первая половина 1890-х гг.) приходится время начала научной деятельности еще одного активного участника народнического движения — Льва Яковлевича Штернберга. Оказавшись в ссылке на Сахалине, он познакомился там с сочинением Ф. Энгельса о происхождении семьи, частной собственности и государства, что во многом сформировало взгляды Штернберга как эволюциониста (с работами классиков эволюционизма — Тайлора и Моргана — он познакомился позже). Еще одним важным основанием, из которого в дальнейшем выросли его теоретические построения, стали увлечение мистицизмом и хорошее знакомство с иудейской традицией (Сирина, Роон, 2004: 50). Будучи одним из теоретиков революционного террора, автором брошюры «Политический террор в России», Лев Яковлевич в ссылке довольно легко согласился на сотрудничество с местной администрацией и в 1891 г. принял участие в переписи нивхских стойбищ Северного Сахалина. Собранный в ходе этой экспедиции полевой материал лег

в основу первой публикации Штернберга, посвященной социальной организации нивхов, на которую обратил внимание Ф. Энгельс, видя в ней подтверждение теории группового брака. Вообще исследования Л. Я. Штернберга на Сахалине получили поддержку со стороны властей, благодаря чему ему было даже разрешено побывать на материке — во Владивостоке, Благовещенске и на Нижнем Амуре.

Сибиряковская экспедиция, да и вообще этнографические исследования ссыльных народников показали, что местные власти в целом благожелательно относились к участию бывших революционеров в производстве колониального знания. Их заинтересованность легко объяснялась недостатком образованных кадров на местах. При этом власти стремились получить конкретные данные, связанные с численностью инородцев, системой социальных и земельных отношений у них, в гораздо меньшей степени интересуясь общетеоретическими вопросами. Именно поэтому представители местной администрации были негативно настроены к участию в экспедициях представителей науки из Центральной России, опасаясь, что полученные в ходе них данные уйдут в столичные музеи и университеты, не способствуя оптимизации системы управления на восточных окраинах.

К началу XX в. отбывшие ссылку народники получили возможность вернуться в Европейскую Россию и включиться в систему производства академического знания. В это время наиболее значимыми были теоретические обобщения Дмитрия Клеменца, созданные им в период работы в Санкт-Петербурге на посту заведующего Этнографическим отделом Русского музея Александра III на основе его предшествующих полевых исследований. Наиболее значимыми из них можно назвать три: создание первого варианта теории культурно-этнографических типов, критику традиционной на тот момент схемы «собирательство-скотоводство-земледелие» и концепцию культуры как результата деятельности всех рас. Причем все три тезиса им были выдвинуты как бы «походя», он специально не выделял их как научные гипотезы, рассуждая о них как о само собой разумеющихся выводах.

Первый из них был сформулирован в ходе обсуждения проекта организации экспозиции Этнографического отдела. Основная трудность заключалась в том, каким образом соединить в рамках одного музея экспонаты, относящиеся к культуре русского народа и всех остальных народов империи, чтобы при этом русская культура не выглядела невзрачной на фоне многообразия «инородческих». А поскольку этнография на тот момент воспринималась большей частью ученых как наука

о первобытной культуре, возникло несколько точек зрения по этому вопросу. На этом фоне Д. А. Клеменц выдвинул революционное предложение, вызванное в общем-то утилитарным подходом: представить в музее именно народы, а не культуры, причем народы на современном этапе их развития, в том числе не относящиеся к первобытным. Для его реализации Дмитрий Александрович впервые предложил классификацию, которая в дальнейшем получила развитие в советской этнографии как теория хозяйственно-культурных типов. Он выделил пять зон в пределах Российской империи: тундра с преобладанием охотничьего хозяйства; умеренная зона с земледелием; лесостепная зона как переходная от кочевого скотоводства к земледелию; степь с кочевым скотоводством; южные районы с земледелием (Федорова, 1988: 126). На основании этого принципа и планировалось организовать музейное пространство. Однако невероятно новаторская идея Клеменца встретила неприятие большинства участников совещания, выступавших за построение экспозиций по географическому принципу. В результате его проект так и не был реализован, хотя особое мнение Д. А. Клеменца было после издано отдельной брошюрой (Клеменц, 1901).

Второй тезис нашел отражение в серии очерков «Заметки о кочевом быте», впервые опубликованных в 1903 г., а потом перепечатанных как единый текст в 1908 г. В противовес распространенной в то время схеме эволюции хозяйства «охота — кочевое скотоводство — земледелие» Д. А. Клеменц писал о нелинейном характере данного процесса. Указывая на охоту как на древнейшую форму (причем разделяя ее на две стадии: низшую и высшую), он говорил о том, что кочевое скотоводство возникло либо позже земледелия, либо вместо него в тех районах, где земледелие было невозможно. При этом скотоводство не является обязательным этапом в эволюции хозяйства, поскольку связано с конкретными природно-климатическими условиями. Первоначальным очагом скотоводства он считал Среднюю Азию, откуда оно затем распространилось в другие регионы (Клеменц, 1908). Здесь Клеменц вновь выступал как сторонник идей культурной диффузии хотя, по всей видимости, так и не был знаком с трудами первых диффузионистов. Исходя из нелинейности развития, он отрицал большую прогрессивность земледелия по сравнению со скотоводством, говоря, что именно благодаря последнему человечеству удалось освоить районы слабо пригодные для обитания — сухие степи, пустыни и тундру. Также кочевничество дало импульс развитию культуры и стало причиной быстрого вытеснения матриархата

патриархатом. Однако здесь нельзя не отметить одну важную методологическую ошибку: смешение понятий «скотоводство» и «кочевничество», из-за чего ряд примеров эффективности кочевого скотоводства выглядят сомнительно (австралийское овцеводство, швейцарское разведение коров). Тем не менее, идея связи между типом хозяйства и природно-географическими условиями, стала, по существу, развитием взглядов Клеменца при обсуждении экспозиций в Русском музее.

Третье обобщение было сделано в рамках публицистической статьи «Беглые заметки о желтой опасности», вышедшей во время русско-японской войны. Критикуя европоцентристские мифы о извечной отсталости и агрессивности азиатских народов, Д. А. Клеменц отметил некорректность представлений о Востоке как некоем едином пространстве. Выступая против колониализма, основанного на превосходстве «арийской расы» над остальными, он писал, что не существует врожденных способностей к прогрессу, а мыслительные процессы определяются не формой или размером черепа. Соответственно, культура не создана только представителями одной расы — европеоидной — а является результатом деятельности всего человечества, поскольку разные элементы культуры появляются независимо друг от друга в различных частях света (Клеменц, 1905). Здесь Клеменц уже выступил как критик диффузионизма, находясь скорее на эволюционистских позициях. Это опять-таки можно объяснить тем, что он не обладал изначальной теоретической подготовкой, многие его знания по этнографии, полученные в ходе полевых исследований, оказывались отрывочными и бессистемными.

По другому пути в сфере производства научного знания шли те из участников революционного народничества, кто не имел опыта полевых исследований. Среди них можно назвать того же Петра Лаврова, продолжившего попытки создать новую методологию изучения истории, опираясь на существующие в зарубежной науке исторические и антропологические теории³, а также Николая Александровича Морозова, отбывавшего заключение в Шлиссельбургской крепости. Пребывание в тюрьме, несмотря на все трудности, давало Морозову возможность знакомиться с новейшими научными достижениями, поскольку специальную литературу заключенные получали без особых проблем. В первую

³Его самые значительные обобщающие работы были опубликованы под псевдонимом С. С. Арнольди в конце жизни или уже после смерти: «Задачи понимания истории» в 1898 г., «Цивилизация и дикие племена» в 1903 г. Подобно всем предыдущим его сочинениям они стали не результатом работы с конкретными фактами, а творческого переосмысления чужих теорий.

очередь он заинтересовался естественнонаучными теориями, однако из-за отсутствия возможностей самостоятельно вести экспериментальную работу, его представления формировались исключительно на теоретическом уровне. Как писали исследователи его биографии (Сайкин, Серебровская, 1982: 19):

В крепостной одиночке Н. А. Морозов создает трехтомный труд «Строение вещества», а также «Периодические системы строения вещества». Помимо работ по химии, он написал в стенах Шлиссельбурга книги по математике, астрономии, метеорологии и др. Рукописи многочисленных трудов к моменту выхода его из крепости в 1905 г. составили 26 томов.

Им было высказано несколько гипотез в области химии и физики, которые вполне согласовывались с существующей картиной мира (например, идея о сложном строении атома, о существовании инертных газов и т. д.). В то же время, из-за отсутствия системного образования, некоторые предположения оказались построены на ложных аналогиях (теория мировых атмосфер, взгляды на «Апокалипсис» как описание астрономических явлений). Но если в области естественных наук его предположения, основанные на энциклопедических знаниях, были хотя не всегда верными, но, по крайней мере, любопытными, то попытка погрузиться в сферу истории может считаться полностью провальной. Не владея ни базовыми знаниями об исторических фактах, ни методологией исторической науки в целом, Морозов, фактически, создал псевдонаучные построения, раскритикованные как дореволюционными, так и советскими и современными историками⁴.

Другие народники — В. Г. Богораз, В. И. Иохельсон и Л. Я. Штернберг до революции продолжали вести активную полевую работу, одновременно сотрудничая с зарубежными коллегами. Так, первые двое приняли участие в крупной международной экспедиции, организованной Американским музеем естественной истории и получившей название Джексоновской, 1900–1901 гг. В ходе нее они не только расширили свои знания в области лингвистики и быта изучаемых народов, но и познакомились с существующими за рубежом этнологическими теориями (в частности, исторической антропологией Франца Боаса). Штернберг же познакомился с Боасом в 1905 г., работая с материалами того же музея, а также

⁴Что не помешало им лечь в основу «Новой хронологии» математиков А. Т. Фоменко и Г. В. Носовского. Этот пример лишний раз подтверждает тот факт, что попытка строить глобальные обобщения, не владея конкретными знаниями, чревата серьезными заблуждениями.

сотрудничая при подготовке издания трудов этой экспедиции. Интересно, что будучи близки по взглядам, Богораз, Иохельсон и Штернберг несколько отличались в этот период по занятому месту в системе производства знания. Лев Яковлевич уже с 1900 г. стал редактором этнографического отдела словаря Брокгауза и Ефрона, с 1901 г. начал сотрудничать с одним из крупнейших научных учреждений Российской империи в сфере народоведения — Музеем антропологии и этнографии (МАЭ) (в 1902 году у него появился конкурент — Этнографический отдел Русского музея), где в 1904 г. занял должность старшего этнографа, заместителя директора. В таком статусе он обладал значительным авторитетом, что подкреплялось публикацией около 40 статей по этнографии и религиоведению в том самом словаре (Сирина, Роон, 2004: 59). Поэтому неудивительно, что ему предложили написать несколько статей для сборника, посвященного современному состоянию национального вопроса в России, Австро-Венгрии и Германии (Формы национального движения..., 1910). Штернбергом были написаны общий обзор инородцев в России, а также статья, посвященная бурятам. Им было дано новое определение термина «инородцы» как этнографического понятия именно в контексте национального движения: «группы народов, либо совсем чуждых, либо только в незначительной мере приобщившихся к европейской культуре» (там же: 532). Из него видно, что несмотря на революционные взгляды, Штернберг в это время рассуждал вполне в духе ориентализма, хотя мог и не соглашаться с государственной политикой в инородческом вопросе.

Владимир Германович Богораз, помимо продолжения научной деятельности, занимался литературной, а также деятельностью общественно-политической, став членом различных объединений, активно действовавших во время революции 1905–1907 гг. Более того, в ходе Первой мировой войны он в качестве добровольца отправился на фронт, став начальником санитарного отряда (Михайлова, 2004: 112–115). По сути, несмотря на авторитет как ученого, производство научного знания в этот период не было для Богораза приоритетным, в некотором плане он вернулся к той деятельности, которая была у него до ареста и ссылки. Наконец, Владимир Ильич Иохельсон большую часть времени проводил в экспедициях, только в 1912 году переехав в Санкт-Петербург, где оказался фактически «на птичьих правах», не имея какого-то официального статуса (кроме внештатного этнографа в МАЭ, без оклада) (Слободин, 2005: 103–109). Именно его деятельность была ближе всего

к производству чистого научного знания, которое, несмотря на признание в сообществе профессионалов, было совершенно не востребовано ни властью, ни обществом.

Наиболее последовательно взгляды В. И. Иохельсона и Л. Я. Штернберга на общетеоретические вопросы этнографии были выражены в дискуссии, развернувшейся в Отделении этнографии ИРГО в 1916 г. после доклада Николая Михайловича Могилянского (Могилянский, 1916), который на тот момент возглавлял Этнографический отдел Русского музея. В докладе Могилянский выступил за принципиальный пересмотр предмета этнографии, отойдя от изучения только «первобытных» народов к этносу как отдельному феномену. Также он резко раскритиковал отношение к этнографии как к истории первобытной культуры, которая только собирает материал для подтверждения положений эволюционной концепции. Следует указать, что в отличие от народников, Могилянский получил специальное образование в Парижской школе антропологии, при этом также он участвовал в этнографических экспедициях, имея опыт полевой и музейной работы. Еще одним участником той дискуссии стал Вениамин Петрович Семенов-Тянь-Шанский, известный географ, на тот момент занимавший пост начальника статистического отделения в министерстве торговли и промышленности. Таким образом, здесь были представлены позиции академической науки, народнической этнографии и центрального правительства.

Мысль В. П. Семенова-Тянь-Шанского сводилась к тому, что

наше Общество — географическое, а потому обязано заботиться о том, чтобы во всех его Отделениях на первом месте стояла география и остальные примыкающие к ней научные дисциплины играли только служебную, а не самодовлеющую роль (Журнал заседания Отделения этнографии..., 1917: 4).

Для него, особенно в условиях идущей войны, на первый план выходили прикладные нужды государства, удовлетворить которые этнография сможет только в форме антропогеографии. Для В. И. Иохельсона этнография — это

дисциплина историко-гуманитарная. Она изучает духовную, умственную и семейно-социальную жизнь народов. Под умственной жизнью я подразумеваю также материальную культуру, так как техника и изобретения являются продуктом деятельности человеческого ума (там же: 5).

При этом указывалось, что к числу изучаемых народов не должны относиться «цивилизованные» и «доисторические», которые попадают

в поле зрения истории и археологии соответственно. В выступлении Л. Я. Штернберга нашла отражение его близость к эволюционной концепции, когда он указал, что задачей этнографии является «изучить развитие явлений культуры, [...] изучать культурные явления невозможно без предварительного изучения культур отдельных народностей» (Журнал заседания Отделения этнографии..., 1917: 9). В целом же в ходе заседания обнаружилось существование противоречий между акторами производства теоретического знания: государство стремилось к максимальной прагматизации знания, тогда как представители разных течений в российской этнографии принципиально расходились даже в объекте своей науки, при этом одинаково не желая превращения ее исключительно в прикладную дисциплину типа антропогеографии.

После установления советской власти, именно эта «этнотройка» — Богораз, Штернберг, Иохельсон — стала самой влиятельной в отечественной этнографической науке. Это побуждало ее членов к созданию определенных обобщающих работ, опирающихся на полученный в ходе экспедиционной работы опыт. В меньшей степени это относилось к Иохельсону, который с 1922 г. жил в США (официально — в научной командировке), где заканчивал обобщение материалов по этнографии коряков. Во многом благодаря своему революционному прошлому, а также высокой оценке работы Штернберга Энгельсом, они получают возможности для руководства процессом производства знания о народах в новом советском государстве. С 1918 г. Штернберг возглавил МАЭ, туда же поступил в качестве ученого хранителя Богораз. В том же году Лев Яковлевич возглавил этнографическое отделение Географического института в Петрограде (позже преобразованного в этнографический факультет Ленинградского государственного университета), а Владимир Германович стал одним из преподавателей. При их содействии в 1924 г. был создан Комитет содействия народностям северных окраин при Президиуме ВЦИК (Комитет Севера), в рамках которого не только изучался быт северных народов, но и была начата подготовка национальных кадров, продолжившаяся потом в рамках Института народов Севера, основанного в 1929 г. Целью функционирования института было не просто обучение нескольких десятков представителей северных народов, но создание такой системы, при которой эти обучающиеся будут выступать в качестве агентов модернизации. Подразумевалось, что они будут сочетать теоретическое обучение в институте с ежегодными поездками домой, в рамках которых смогут как проводить полевые исследования, так и личным примером демонстрировать сородичам

те возможности, которые дает им советская власть (Liarskaya, 2018). Помимо этого, Штернберг был одним из редакторов журнала «Этнография» — главного научного издания по народоведению.

Находясь в таком высоком статусе, помимо создания обобщающих работ по истории отдельных народов (чукчей — Богоразом, нивхов — Штернбергом), охватывающих все аспекты их жизни (хозяйство, социальные отношения, верования), ими было создано несколько работ, задающих новую парадигму в советской этнографии. Львом Яковлевичем Штернбергом был создан курс по истории религии, основанный на собственных этнографических наблюдениях (что отличало от работ Э. Тайлора, Э. Лэнга и Дж. Фрэзера). В нем, в частности, доказывалось отсутствие дорегиозного периода в истории человечества, а сама религия была названа древнейшим общественным институтом. Само определение религии, данное Штернбергом, существенно отличалось от тех, которые использовались прежде (Штернберг, 1936: 248):

религия есть одна из форм борьбы за существование в той области, где личные усилия человека, все усилия его интеллекта, все его гениальные способности и изобретательность являются бессильными.

При этом, как указывает Сергей Кан, теоретические взгляды Штернберга нельзя свести только к эволюционизму. В некоторых аспектах он был близок к социологической школе Э. Дюркгейма, исторической школе Ф. Боаса или структурному функционализму Б. Малиновского и А. Р. Редклиффа-Брауна. В вопросах истории религии серьезное влияние оказывало воспитание в рамках иудейской традиции, из-за чего именно в иудаизме он видел высшую форму монотеизма (Кан, 2012).

Не менее оригинальным был подход к теории религии у Владимира Германовича Богораз-Тана. Еще в 1923 г. он выпустил брошюру «Эйнштейн и религия» в которой утверждалось (Богораз-Тан, 1923: 4):

Только теория относительности дает возможность применить измерительный метод к религиозным явлениям, ибо она устанавливает, как основной принцип, что каждая система S, каждая область явлений — имеет свое собственное пространство и свое собственное время, и только с этой точки зрения можно исследовать измерительные данные в религиозной области.

Последовательно применяя этот принцип, он отмечал, что религиозные явления обладают своей собственной логикой и в реальности верующего человека оказываются объективно существующими. Им был задуман и обобщающий труд: «Религия в свете этнографии», но в свет

вышла только его завершающая часть, посвященная христианству, в которой прослеживались его первобытные корни.

Наконец, последним крупным трудом Богораза, носящим важный методологический характер, стало «Распространение культуры на Земле», написанное в рамках диффузионизма. Однако между работой В. Г. Богораза и сочинениями немецких антропогеографов и сторонников теории «культурных кругов» есть существенное различие, заключающееся в переносе центра исследования с первобытных народов на современные. В работе провозглашалось создание новой науки — этногеографии, которая «есть этнография, взятая в ее географическом распространении, или напротив того, это есть география с новым этнографическим наполнением» (Богораз-Тан, 1928: 42). Связывая этнографию с изучением культуры, Богораз выступил с важным методологическим замечанием: если материальная культура носит «общечеловеческий» характер и ее плоды могут быть легко заимствованы одним народом у других, то в области духовной культуры такие заимствования невозможны. Он признавал наличие определенных закономерностей в развитии духовной культуры, но при этом указывал, что к настоящему времени они не выявлены и носят исключительно эмпирический характер. Также Богораз указывал на значимую роль индивидуального элемента в деле развития материальной культуры, тогда как для духовной эта роль гораздо меньше. Еще одним важным положением было признание возможности изменения границ культурных кругов, их расширения, взаимопроникновения и дальнейшего слияния в единую мировую культуру. Однако то, что это сочинение не укладывалось в рамки марксизма, набирающего силу в этнографии в то время, привело к его жесткой критике, из-за чего концепция оказалась фактически похороненной.

Собственно, то самое совещание этнографов Москвы и Ленинграда, состоявшееся в 1929 г., на котором было раскритикованы взгляды Богораза, подвела итог развитию народнической этнографии. В рамках прений по одному из докладов Владимир Германович так обозначил задачи теоретической этнографии (От классиков к марксизму, 2014: 118):

мы должны определить технико-хозяйственные ареалы, причем мы должны их разграничивать. Мы должны определить их географическое распространение, мы должны их связать с естественными условиями, и тогда мы должны из них вывести комплекс, который одновременно покрывает производственный подход, покрывает анализ статических элементов как пища, одежда, жилище и т. д., покрывает анализ религии как отображение этого

процесса и покрывает анализ психологический и социальной психологии как надстройки над этой материальной базой.

Здесь видна попытка соединить этногеографию с марксизмом с целью вывести автора из-под критики оппонентов. Однако это особо не помогло — критика продолжилась, хотя накопленный авторитет позволил Богоразу сохранить возможность вести научную и педагогическую деятельность.

Таким образом, место революционных народников в системе производства теоретического знания в Российской империи и первые годы советской власти достаточно сильно менялось. Изначально они выступали в качестве реципиентов, усваивая созданные западными авторами, а также более старшими соотечественниками глобальные теории общественного развития. Исходя из них, молодые участники революционного движения строили свою тактику как в рамках «хождения в народ», так и на nive политического террора. Однако реальность показала, что эти теории слабо отражают ту реальность, с которой народники столкнулись на практике. После разгрома народничества многие его участники оказались в ссылке на окраинах империи. Обладая деятельной натурой, они были вынуждены сотрудничать с официальными государственными организациями — отделениями ИРГО, статкомитетами, так или иначе взаимодействовали с представителями власти. Одной из основных форм деятельности для них стало участие в экспедициях, в которых собирался конкретный материал (от этнографического до геологического). В этом случае они превращались в агентов колонизации, создавая новое знание, которое могло использоваться как в управлении восточными окраинами, так и для эксплуатации природных богатств региона. Интерпретация полученного знания осуществлялась уже не на основе усвоенных ранее глобальных теорий, поскольку это была новая для народников сфера. В то же время по мере накопления этого материала и знакомства с теориями в области этнографии и археологии, некоторые народники так или иначе выходили на уровень новых обобщений, часто делая это как бы мимоходом. Так, например, в ходе Сибиряковской экспедиции были высказаны довольно смелые лингвистические и антропологические гипотезы. При обсуждении проектов экспозиции в Русском музее Д. А. Клеменцем были сформулированы основы теории хозяйственно-культурных типов. По мере того как бывшие революционные народники приобретали авторитет в научной сфере и определенный статус в системе производства имперского знания, ими создавались

новые теоретические обобщения, выходящие за рамки прикладного использования. Из-за того, что они не имели специального образования, новые обобщающие теории могли носить несколько эклектичный характер, соединяя элементы эволюционизма, диффузионизма, функционализма и других этнографических школ. Однако их построения стали входить в противоречие с проникающим во всех сферы марксизмом, из-за чего, фактически, оказались невостребованными на долгое время. Таким образом, представители революционного народничества прошли путь от оппозиции к сотрудничеству с властью в деле производства нового знания, после чего вновь оказались в оппозиции, а созданные ими теории были подвергнуты критике.

СОКРАЩЕНИЯ

МАЭС ТГУ	Музей археологии и этнографии Сибири Томского государственного университета.
ОГКУ ГАИО	Областное государственное казенное учреждение «Государственный архив Иркутской области».

Источники

Рукописные источники

- Комментарии Д. К. Клеменца к изданию статьи В. В. Радлова «Этнографический обзор тюркских племен Южной Сибири и степей Средней Азии» // МАЭС ТГУ. — Б. д. — Фонд А. В. Адрианова. — Папка 11. — Л. 175 об, 175.
- Отчет о Сибиряковской экспедиции // ОГКУ ГАИО. — Б. д. — Ф. 293. — Оп. 1. — Оц. Д. 59. — Л. 63 об, 64.

Опубликованные источники

- Берви-Флеровский В. В.* Азбука социальных наук : в 3 т. — СПб. : Типография В. Нусвальта, 1871.
- Богораз-Тан В. Г.* Эйнштейн и религия : применение принципа относительности к исследованию религиозных явлений. — М. : Издательство Л. Д. Френкель, 1923.
- Богораз-Тан В. Г.* Распространение культуры на Земле : основы этногеографии. — М. : Государственное издательство, 1928.
- Журнал заседания Отделения этнографии И. Р. Г. О. 4 марта 1916 года // Живая старина. — 1917. — Т. 25, № 2/3. — С. 1–11.
- Клеменц Д. А.* Наговоры и приметы у крестьян Минусинского округа : материалы для изучения мирозерцания сибирского сельского населения // Известия Восточно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества. — 1888. — Т. 19, № 3. — С. 27–54.

- Клеменц Д. А.* Отдельное мнение старшего этнографа Императорской Академии наук Д. Клеменца, члена подкомиссии для выработки проекта разделения Этнографического отдела Русского музея императора Александра III. — СПб. : [s. n.], 1901.
- Клеменц Д. А.* Беглые заметки о желтой опасности // Русское богатство. — 1905. — № 7. — С. 36–56.
- Клеменц Д. А.* Заметки о кочевом быте // Сибирские вопросы. — 1908. — Т. 49, № 52. — С. 7–57.
- Лавров П. Л.* Философия и социология : Избранные произведения. В 2 т. Т. 2 / под ред. А. Ф. Окулова. — М. : Мысль, 1965.
- Майнов И. И.* Русские крестьяне и оседлые инородцы Якутской области. — СПб. : Типография В. Ф. Киришаума, 1912.
- Могиланский Н. М.* Предмет и задачи этнографии // Живая старина. — 1916. — Т. 25, № 1. — С. 1–22.
- От классиков к марксизму : совещание этнографов Москвы и Ленинграда (5–11 апреля 1929 г.) / под ред. Д. В. Арзютова, С. С. Алымова, Д. Д. Андерсона. — СПб. : МАЭ РАН, 2014.
- Тихомиров Л. А.* Воспоминания Льва Тихомирова / под ред. В. И. Невского. — М. : Гос. изд-во, 1927.
- Ткачев П. Н.* Кладези мудрости российских философов. — М. : Правда, 1990.
- Флеровский Н.* Положение рабочего класса в России. — СПб. : Издание Н. П. Полякова, 1869.
- Формы национального движения в современных государствах : Австро-Венгрия. Россия. Германия / под ред. А. И. Кастелянского. — СПб. : Тип. т-ва «Общественная польза», 1910.
- Штернберг Л. Я.* Первобытная религия в свете этнографии : исследования, статьи, лекции. — Л. : Издательство Института народов Севера, 1936.

ЛИТЕРАТУРА

- Алаев Л. Б.* Чем была «русская община» и что такое «русская общинность» // История и современность. — 2014. — № 2. — С. 46–72.
- Архипова А. И.* Губернатор Якутской области В. Н. Скрыпицын : вопросы управления // Известия Иркутского государственного университета. — 2011. — Т. 1, № 1. — С. 90–97.
- Кан С.* Научные взгляды Л. Я. Штернберга в контексте мировой этнологии и его собственной идеологии народника и еврейского патриота // Лев Штернберг — гражданин, ученый, педагог : к 150-летию со дня рождения / под ред. Е. А. Резвана. — СПб. : МАЭ РАН, 2012. — С. 179–189.
- Колесникова Л. А.* Историко-революционная мемуаристика (1917–1935 гг.) как массовый источник по истории русских революций (методика количественного анализа) : автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.09 / Колесникова Л. А. — Институт российской истории Российской академии наук, 1996.

- Кузнецов С. К.* Критика и библиография // Сибирский вестник политики, литературы и общественной жизни. — 1888. — № 93. — С. 3–4.
- Милевский О. А., Панченко А. Б.* «Беспокойный Клеменц»: опыт интеллектуальной биографии. — М.: Политическая энциклопедия, 2017.
- Михайлова Е. А.* Владимир Германович Богораз: ученый, писатель, общественный деятель // Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи XX века / под ред. В. А. Тишкова. — М.: Наука, 2004. — С. 95–136.
- Пенькова Е. А.* Повседневность политических заключенных в тюремных учреждениях Российской империи 1879–1917 гг. (на материалах губерний Европейской части страны): дис. ... канд. ист. наук: 07.00.07 / Пенькова Е. А. — Казань: К(П)ФУ, 2015.
- Рожанов Ф. С.* Записки по истории революционного движения в России (до 1913 года). — СПб.: Типография штаба Отд. Корп. Жанд, 1913.
- Сайкин О. А., Серебровская К. Б.* Жизненный путь Николая Александровича Морозова // Николай Александрович Морозов: ученый-энциклопедист / под ред. Ю. И. Соловьева. — М.: Наука, 1982. — С. 6–29.
- Сартори П., Шаблей П.* Эксперименты империи: адат, шариад и производство знаний в казахской степи / под ред. О. П. Панайоти. — М.: Новое литературное обозрение, 2019.
- Сафронова Ю. А.* Вовлечение в политическое: революционное народничество 1870-х годов как сообщество читателей // Вестник Пермского университета: История. — 2018. — Т. 2, № 41. — С. 65–74. — DOI: 10.17072/2219-3111-2018-2-65-74.
- Сирина А. А.* «Скоро будет два года, как мы занимаемся экспедиционными работами...» Неизвестные письма В. И. Иохельсона и В. Г. Богораза из Сибиряковской (Якутской) экспедиции / Илин. — 2007. — URL: <http://ilin-yakutsk.narod.ru/2007-5/90.htm> (дата обр. 20 февр. 2020).
- Сирина А. А., Роон Т. П.* Лев Яковлевич Штернберг: у истоков советской этнографии // Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи XX века / под ред. Д. Д. Тумаркина. — М.: Наука, 2004. — С. 49–94.
- Слезкин Ю.* Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера / пер. с англ. О. Леонтьевой. — М.: Новое литературное обозрение, 2008.
- Слободин С. Б.* Колумб северной этнографии (к 150-летию со дня рождения В. И. Иохельсона) // Вестник Северо-Восточного научного центра ДВО РАН. — 2005. — № 2. — С. 82–94.
- Схиммельпэнник ван дер Ойе Д.* Русский ориентализм: Азия в российском сознании от эпохи Петра Великого до Белой эмиграции / пер. с англ. П. С. Бавина. — М.: Новое литературное обозрение, 2019.
- Тольц В.* «Собственный Восток России»: Политика идентичности и востоковедение в позднеимперский и раннесоветский период. — М.: Новое литературное обозрение, 2013.

- Федорова В. И. Революционный народник, ученый и просветитель Д. А. Клементц. — Красноярск : Изд-во Краснояр. ун-та, 1988.
- Центральная Азия в составе Российской империи / под ред. С. Н. Абашина, Д. Ю. Арапова, Н. Е. Бекмахановой. — М. : Новое литературное обозрение, 2008.
- Эткинд А. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России / пер. с англ. В. Макарова. — М. : Новое литературное обозрение, 2013.
- Liarskaya E. Penelope's Cloth : "The Bogoras Project" in the Second Half of the 1920s–1930s // Jochelson, Bogoras and Shternberg A Scientific Exploration of Northeastern Siberia and the Shaping of Soviet Ethnography / ed. by E. Kasten. — Havel : Kulturstiftung Sibirien, 2018. — P. 171–205.

Panchenko, A. B. 2020. "Ot obshchego k chastnomu i obratno [From the General to the Quotient and Backward]: osobennosti proizvodstva znaniya narodnikami [Peculiarities of Knowledge Production by the Populists]" [in Russian]. *Filosofiya. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki [Philosophy. Journal of the Higher School of Economics]* IV (2), 249–281.

ALEKSEY PANCHENKO

PH.D. IN HISTORY; ASSISTANT PROFESSOR AT THE SURGUT STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

FROM THE GENERAL TO THE QUOTIENT AND BACKWARD PECULIARITIES OF KNOWLEDGE PRODUCTION BY THE POPULISTS

Submitted: Mar. 08, 2020. Accepted: May 09, 2020.

Abstract: Populism as a social and intellectual movement began to take shape in the 1860–70s among students. Their ideology was formed on the basis of global historical-philosophical and political-economic concepts. However, "going to the people" showed that such broad generalizations were contrary to reality and could not be used as an instrument of cognition. After the defeat of the populism, many of its participants found themselves in exile on the outskirts of the empire, where they were deprived of access to the traditional circle of reading. One of the main forms of activity for them was participation in expeditions that collected specific material (from ethnographic to geological), the comprehension of which required acquaintance with highly specialized literature. In process of accumulation of field material, some populists reached the new level of generalizations. During of the "Sibiryakovsky" expedition quite bold linguistic and anthropological hypotheses were voiced, while discussing the projects of the exposition in the Russian Museum by D. A. Klements, the foundations of the theory of cultural-household types were formulated. Later on, former populists L. Ya. Sternberg and V. G. Bogoraz were able to create new global concepts in ethnography. Thus, the production of knowledge by the people went according to the following principle: at first generalizing theories were used which could not stand the test of practice, then the stage of creation of private scientific knowledge in the field of archaeology, ethnography, geology came, and after that new high-level theories were created on their basis.

Keywords: Populism, Ethnography, D. A. Klements, V. G. Bohoraz, P. L. Lavrov, L. Ya. Sternberg, History of Science.

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-2-249-281.

REFERENCES

- Abashin, S. N., D. Yu. Arapov, and N. Ye. Bekmakanov, eds. 2008. *Tsentral'naya Aziya v sostave Rossiyskoy imperii [Central Asia within the Russian Empire]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: Novoye literaturnoye obozreniye.
- Alayev, L. B. 2014. "Chem byla 'russkaya obshchina' i chto takoye 'russkaya obshchinnost'" [What Was 'Russian Community' and What Is 'Russian Community?'] [in Russian]. *Istoriya i sovremennost' [History and Modernity]*, no. 2: 46–72.
- Arkipova, A. I. 2011. "Gubernator Yakut'skoy oblasti V. N. Skrypitsyn [V. N. Skrypitsyn, Governor of the Yakutsk Region]: voprosy upravleniya [Management Issues]" [in Russian]. *Izvestiya Irkut'skogo gosudarstvennogo universiteta [The Bulletin of Irkutsk State University]* 1 (1): 90–97.
- Arzyutov, D. V., S. S. Alymov, and D. Dzh. Anderson, eds. 2014. *Ot klassikov k marksizmu [From Classics to Marxism]: soveshchaniye etnografov Moskvy i Leningrada (5–11 aprel'ya 1929 g.) [The Meeting of Ethnographers from Moscow and Leningrad (April 5–11, 1929)]* [in Russian]. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: MAE RAN.
- Bervi-Flerovskiy, V. V. 1871. *Azbuka sotsial'nykh nauk [ABC of Social Sciences]* [in Russian]. 3 vols. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Tipografiya V. Nusval'ta.
- Bogoraz-Tan, V. G. 1923. *Eynshteyn i religiya [Einstein and Religion]: primeneniye printsipa otноситel'nosti k issledovaniyu religioznykh yavleniy [Application of the Principle of Relativity to the Study of Religious Phenomena]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: Izdatel'stvo L. D. Frenkel'.
- . 1928. *Rasprostraneniye kul'tury na Zemle [The Spread of Culture on Earth]: osnovy etnogeografii [Basics of Ethnogeography]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: Gosudarstvennoye izdatel'stvo.
- Etkind, A. 2013. *Vnutrennyaya kolonizatsiya. Imperskiy opyt Rossii [Internal Colonization. Russia's Imperial Experience]* [in Russian]. Trans. from the English by V. Makarov. Moskva [Moscow]: Novoye literaturnoye obozreniye.
- Fedorova, V. I. 1988. *Revolutsionnyy narodnik, uchenyy i prosvetitel' D. A. Klements [The Revolutionary Narodnik, Scientist and Enlightener D. A. Klements]* [in Russian]. Krasnoyarsk: Izd-vo Krasnoyar. un-ta.
- Flerovskiy, N. 1869. *Polozheniye rabochego klassa v Rossii [The Situation of the Working Class in Russia]* [in Russian]. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Izdaniye N. P. Polyakova.
- Kan, S. 2012. "Nauchnyye vzglyady L. Ya. Shternberga v kontekste mirovoy etnologii i yego sobstvennoy ideologii narodnika i yevreyskogo patriota [Scientific Views of L. Y. Shternberg in the Context of World Ethnology and His Own Ideology of a National and Jewish Patriot]" [in Russian]. In *Lev Shternberg — grazhdanin, uchenyy, pedagog [Lev Shternberg — Citizen, Scientist, Teacher] : k 150-letiyu so dnya rozhdeniya [To the 150th Anniversary of His Birth]*, ed. by Ye. A. Rezvan, 179–189. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: MAE RAN.
- Kastelyanskiy, A. I., ed. 1910. *Formy natsional'nogo dvizheniya v sovremennykh gosudarstvakh [The Forms of National Movement in Modern States]: Avstro-Vengriya. Rossiya. Germaniya [Austria-Hungary. Russia. Germany]* [in Russian]. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Tip. t-va "Obshchestvennaya pol'za".
- Klements, D. A. 1888. "Nagovory i primety u krest'yan Minusinskogo okruga [Slander and Omens Among the Peasants of the Minusinsk District]: materialy dlya izucheniya mirosozertsaniya sibirskogo sel'skogo naseleniya [Materials for Studying the World Outlook of

- the Siberian Rural Population]" [in Russian]. *Izvestiya Vostochno-Sibirskogo otdela Imperatorskogo russkogo geograficheskogo obshchestva* [Proceedings of the East Siberian Department of the Imperial Russian Geographical Society] 19 (3): 27–54.
- . 1901. *Otdel'noye mneniye starshego etnografa Imperatorskoy Akademii nauk D. Klementsа, chlena podkomissii dlya vyrabotki proyekta razdeleniya Etnograficheskogo otdela Russkogo muzeya imperatora Aleksandra III* [Separate Opinion of Senior Ethnographer of the Imperial Academy of Sciences D. Klements, Member of the Sub-commission for the Elaboration of the Project of Division of the Ethnographic Department of the Russian Museum of Emperor Alexander III] [in Russian]. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: [s. n.]
- . 1905. "Beglyye zametki o zheltoy opasnosti [Quick Notes on Yellow Danger]" [in Russian]. *Russkoye bogatstvo* [Russian Wealth], no. 7: 36–56.
- . 1908. "Zametki o kochevom byte [Notes on Nomadic Life]" [in Russian]. *Sibirskiy voprosy* [Siberian Issues] 49 (52): 7–57.
- Kolesnikova, L. A. 1996. "Istoriko-revolutsionnaya memuaristika (1917–1935 gg.) kak massovyy istochnik po istorii russkikh revolyutsiy (metodika kolichestvennogo analiza) [Historical and Revolutionary Memoirs (1917–1935) as a Mass Source on the History of Russian Revolutions (Quantitative Analysis Technique)]" [in Russian]. Published summary of a doctoral diss., Institut rossiyskoy istorii Rossiyskoy akademii nauk.
- "Kommentarii D. K. Klementsа k izdaniyu stat'i V. V. Radlova 'Etnograficheskiy obzor tyurkskikh plemen Yuzhnoy Sibiri i stepey Sredney Azii' [Comments by D. K. Klemenzenz on the Publication of V. V. Radlov's Article 'Ethnographic Review of the Turkic Tribes of Southern Siberia and the Steppes of Central Asia']" [in Russian]. N. d. In *MAES TGU [Museum of archeology and Ethnography of Siberia of Tomsk State University]*. Adrianov Fund. 11/175.
- Kuznetsov, S. K. 1888. "Kritika i bibliografiya [Criticism and Bibliography]" [in Russian]. *Sibirskiy vestnik politiki, literatury i obshchestvennoy zhizni* [Siberian Bulletin of Politics, Literature and Public Life], no. 93: 3–4.
- Lavrov, P. L. 1965. [in Russian]. Vol. 2 of *Filosofiya i sotsiologiya [Philosophy and Sociology] : Izbrannyye proizvedeniya [Selected Works]*, ed. by A. F. Okulov. 2 vols. Moskva [Moscow]: Mysl'.
- Liarskaya, E. 2018. "Penelope's Cloth: 'The Bogoras Project' in the Second Half of the 1920s–1930s." In *Jochelson, Bogoras and Shternberg A Scientific Exploration of North-eastern Siberia and the Shaping of Soviet Ethnography*, ed. by E. Kasten, 171–205. Havel: Kulturstiftung Sibirien.
- Maynov, I. I. 1912. *Russkiye krest'yane i osedlyye inorodtsy Yakut'skoy oblasti [Russian Peasants and Sedentary Foreigners of the Yakutsk Region]* [in Russian]. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Tipografiya V. F. Kirshbauma.
- Mikhaylova, Ye. A. 2004. "Vladimir Germanovich Bogoraz [Vladimir Germanovich Bogoraz]: uchenyy, pisatel', obshchestvennyy deyatel' [Scientist, Writer, Public Figure]" [in Russian]. In *Vydayushchiyesya otechestvennyye etnologi i antropologi xx veka [Outstanding Russian Ethnologists and Anthropologists of the 20th Century]*, ed. by V. A. Tishkov, 95–136. Moskva [Moscow]: Nauka.
- Milevskiy, O. A., and A. B. Panchenko. 2017. "Bespokoynnyy Klements" ["Disturbed Clementz"]": opyt intellektual'noy biografii [Experience of Intellectual Biography] [in Russian]. Moskva [Moscow]: Politicheskaya entsiklopediya.
- Mogilyanskiy, N. M. 1916. "Predmet i zadachi etnografii [Subject and Problems of Ethnography]" [in Russian]. *Zhivaya starina [Living Old]* 25 (1): 1–22.

- “Otchet o Sibiryakovskoy ekspeditsii [Report on the Sibiryakovsky Expedition]” [in Russian]. N. d. In *OGKU GAI O* [Regional State Government Institution “State Archive of the Irkutsk Region”]. 293/1/59/63, 64.
- Pen'kova, Ye. A. 2015. “Povsednevnost’ politicheskikh zaklyuchennykh v tyuremnykh uchrezhdeniyakh Rossiyskoy imperii 1879–1917 gg. (na materialakh guberniy Yevropeyskoy chasti strany) [The Daily Routine of Political Prisoners in the Prison Institutions of the Russian Empire 1879–1917 (Based on Materials from the Provinces of the European Part of the Country)]” [in Russian]. PhD diss., Kazan’: K(P)FU.
- Rozhanov, F. S. 1913. *Zapiski po istorii revolyutsionnogo dvizheniya v Rossii (do 1913 goda)* [Notes on the History of the Revolutionary Movement in Russia (Until 1913)] [in Russian]. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Tipografiya shtaba Otd. Korp. Zhand.
- Safronova, Yu. A. 2018. “Vovlecheniye v politicheskoye [Political Involvement]: revolyutsionnoye narodnichestvo 1870-kh godov kak soobshchestvo chitateley [Revolutionary Populism of the 1870s as a Community of Readers]” [in Russian]. *Vestnik Permskogo universiteta [Perm University Herald]: Istoriya [History]* 2 (41): 65–74. doi:10.17072/2219-3111-2018-2-65-74.
- Saykin, O. A., and K. B. Serebrovskaya. 1982. “Zhiznennyy put’ Nikolaya Aleksandrovicha Morozova [Life Path of Nikolay Alexandrovich Morozov]” [in Russian]. In *Nikolay Aleksandrovich Morozov : uchenyy-entsiklopedist [Encyclopedic Scientist]*, ed. by Yu. I. Solov’yev, 6–29. Moskva [Moscow]: Nauka.
- Sartori, P., and P. Shabley. 2019. *Ekspertymy imperii [Empire Experiments]: adat, shariat i proizvodstvo znaniy v kazahskoy stepi [Adat, Sharia and Knowledge Production in the Kazakh Steppe]* [in Russian]. Ed. by O. P. Panayotti. Moskva [Moscow]: Novoye literaturnoye obozreniye.
- Shternberg, L. Ya. 1936. *Pervobytnaya religiya v svete etnografii [Primitive Religion in the Light of Ethnography]: issledovaniya, stat’i, lektsii [Research, Articles, Lectures]* [in Russian]. Leningrad: Izdatel’stvo Instituta narodov Severa.
- Sirina, A. A. 2007. “Skoro budet dva goda, kak my zanimayemysya ekspeditsionnymi rabotami...” [‘Soon it Will be two Years Since We Are Engaged in Expedition Work...’]: Neizvestnyye pis’ma V. I. Iokhel’sona i V. G. Bogoraza iz Sibiryakovskoy (Yakut’skoy) ekspeditsii [Unknown Letters of V. I. Iokhelson and V. G. Bogoraz from the Sibiryak (Yakut) Expedition]” [in Russian]. Ilin. Accessed Feb. 20, 2020. <http://ilin-yakutsk.narod.ru/2007--5/90.htm>.
- Sirina, A. A., and T. P. Roon. 2004. “Lev Yakovlevich Shternberg: u istokov sovet’skoy etnografii [At the Origins of Soviet Ethnography]” [in Russian]. In *Vydayushchiyesya otechestvennyye etnologi i antropologi XX veka [Outstanding Russian Ethnologists and Anthropologists of the 20th Century]*, ed. by D. D. Tumarkin, 49–94. Moskva [Moscow]: Nauka.
- Skhimmel’pennik van der Oyye, D. [Schimmelpenninck van der Oye, D.] 2019. *Russkiy oriyeentalizm [Russian Orientalism]: Aziya v rossiyskom soznanii ot epokhi Petra Velikogo do Beloy emigratsii [Asia in the Russian Mind from Peter the Great to the Emigration]* [in Russian]. Trans. from the English by P. S. Bavin. Moskva [Moscow]: Novoye literaturnoye obozreniye.
- Slezkin, Yu. [Slezkine, Yu.] 2008. *Arkticheskkiye zerkala [Arctic Mirrors]: Rossiya i малыe narody Severa [Russia and the Small Peoples of the North]* [in Russian]. Trans. from the English by O. Leont’yeva. Moskva [Moscow]: Novoye literaturnoye obozreniye.
- Slobodin, S. B. 2005. “Kolumb severnoy etnografii (k 150-letiyu so dnya rozhdeniya V. I. Iokhel’sona) [Columbus of Northern Ethnography (on the 150th Anniversary of the Birth of V. I. Yokhelson)]” [in Russian]. *Vestnik Severo-Vostochnogo nauchnogo tsentra DVO RAN*

- [*Bulletin of the North-Eastern Scientific Center of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences*], no. 2: 82–94.
- Tikhomirov, A., L. 1927. *Vospominaniya L'va Tikhomirova* [*Memories of Lev Tikhomirov*] [in Russian]. Ed. by V. I. Nevskiy. Moskva [Moscow]: Gos. izd-vo.
- Tkachev, P. N. 1990. *Kladezi mudrosti rossiyskikh filosofov* [*Claudesi of Wisdom of Russian Philosophers*] [in Russian]. Moskva [Moscow]: Pravda.
- Tol'ts, V. 2013. "Sobstvennyy Vostok Rossii" ["*Russia's Own Orient*"]: *Politika identichnosti i vostokovedeniye v pozdneimperskiy i rannesovet-skiy period* [*The Politics of Identity and Oriental Studies in the Late Imperial and Early Soviet Periods*] [in Russian]. Moskva [Moscow]: Novoye literaturnoye obozreniye.
- "Zhurnal zasedaniya Otdeleniya etnografii I. R. G. O. 4 marta 1916 goda [Journal of the Ethnography Department Meeting I. R. G. O. March 4, 1916]." 1917 [in Russian]. *Zhivaya starina* [*Living Old*] 25 (2–3): 1–11.

АНДРЕЙ ТЕСЛЯ*

А. И. ГЕРЦЕН В ИСТОЛКОВАНИЯХ Г. В. ФЛОРОВСКОГО И КОНЦЕПЦИЯ ИСТОРИИ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ В «ПУТЯХ РУССКОГО БОГОСЛОВИЯ»**

Получено: 09.06.2020. Принято: 15.06.2020.

Аннотация: А. И. Герцену (1812–1870) были посвящены две большие работы выдающегося историка русской мысли и богослова Г. В. Флоровского (1893–1979): его диссертация, защищенная в Праге в 1923 г., и подготовленная к 1928 г. на ее основе, подвергнувшись существенной переработке и дополнению, книга. На первый взгляд выбор Герцена в качестве предмета специальных разысканий выглядит в рамках интеллектуальной биографии Флоровского случайным. Однако, чем бы ни был обусловлен первоначальный выбор темы — обстоятельствами места и времени, доступной в условиях эмиграции литературой и т. д. — он превратился в инструмент размышления над центральными проблемами истории русской философии, а концепция, выстроенная в рамках диссертации и существенно уточненная и развитая в книге, стала «рабочими лесами» «Путей русского богословия», главной книги Флоровского, написанной в 1930–1936 гг. В данной статье мы стремимся показать, что история русской философии понимается Флоровским в 1920-е, а отчасти и в 1930-е годы, как сначала усвоение романтической философии, а затем обнаружение тупиков последней. Романтизм понимается Флоровским как протест против «логического провиденциализма», хилиастического взгляда, стремящегося истолковать историю как логическое развертывание изначального смысла. Соответственно, романтизм проявляется, в том числе и в рамках индивидуальной интеллектуальной биографии, как «индивидуалистический» бунт, отстаивание личного смысла и значения, и, в силу иррациональных (страстных) оснований последнего — в утверждении «иррационализма», который оказывается совместимым с «натурализмом», осмыслением истории как «естественного процесса» (способом снятия противоположности «природы» и «культуры» в рамках романтического предпочтения первой). Переходом здесь выступает понятие «судьбы», понятой как «рок» (в истолковании XIX века). Герцен осмысляется Флоровским как ключевая фигура этого интеллектуального движения, проходящего весь этот путь до конца, благодаря своей интеллектуальной честности и бесстрашию перед неудобными выводами. Тем самым у него обнажаются «тупики романтизма», одним

*Тесля Андрей Александрович, к. филос. н., старший научный сотрудник, научный руководитель (директор) Центра исследований русской мысли Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (Калининград), mestr81@gmail.com, AnATeslya@kantiana.ru.

** © Тесля, А. А. © Философия. Журнал Высшей школы экономики. Работа была выполнена в рамках гранта РНФ (№ 18–18–00442) «Механизмы смыслообразования и текстализации в социальных нарративных и перформативных дискурсах и практиках» в Балтийском федеральном университете им. И. Канта.

из вариантов решения которых предстает К. Н. Леонтьев, как делающий решительный выбор в пользу «эстетизма» (и, соответственно, бессмысленности, неоправдываемости истории с точки зрения веры), тогда как Ф. М. Достоевский либо, в ранних версиях интерпретации Флоровского, выходит за пределы «тушиков романтизма», либо, в поздних, нащупывает путь их преодоления.

Ключевые слова: историзм, историография русской философии, русская эмиграция, романтизм, П. М. Вигцлли.

DOI: 10.17723/2587-8719-2020-2-282-307.

1920-е–40-е годы стали в русской интеллектуальной истории временем концептуального осмысления прошлого русской философии — и, как и всякая концептуальная работа такого рода, обращенными в первую очередь к современности. Выходит череда трудов, до сих во многом определяющих наши способы понимания, наши представления об истории русской мысли XIX — начала XX века — от оставшегося незаконченным «Очерка...» Г. Г. Шпета (1922) до «Историй...» Б. В. Яковенко (1939), В. В. Зеньковского (1948–1950) и Н. О. Лосского (1951), «Истоков и смысла русского коммунизма» (1937) и «Русской идеи» (1946) Н. А. Бердяева.

Собственно, первое заметное движение в этом направлении приходится еще первые два десятилетия XX века, где выделяется фигура М. О. Гершензона — обратившегося первоначально к фигуре Герцена (см.: Житомирская, 1985: 586 и сл.), но в процессе поиска и собирания материалов, их осмысления в итоге с 1903 г. и вплоть до своей кончины создавшего серию очерков и портретов, составивших живой, художественно убедительный образ двух поколений, «Грибоедовской Москвы» и «Молодой России».

Но и на этом фоне выделяются как оригинальностью мысли, так и масштабностью замысла «Пути русского богословия» Г. В. Флоровского, вышедшие из печати в 1936 г. Работе Флоровского посвящен целый ряд специальных исследований, включая монографическую разработку именно историко-философского содержания его воззрений (Черняев, 2010). Мы со своей стороны намерены затронуть лишь один конкретный аспект, связанный с осмыслением Флоровским места и значения А. И. Герцена в истории русской философии¹, поскольку, на наш взгляд,

¹Конкретному рассмотрению влияния Герцена на духовную эволюцию Флоровского посвящена обстоятельная статья А. В. Черняева (Черняев, 2013), к которой мы и отсылаем заинтересованного читателя. Представления Флоровского на исторический процесс проанализированы, в частности, в широком контексте философско-исторических представлений русского зарубежья 1920-30-х гг. в работе: Повилайтис, 2009: 88–95.

«герценовский сюжет» имеет определяющее значение для мысли Флоровского 1920-х гг. и существенно отразился на столько на трактовке конкретных историко-философских сюжетов в «Путях...», сколько на выстраивании той концептуальной рамки, в которой они рассматривались — став с течением времени «снятыми лесами».

Гершензон, труды которого мы упомянули выше, в итоге большой работы собственно о Герцене так и не написал. Герцен оказался исходной точкой размышлений и, в последующем, их центром — но отчасти, как думается, и по этой причине — тем, писать о котором предметно, претендуя не на частные замечания и очерки, но стремясь дать целостное описание, монографическое рассмотрение, Гершензон избегал.

В случае Флоровского — ситуация едва ли не противоположная. Уже в самом начале своего интеллектуального пути он ставит ту задачу, которую исполнит в «Путях...» — в письме к о. Павлу Флоренскому от 30.VII.1912 тогда только что поступивший в Новороссийский университет Флоровский, еще не приступивший к занятиям на историко-филологическом факультете и проводящий каникулы на Рижском взморье, пишет (Флоровский, 2004а: 59):

Моя мечта — изучение всей русской мысли в ее истории, изучение русской философии в ее генезисе, развитии и status quo. Хватит ли моих сил на это, но я буду работать пока хватит. Много других планов работы у меня есть, и я несколько колеблюсь между ними.

С легкой руки первого биографа Г. В. Флоровского, Э. Блейна в историографии пришло представление о легкой и быстрой истории этого труда — хотя, следует отметить, сам биограф в этом не повинен — дав повод к подобному представлению прежде всего рассказом, как в порыве вдохновения всего за один день была написана последняя глава «Путей...» (Блейн, 1995: 46). В действительности, благодаря, в частности, опубликованным В. В. Янценом письмам Флоровского к Г. Либу, мы знаем, что только непосредственная работа над «Путями...» заняла шесть лет, с 1930 по 1936 г., а о том, как писалась последняя глава, знаем из письма одному из редакторов «Современных записок», В. В. Рудневу от 15.II.1936 г., в котором Флоровский, прося извинить его за оставленную без ответа предыдущую открытку редактора, сообщал (Флоровский, 2014: 666):

Меня заставили кончить мою книгу в несколько дней, практически мне пришлось написать около 30 печатных страниц за 8 дней, да притом до-

вольно сложного содержания. При такой работе я потерял всякое чувство ответственности, несколько ночей не спав кряду.

К предыстории «Путей...» относятся уже те материалы, которые остались в России, и гораздо ближе — те, которые принялся собирать Флоровский, едва оказавшись в Болгарии в 1920 г. В письме выдающемуся чешскому слависту Иржи Поливке от 6.VII.1921 г. он сообщал, что (Досталь, 1999: 95):

уже давно [...] пришел к убеждению в необходимости пересмотра сложившихся представлений о ходе развития русской историософической мысли, исподволь разбирая материал по этому вопросу, составил совершенно определенный план книги, посвященной этой теме.

Сообщая о плане работы, охватывающим период с 1830-х гг. вплоть до современности², Флоровский указывал (там же: 96)³:

В настоящее время для меня сделалось ясно, что закончить для печати всю работу в Софии невозможно... Тем не менее некоторые главы могут быть закончены и здесь, и в их числе глава о Герцене...

Эмигрантская жизнь, особенно в первые годы, вынуждала сосредоточиться на той теме, которую можно было серьезно раскрыть в условиях более чем ограниченных ресурсов — так что когда встал вопрос о выборе темы диссертационного исследования, Флоровский остановился именно на Герцене, на его философии истории — том самом сюжете, о котором извещал Поливку.

В. Янцен, сделавший очень много для сохранения и введения в научный оборот источников по истории русской эмиграции, в частности о Г. В. Флоровском, справедливо замечает, что последний до сих пор остается известен фактически как автор трех книг — понимая под ними два тома патрологии⁴ и «Пути...» (Янцен, 2007: 479). В свою очередь о. Иоанн Мейендорф охарактеризовал «Пути...» как завершение

²Последняя глава обозначалась следующим образом: «X. Кризис общественного идеала в России (Струве, Булгаков, Бердяев, Гершензон („Веги“), Новгородцев и др.)» (Досталь, 1999: 96).

³Другой частью, которую Флоровский чувствовал себя способным подготовить к печати в Софии, были главы, «посвященные ранним славянофилам». Отчасти этот материал уже был использован им в публичной лекции «Вечное и преходящее в учении славянофилов», опубликованной затем в софийском журнале «Славянский глас», 1921, т. 15, № 1–4 (Флоровский, 2005: 84–107; Досталь, 1999: 96).

⁴«Восточные Отцы Четвертого века» (1931) и «Византийские отцы V–VIII вв.» (1933).

«работы над полной историей православного Предания» (Мейендорф, 1980: 42)⁵.

В общем-то, не касаясь «американских» лет жизни Флоровского, его интеллектуальная биография действительно преимущественно определяется этими тремя трудами. Однако в ретроспективном взгляде, когда «Пути...» оказываются своеобразным «завершением», по отношению к «патрологии», есть известное искажение — работа над «Отцами...» оказывается именно «ходом в сторону», существенно изменившим перспективу для самого Флоровского, трансформировавшего его взгляд на прошлое русской мысли — при этом «Пути...» оказываются не итогом, а лишь промежуточным звеном на пути перестройки представлений автора.

Если воспользоваться знаменитой берлиновской дихотомией ежа и лиса, в свою очередь позаимствованной им у Архилоха, то Флоровский — тот, кто знает «одно, но самое главное». Н. А. Бердяев, характеризуя «Пути...», писал о «страстной реакции против романтизма» (правда, считая это именно «формой», которую принимает «реакция против человеческого» — см.: Бердяев, 1937: 53). С этой характеристикой следует согласиться — оговорившись, что речь никак не идет о целостном обзоре концепции «Путей...», а только о сюжетах, связанных с историей русской философии XIX — начала XX века.

В этом плане мысль Флоровского оказывается движущейся в одном направлении по крайней мере с начала 1920-х и вплоть до появления итогового его труда в 1936 г. В свое время А. П. Козырев, обращаясь к теме «Флоровский и Герцен», заметил (Козырев, 2002: 142):

Случайным или нет было обращение Флоровского к мысли А. И. Герцена, но в их заочном мыслительном диалоге, происходившем «поверх барьеров» веры и политических убеждений, рождалась возможность иного типа философии истории по отношению к софиологическому, гегелевскому и марксистскому детерминизму и провиденциализму. Опыт молодого Флоровского подсказывает, что в поисках неожиданных и парадоксальных союзников может заключаться возможность прокладывания новых путей в истории мысли.

⁵Статья была перепечатана в качестве предисловия ко 2-му изданию «Путей...» (1980 — репринтное воспроизведение парижского/белградского издания 1936 [на титуле — 1937] г., с добавлением именного указателя) и затем воспроизводилась в многочисленных переизданиях. О традиции понимания концепции Флоровского, сложившейся в Свято-Владимирской семинарии и фундаментальным образом повлиявшей на интерпретацию идей Флоровского 1920-30-х гг. см.: Гаврилюк, 2017, гл. 14, а также более раннюю редакцию этого труда: Gavriulyuk, 2013.

Здесь приходится согласиться, что до сего дня трудно судить, насколько целенаправленным было обращение молодого Флоровского к мысли Герцена — однако превращение герценовской темы в центральную для Флоровского в 1920-е уже нет ничего случайного.

Аргументом в пользу не-случайности и исходного обращения внимания на фигуру Герцена может служить начало одной из первых опубликованных Флоровским статей, «Из прошлого русской мысли» (1913). Там Флоровский писал, отталкиваясь от Овсяннико-Куликовского (наблюдения которого ценил и намного позднее, см.: Флоровский, 1988: 404):

Но политические взгляды не составляют сердцевины человеческого мировоззрения, они лишь одна из его глав, и в тесной связи стоит их характер с теми решениями самых общих философских проблем, коренных метафизических вопросов, которые даются данным индивидуумом. *Изучение исторического хода общественной метафизики, если позволительно так сказать, должно, таким образом, предшествовать истории политического самосознания, чтобы понимание последнего было возможно в наибольшей мере*⁶ [выд. нами — А. Г.].

Собственно, диссертация «Историческая философия Герцена», представленная к защите в 1923 г., и задуманная затем на ее основе книга, так и не случившаяся, опубликованная частями⁷, и являются попыткой обрисовать общий ход общественной метафизики — с того момента, как в России появляется собственно «философия», и вплоть до настоящего момента.

Как известно, все три оппонента диссертации Флоровского⁸ высказались о ней весьма критично. Так, например, Лосский вовсе утверждал, что (Гаврилюк, 2013: 70):

взгляды Герцена могут быть предметом психологического, а не историко-философского изучения. В результате неправильного выбора объекта исследования Г. В. Ф. не мог дать ни философской работы, ни психологической биографии Герцена, которая и возможна, и необходима.

На его взгляд, говорить о философии Герцена нет никакой возможности за пределами 1847 г. (там же):

⁶Флоровский, 1998: 7

⁷См.: Флоровский, 1995; Флоровский, 1998: 358–411; Флоровский, 2007.

⁸Ими были: Н. О. Лосский, П. Б. Струве и В. В. Зеньковский.

Вопреки мнению Г. В. Ф., во взглядах Герцена нет цельности: до 35 лет он занимался философией, а затем за границей бросил это занятие, дойдя в своем падении до «антиромантического натурализма».

Зеньковский в своем выступлении ухватил центральный нерв рассуждений Флоровского, но лишь для того, чтобы поставить автору в упрек его расхождение со школьной традицией: «... он ошибочно считает началом русской философии 30-е годы, упустив из вида русских массонов и Сквороду» (Гаврилюк, 2013: 70).

Со своей стороны П. Б. Струве утверждал, что «Г. В. Ф. в своем исследовании несколько не считается ни с историческими фактами, ни с документами. Его Герцен не настоящий, а стилизованный под романтика и под европейца» (там же).

Для самого Флоровского речь идет отнюдь не об очередной историко-философской работе, построенной на изучении биографических подробностей, прослеживании тонких взаимовлияний, выявлении ускользнувших от предшествующих исследователей отдаленных реминисценций в текстах Герцена и т. п. Истинно, отчет о диспуте, составленный Изгоевым, демонстрирует непонимание — по крайней мере со стороны Лосского и Зеньковского⁹ — той цели, который ставил себе в работе автор.

Герцен, анализируемый в диссертации, затем в подготавливаемой книге — и, наконец, Герцен в «Путях...» — предстает как ключевая фигура в истории романтизма, в том смысле, что в нем находят свое полное выражение тупики романтизма (как и озаглавлена последняя глава книги, изданная при жизни Флоровского только в переводе на немецкий: Флоровский, 2007).

Та позиция, которая подверглась критике со стороны Зеньковского в 1923 г., останется неизменной для Флоровского и в 1929, и в 1936 г. «Русское философское пробуждение¹⁰ началось с рецепции немецкого идеализма» (Флоровский, 1998: 361):

... рождается именно *русская философия*, не только философия в России. Ибо рождается или пробуждается русское философское сознание, - нечто

⁹Позиция Струве представляется иной — он, по крайней мере отчасти, понимает замысел Флоровского, но при этом не согласен с ним, видя в изображении «стилизацию», а также справедливо отмечая умаление «огромного влияния на мысль Герцена сен-симонистов и французских социалистов». Стоит отметить, что в статье 1929 г., являющейся первой главой задуманной книги о Герцене, сен-симонизму и связанным с ним сюжетам окажется отведено весьма значительное место (Флоровский, 1998: 369–380).

¹⁰Напомним, что VI-я глава «Путей...», толкующая события 1820-х – 40-х гг., озаглавлена «Философское пробуждение».

новый начинает философствовать. Рождается или становится некий *новый «субъект философии»* [...] Русская мысль пробудилась над немецким идеализмом. [...] Философские системы отзываются в загоревшихся душах целым хором отголосков¹¹.

Сравните более развернутое описание сути происходящего в «Исканиях молодого Герцена» (Флоровский, 1998: 360–361):

Уже нельзя было не задуматься над «русскою судьбою», над «русским призыванием» и русской задачей. [...] В голом и отвлеченном виде философские проблемы никогда не открываются человеческому сознанию. Оно восходит и подымается к ним исподволь и постепенно, от частичных и конкретных вопросов и загадок, которые останавливают, озадачивают и «затрудняют» мысль в обычном и будничном существовании. Философская жизнь требует внутренней чуткости к проблематике, вкуса к философским *вопросам*, — одной любознательности, одной только восприимчивости к чужим и сторонним философским *ответам* еще мало. Безвопросное подражание всегда бесплодно. Только наличность своих вопросов, выстраданных и вынесенных из конкретной жизни, делает возможным творчество. Только тогда становится возможным уже не ученическое заимствование и повторение чужих задов, но сочувственное усвоение и оплодотворяющее приобщение к преемственным преданиям вселенского философского творчества, опознанного как опыт и задача¹².

Вслед, например, за Ивановым-Разумником¹³ — Флоровский фиксирует, что «основное восприятие осталось у Герцена до конца жизни

¹¹Флоровский, 1988: 236

¹²Ср. сокращенное повторение рассуждение об исканиях 1820-х — 40-х гг. — Флоровский, 1998: 363 — в завершение 1-го параграфа VI главы «Путей...», Флоровский, 1988: 236.

¹³Активный интерес к Герцену, во многом связанный с его столетним юбилеем в 1912 г. и публикацией множества новых документов и републикацией ранее труднодоступных источников (можно назвать I и IV тома «Русских Пропилей» М. О. Гершензона, куда вошли документы огаревского архива, но в первую очередь — начало издания в 1915 г. Полного собрания сочинений и писем Герцена под ред. М. К. Лемке), привел к существенному пересмотру предшествующих взглядов на его духовную эволюцию — прежде всего, в обнаружении континуитета его воззрений с 1830-х до 1860-х. На смену упрощенному — во многом вызванному беглым чтением «Былого и дум» и прямолинейным истолкованием «Писем из Франции и Италии» и «С того берега» — пониманию интеллектуальной биографии Герцена, с переломом, приходящимся на 1848–1849 гг. — пришло осознание внутреннего единства многих ключевых тем «юного» и «пожилого» Герцена. Собственно, этим новым пониманием — пока еще только фактическим — Герцена и могла инициироваться первоначальная работа Флоровского над темой, поскольку переводило рассуждение из внешнего плана, реагирования на меняющиеся события, к рассмотрению внутренней логики (ср.: Флоровский, 2007: 490–491).

таким же и тем же, каким оно сложилось во времена юношеских бурь, „молодой дружбы“ и „первой любви“» (Флоровский, 1998: 411). Так, анализируя лирический отрывок «28 января», прочитанный Герценом на дружеском собрании в 1833 г., Флоровский пишет (там же: 384):

Мысль Герцена осталась недосказанной, он не написал предполагаемой второй статьи — о тех «элементах», которые делают возможным развитие России. И вместе с тем, она вполне ясна: Россия должна вдохнуть в себя Европу, должна жить с нею заодно, но, вместе с тем, должна явить свое лицо, свою народность. И это дело будущего, — «материальная революция» Петра должна восполниться духовным обновлением и новое должно начаться время. Так, уже на заре своей жизни Герцен догадывался о том, что много лет спустя, наконец, высказал о России и Европе. Тогда он только договорил то, что носилось в воздухе уже с двадцатых годов.

Герцен предстает у Флоровского именно как романтик — в этом смысле упрек, брошенный Струве в адрес Флоровского, учтенный им в работе над книгой, оказывается в результате встроено в общую систему. Дело в том, что для Флоровского «романтизм» — широкое, типическое мировоззрение, не ограниченное теми конкретно-историческими группами и направлениями, которые так назывались современниками и/или принимали его в качестве само аттестации — примером романтического мировоззрения оказывается, в частности, Шпенглер (см.: там же: 408). В этом понимании «романтизма» Флоровский во многом сходится с П. М. Бицилли — с тем, как последний рассматривает его в «Очерках теории исторической науки» (Бицилли, 2012, см.: Тесля, 2020). Если говорить о непосредственном влиянии Бицилли на Флоровского в этом аспекте нет достаточных фактических оснований¹⁴, то известна реакция Бицилли на ранний вариант концепции Флоровского, а именно на текст его диссертации. Примечательно, что Бицилли в письме к Флоровскому от 17.II.1922 г., отправленного из Скопье, именно проблематику романтизма ставит в центр, отмечая (Галчева, Голубович, 2015: 170–172):

... Вы показали, как можно взорвать изнутри философию истории романтизма, если перерасти романтику, но: «исторически» говоря, Вы, как мне кажется, ошиблись, утверждая, что такой взрыв был произведен, и именно Герценом.

В итоговом отношении применительно к пониманию исторического пути русской философии позиция Флоровского предстает не только глубоко-последовательной, но в своем существе претерпевшей в 1920-е —

¹⁴См. данные об их контактах в 1920–1923 гг.: Галчева, Голубович, 2015: 159–165.

1-й пол. 1930-х гг. сравнительно небольшие изменения. Здесь следует отделить резкость тона и собственно историко-философскую позицию автора. Общеизвестная характеристика «Путей...», принадлежащая Н. А. Бердяеву, что их вернее было бы назвать не «Путями...», а «Беспутьями...» — при всей своей яркости именно по существу оказывается принципиально неверной. В оптике Флоровского, действительно, не только ни одна конкретно-историческая позиция не способна вполне выразить истинное содержание — в истории нет никаких абсолютных систем — но и само движение XIX — начала XX веков оказывается во многом ложным, полным «соблазнов», «уклонений», «тупиков».

И вместе с тем — история именно русской философии XIX — начала XX века (здесь мы сознательно ограничиваем предмет рассмотрения, оставляя за рамками богословие) предстает не только как закономерное, логичное движение — но и как опыт понимания и проживания. Осуждение и критика далеко не равны в глазах Флоровского, не равным образом обесценивают предмет критики. На резкость и нетерпимость, на дурной нрав, обидчивость, к поздним годам перешедшую едва ли не в манию преследования, на готовность рвать с многолетними знакомыми из-за отзыва, показавшегося недостаточно положительным, сетовали не только современники Флоровского, им лично задетые — отчасти это сохраняет силу и до наших дней, когда «зadetыми» Флоровским оказываются уже современные исследователи, воспринимая так его суждения о персонажах, им близких. Характеризуя свое положение в эмигрантской среде в начале 1950-х, Флоровский писал Чижевскому, в то время — приглашенному профессору Гарвардского университета¹⁵ (Янцен, 2012: 581, письмо от 27.XI.1953):

Для меня «русские органы» давно закрыты: за мою дерзость — занимался «их Герценом», не уважал «религии Толстого», не любил Петра Великого, не восхищался «русскими достижениями», вообще критиковал Бухарева, Тарева, Несмелова, Булгакова, — словом, не повторял шаблонов и не проявил достаточно «патриотизма», и вместо «русской великой традиции» занимался греческими отцами церкви.

Следует отметить, что все сказанное — пусть и не в столь крайней форме — является верным. Действительно, насколько можно судить

¹⁵Это обстоятельство в контексте письма значимо, поскольку одним из основных представителей гарвардской славистики в это время был М. М. Карпович, с 1943 г. со-редактор, а с 1946 — редактор «Нового журнала», ключевая фигура в «Издательстве им. Чехова», то есть в послевоенном контексте — основных «русских органов».

по многочисленным отзывам и по собственным письмам и заметкам Флоровского, для этих суждений были солидные основания — равно как и для того, чтобы за конкретными отзывами Флоровского видеть соображения, во всяком случае отчасти мотивированные личными обидами, пристрастиями и т. д.

Так, С. М. Половинкин (Половинкин, 2004: 52), как и А. В. Соболев (Соболев, 2004: 69–71), склонны были по крайней мере отчасти видеть источник резкого осуждения Флоровским построений Флоренского в личной обиде — пережитое им студентом в 1914 г., он донесет до конца 1920-х, когда отзовется на переиздание «Столпа...» уничтожающей рецензией в бердяевском «Пути», основные положения которой воспроизведет затем в «Путьях...».

Но при этом, как справедливо отмечал А. В. Соболев, здесь расхождение именно идейное — исходящее из принципиально разных представлений о путях православного мышления — и при этом, скорее, наоборот, именно в отвергнутой о. Павлом Флоренском в 1914 г. небольшой рецензии на «Православие по его существу» Н. Н. Глубоковского (Флоровский, 2004b) приходится видеть уже существующим то фундаментальное расхождение, которое Флоровский развернуто сформулирует в 1930-е (Соболев, 2004: 71–73).

Этот, могущий показаться случайным, эпизод вводит нас в существенную особенность мышления Флоровского. На первый — и в этом своем качестве верный — взгляд интеллектуальная биография Флоровского предстает как череда разрывов, скандалов, конфликтов. Здесь легко вспомнить хотя бы разрыв Флоровского с «евразийством», когда он, в отличие от ряда других русских интеллектуалов, в той или иной степени оказавшихся близких евразийскому движению в определенный момент своей биографии, не просто отошел, переоценил, критически пересмотрел свои прежние взгляды, но именно резко и решительно порвал, выступив на страницах «Современных записок» со статей «Евразийский соблазн», что, как объяснял затем, уже в мемуарах 1950-х один из редакторов журнала, М. Вишняк, и стало основой их сотрудничества (Вишняк, 1957: 307)¹⁶.

¹⁶Ф. А. Степуну, человеку очень близкому к редакции журнала, Вишняк писал 23.VI.1928 г.: «Флоровскому у нас место только постольку, поскольку он разрушает то злое дело — евразийство, которое сам же создавал. Вот был смысл — и единственный! — приглашения его в „Современные записки“ по моей инициативе! И вот почему я решительно не могу не могу согласиться с тем, чтобы помещать его этюды о Герцене и Гершензоне» (Флоровский, 2014: 642). Тем не менее все-таки публикация статьи «Искания молодого

Однако здесь же — даже из замечаний более чем скептически настроенных по отношению к Флоровскому авторов (см., напр.: Половинкин, 2004: 23) — легко увидеть, что подвергнутые им критике фигуры — не только фигуры первой величины для того времени, но во многом сохраняют тот же соотносительный вес и значение и в рамках сегодняшнего видения русской интеллектуальной истории. Более того, можно сказать, что то, что в первую очередь, подробно и детально подвергается критике Флоровским — это не только и не столько то, что имело значение в рамках исторических сюжетов, но содержательно-значимое, остающееся или долженствующее остаться, если воспользоваться гегельянским языком, в своем снятом виде в нашем мышлении.

Примечательно, что упрек, бросаемый Бердяевым в адрес Флоровского, и замечание, которое делает Бицилли о Флоровском — совпадают в своем содержании. Бердяев в рецензии на «Пути...», фиксируя узел той части работы, которая относится к истории философии, в понимании и преодолении романтизма, писал (Бердяев, 1937: 54):

Сам о. Г. Флоровский может быть признан романтиком, в нем большая эмоциональность, возбужденность, чувствительность, впечатлительность. Иногда кажется, что в борьбе против романтизма он ведет борьбу против самого себя, это ведь часто бывает.

Отзыв Бердяева радикально ослабляется тем, что понимание «романтизма» сводится им до бытового понимания, едва ли не сугубо — черт характера, эмоционального настроения. Бицилли же, вдумчиво толкуя диссертацию Флоровского, давал отзыв, который — имея в оптике Бицилли весьма положительное значение, в перспективе мысли самого Флоровского приобретал оттенки гораздо менее приятного свойства. А именно, он отмечал: «Вы вложили в Герцена собственное духовное содержание, на что в конце концов имеете полное право...» (Галчева, Голубович, 2015: 170), переходя далее к своему возможному участию в защите (там же: 172–173):

Я, может быть, придерусь к этому и воспользуюсь случаем не для «дискуссии», а для прославления Вашего (NB и моего собствен[ного]) метода интерпретации «тестов» при помощи «перемещения себя внутрь» их автора,

Герцена» на страницах «Современных записок» состоялась, но дальнейшие отношения с журналом прервались вплоть до 1935 г.

и поговорю о том, насколько это правильно и удобно не только для «философа», но и для «историка». Ведь в сущности вся моя книга¹⁷ посвящена именно проблеме возможности — или невозможности *Sich in den Geist der Zeiten zu versetzen*¹⁸ и доказательству того, что романтизм это и есть историзм, *historischer Sinn*¹⁹, и что формально имеет только одно историческое мышление, т[о] е[сть] «романтическое».

Болезненность этого замечания — тем более, что исходящего от автора, к нему расположенного — легко понять, если учесть, что именно «радикальный историзм» мыслился Флоровским как преодоление «романтизма», равно как программный характер для него имела трактовка «истории русской культуры», всей «в переboях, в приступах, в отречениях или увлечениях, в разочарованиях, изменах, разрывах» (Флоровский, 1988: 500) как «соблазна», который «рождается уже *внутри культуры*», не от «недостатка культуры», не в романтической трактовке, противопоставляющей «природу» и «культуры» — и видящей либо в этих разрывах и приступах — прорывание природного, неоформленного, дающего возможность на надежду, как у того же Герцена, либо как следствие именно недооформленности, «аффект бытия», «древний хаос», которому еще предстоит обратиться в «космос» (там же: 501). Флоровский, как и Бицилли, отчетливо — пожалуй, Бицилли даже более резко, утверждают: «народный дух создается и становится в истории» (там же; ср.: Бицилли, 1996: 157). Но там, где для Флоровского это предстает как преодоление «романтизма» — более того, как невозможное без трансцендентного, где движение возможно в логике Достоевского — там для Бицилли все сказанное предстает именно в самой романтической логике, как признание антиномичности (и способ их разрешения в кантовском/кантианском духе, в разных планах, а не в гегельянском снятии). В этом заочном, непроговоренном споре Флоровский мог внезапно обнаружить себя не преодолевающим противоречия романтизма, не выходящим из тупика вслед за Достоевским — а как раз подспудно для самого себя осуществляющим движение, родственное гегельянскому²⁰.

¹⁷Речь идет об «Очерках теории исторической науки», вышедших в 1925 г., над которыми П. М. Бицилли работал в это время, планируя защитить книгу в качестве докторской диссертации.

¹⁸«Переселяться в дух времени» (нем.) — цитата из «Фауста» Гете, слова Вагнера из сцены «Ночь».

¹⁹«Исторический смысл» (нем.)

²⁰Возможно, эта связь была вполне осознанной. По крайней мере «Пути...» открываются фразой: «Эта книга была задумана как опыт исторического синтеза, как опыт по

Пафос диссертации заключался именно в том тезисе, что если европейская мысль движется в рамках ходов, проложенных романтизмом, и в этом смысле тот же Бицилли оказывается целиком прав, и ограниченных им — то русская философия находит способ преодоления. В заключении диссертации (Колеров, 1997) Флоровский писал (Флоровский, 1997: 255–256):

Можно провести параллель между *эволюцией* западноевропейской и [...] русской философской мысли [...] прошлого века. И там, и здесь исходная точка — совокупность романтико-идеалистических идей; и там, и здесь заключительный этап, уже нам современный, — новые идеалистические построения; но между этими тождественными или сходными пределами заключены совершенно несхожие пути, — и именно поэтому столь разнородны и разноценны последние достижения. Европейская философская традиция XIX века потерпела на его середине разрыв, после которого началось «возрождение», «возвращение» к основе — истокам нарушенного пути; и как справедливо заметил еще кн. С. Н. Трубецкой в одной из ранних своих работ, за возвращением к Канту неизбежно должно было последовать возвращение — переход к Фихте, Шеллингу, Гегелю... Иначе говоря, вторая половина европейского развития прошлого века оказалась *только* видоизмененным повторением первой...

Русское философское развитие непосредственно продолжает нить идеалистических умозрений; разрыва, пережитого Западом, оно не переживало, и за те десятилетия, которые потребовалось европейской мысли, чтобы отойти от Канта и Гегеля, снова вернуться к ним, в русской традиции совершился переход от Гегеля и Шеллинга к Достоевскому. Этим сделан действительно дальнейший шаг в ряду поступательных достижений мысли, ведущей из глубин эллинской древности к нашим дням.

В тезисах, вынесенных на защиту, Флоровский утверждал (Флоровский, 2013: 131):

Достоевский пошел дальше Герцена и в своей метафизической поэзии наметил искомый синтез «систематического» и «творческого» моментов бытия — в идее полной разобщенности двух миров, божеского и человеческого, соприкасающихся свободно, т. е. не необходимо, но «случайно» и в тройственности мировых начал: Бог, как Личность, природа и человек

при этом

истории русской мысли (Флоровский, 1988: xv). Напомним, что главным содержанием «Очерков...» Бицилли определена «проблема исторического синтеза» (Бицилли, 2012: 18).

в мировой историко-философской перспективе Достоевского можно назвать пророком того следующего синтетического этапа, которым преодолеваются имманентные апории послекантовского немецкого идеализма.

Тем самым Герцен осмысливается Флоровским как фигура, посредствующая между Гегелем и Достоевским, критик гегельянства, в своем противоположном движении доводящий «романтический иррационалистическо-индивидуалистический замысел [...] до предельных выводов» (Флоровский, 2013: 131). Это суждение оказалось столь странным для А. С. Изгоева, составившего отчет о диспуте, что он заменил Гегеля на Гоголя — как вторую с Достоевским фигуру, между которыми посредствующим оказывался Герцен (см.: Гаврилюк, 2013: 68, 70).

Схема развития русской философии, которую прочерчивает Флоровский в диссертации, в своих основных чертах проста: с момента первоначального философского пробуждения, толчка немецкой идеалистической философии и романтизма, русская мысль переходит к двум основным вариантам, раздваиваясь на две линии, которые в конкретном плане так или иначе пересекаются, поскольку их логическая непримиримость оказывается в конфликте со стремлением к самоосмыслению, которое не только дает последовательность, но и ответы, удовлетворяющие исходным очевидностям и стремлениям, а именно:

- (1) стремление к систематическому видению, логическому провиденциализму, эта линия получит развитие в творчестве Вл. Соловьева (Флоровский, 2013: 131), и
- (2) иррациональное, романтическое представление о «неисчерпаемости переживания» и «неповторимой ценности индивида» (там же: 129). Вторая линия будет представлена Герценом и Леонтьевым (в «Путиях...» к ним добавится Ап. Григорьев — см.: Флоровский, 1988: 307).

Снятие, выход из этого противоречия — в Достоевском. Данный тезис вновь, в гораздо более конкретизированном виде разворачивается им в 1929 г. Уже в кратком письме к Ф. Либу, с которым договорился о публикации своей статьи в редактируемом им журнале, извещая о подготовке рукописи, Флоровский в октябре 1929 г. так излагает ее содержание: «Основная идея статьи такова, что в своей философии истории Герцен был таким же типичным романтиком, как и Леонтьев; Достоевский же прошел через романтизм и полностью преодолел его» (Янцен, 2007: 538). В отправленной адресату в декабре того же года статье Флоровский пишет (Флоровский, 2007: 515):

Из тупиков романтизма выход открывается в творчестве Достоевского. И в известном смысле это был прямой ответ на сомнение Герцена, — и при том не внешний ответ, не ответ со стороны, но ответ внутренний. Достоевский договорил правду Герцена, как ложь Герцена досказал Леонтьев. *Правда Герцена, как и правда всякого романтизма* [выд. нами — А. Т.], — в отрицании и разоблачении исторического хилизма, в преодолении хилиастического оптимизма.

Здесь, впрочем, уже заметно существенное движение акцентов по сравнению с диссертацией — если в 1922–1923 гг. Флоровский подчеркивал различие западного пути и пути русской мысли, то теперь акцент делается на общности пути и на том, что кризис не преодолен (Флоровский, 2007: 524):

В истории русского духа была своя романтическая эпоха, свой романтический искус, — творческое переживание европейского философского романтизма. В этом — содержание русского философского брения XIX-го века, не изжитого, не преодоленного, может быть, и до днесь. Не критический только, но положительный синтез этого брения и дает Достоевский в своей метафизической поэзии. И, думается, этим предначинается новый этап русского философского пути.

«Романтизм», как характеризует его Флоровский — переживание «непостижимости жизни», непосредственно связанное с переживанием уникального, исключительного — единичного и индивидуального. Но тем самым, отмечает Флоровский, происходит логический переход к «вере в судьбу», не в смысле ее принятия — логичности, разумности, а напротив — произвольности, неподвластности и бессмысленности, чистой фактичности. «Природа» и «культура» оказываются объединены в том, что одинаково лишены высшего смысла — у них есть только один критерий, эстетический, который в свою очередь можно попытаться укоренить в «естественном», тем самым лишая смысла, выходящего за пределы имманентного. Именно в этом плане Флоровский указывает не только на родство Герцена с Данилевским, с его натурализацией культуры, или Леонтьевым, но и «позднейшим бергсонианством, с историсофией Шпенглера. Это — не случайное сходство или совпадение — оно коренится в единстве замысла и прозрения, в единой интуиции романтического волонтаризма» (там же: 492, ср.: Флоровский, 1998: 408).

В этом плане схема, предлагаемая Флоровским, предполагает, что «романтизм» лишен универсального — суть романтизма видится им в «парадоксальном сочетании *иррационализма и индивидуализма*» (там же: 409),

в «волонтаризме» (Флоровский, 1998: 409), в протесте против «безличности покоя», которому противопоставляется «безличность страсти» (Флоровский, 2007: 515). Из этого Флоровский выводит внутреннюю необходимость для романтизма переживать данную, конкретную эпоху как «переходную», «как водораздел двух миров» (Флоровский, 1998: 410):

Отсюда именно проистекает романтическая «неагция» — резкий отрыв от существующего, от «действительности» и безраздельное устремление вперед — в творимое будущее. Романтические эпохи так и переживаются, как стояние на перевале, как сумерки и зори, как всемирно-историческое междуцарствие.

Но в этой характеристике сам Флоровский легко мог узнать не только типичное умонастроение «рубежа веков» и «начала века», но во многом и тот пафос, которым проникнута его собственная диссертация. Тщательная работа над книгой о Герцене действительно оборачивается в первую очередь критикой собственных предшествующих построений.

В «Путях...» ключевая характеристика Достоевского сохраняется, лишаясь именно романтического пафоса — в той мере, в какой подвергается критическому разбору блуждания «Накануне», представляющие другими вариантами романтических поисков (того самого повторного пути, пребывания в тупиках, который в 1922–1923 гг. Флоровский отводил лишь Западу), настолько и Достоевский оказывается уже не «преодолевшим», но преодолевающим. Так, характеризуя его «почвенничество», Флоровский пишет (Флоровский, 1988: 299):

Его тревожит беспочвенность на большой глубине. Перед ним стоит пугающий призрак духовного отщепенца, — роковой образ *скитальца*, скорее даже чем *странника*. И снова, — это типическая тема романтической метафизики, столь встревоженной этим распадом органических связей, этим отрывом и отпадением своевольной личности от среды, от традиции, от Бога. И «почвенничество» есть именно возврат к первоначальной цельности, идеал и задание *цельной жизни*. [...] Во всем бытии есть некий *раскол*, в человеческом существовании всего больше. *Человек уединяется*, — в этом главная тревога Достоевского. И в ней по-новому звучат все еще социалистические мотивы, — мечта открыть или создать «органическую» эпоху.

Здесь показательно, как Флоровский сплетает воедино проблематику «романтической метафизики» и раннего социализма, отсылая в самом понятии «„органических“ эпох» к Сен-Симону с его противопоставлением эпох критических и органических — как анализ французских

и немецких идей, образующих ситуацию интеллектуального и духовного становления Герцена, оказывается в итоге выразимом в общем понятии «романтизма» (отсылающем, как и в анализе Флоровским формирования Достоевского, не столько к Сен-Симону, сколько к 1830-м годам, процессу сен-симонистов, фурьеристам, Жорж Санд и Пьеру Леру и т. д. — Флоровский, 1988: 298; Флоровский, 1998: 370–374)²¹.

Но если к ключевым понятиям «романтизма» принадлежит «страсть», полнота переживания, то «очень скоро Достоевский понял, что одной *цельности переживаний* еще очень недостаточно. И нужно вернуться не столько к цельности чувств, но именно к *вере*... Именно об этом и написаны главные романы Достоевского...» (Флоровский, 1988: 298). «Цельность переживаний», как в «страсти», так в «органическом братстве», организованном, «пусть изнутри, каким-нибудь „хоровым началом“», равно не являются ответами — точнее, не являются теми, которые могут быть приняты. Если конечность, обреченность индивидуального переживания очевидна — из чего и проистекает попытка найти спасение в «общем», то и это «общее» оказывается угрожающим «муравейником». Еще в 1929 г. Флоровский отметит — обозначая это как ответ Достоевского Герцену: «Протест против необходимости и принуждения не обосновывает и не укореняет свободы. Нужно искать более глубокого и положительного устоя. Это значит, что эстетическая позиция не исчерпывает тайны жизни» (Флоровский, 2007: 517).

Теперь Достоевский — не тот, кто «преододел» «тупики романтизма», но вполне их осознал: «То правда, что органического соблазна Достоевский до конца так и не преодолел. Он остается утопистом, продолжает верить в историческое разрешение жизненных противоречий. Он надеется и пророчит, что „государство“ обратится в Церковь, — в этом Достоевский оставался мечтателем. Но эта мечта отставала от его новых подлинных прозрений и разногласила с ними. „Гармонии“ Достоевский требовал. Но уже провидел иное» (Флоровский, 1988: 300).

В результате «Пути...» предстают в своей историко-философской — как, впрочем, и во всех других частях — именно повествованием о «путях» (в противоположность, например, названию журнала Бердяева, где

²¹Характеризуя этот круг идей, Флоровский отмечает «прежде всего — бесплодие и опасность свободы и равенства без братства. Это и была ведь основная теза всего „утопического“ социализма, которую люди тогдашнего „по-революционного“ поколения полемически противопоставляли якобинству революции, всяким „женевским идеям“ вообще. И это не был только социальный диагноз, это был диагноз морально-метафизический [выд. нами — А. Т.]» (Флоровский, 1988: 298).

слово стоит в единственном числе). Пути русской мысли оказываются далеки от любого соблазна оптимизма — как о том, что есть некий единый «путь», так и от утешительного взгляда о многообразии путей к истине или о том, что в каждом из путей есть «своя правда». Но, парадоксальным образом, Бицилли мог бы увидеть в этой книге подтверждение суждения из своего письма автору 1922 г.²² — решительно развернутого в «Очерках...», что выход из антиномий романтического историзма заключается в отчетливом разграничении двух вопросов, суждения о том, что представляется верным тебе, и вопроса о прошлом, которое обладает собственным смыслом, постигаемом эстетически. В «Путях...» одним из самых ценных моментов оказывается обнаруживаемое единство времени — умение видеть созвучие там, где внешние позиции предстают как принципиально разделенные. Если обнаружить общность Герцена, Данилевского и Леонтьева не так сложно, тем более, что сам Леонтьев во многом отсылал и обращался к Герцену, то намного плодотворнее видение единства времени — как, например, утопических 70-х, когда частью общего утопического движения оказывается и Вл. Соловьев (Флоровский, 1988: 321) — или увидеть в Победоносцеве своеобразное «народничество» (там же: 410–411). В конечном счете Флоровский действительно оказывается прекрасным историком — та история, которую он изначально хотел рассказать, от философского пробуждения к разрешению проблем европейского философского движения, оказывается качественно измененной, исходный набросок обрастает все новыми деталями и уточнениями, сохраняя исходную проблему — романтического движения и его внутренней логики. В этом плане история о русской философии, которую рассказывает Флоровский в «Путях...», остается историей об обнаружении и выходе за пределы «тупиков романтизма» (там же: 307) или возвращении вновь к «романтическому трагизму западной культуры» (там же: 497).

Тот критический пафос, который царит в «Путях...» — совмещение двух основных тезисов Флоровского, а именно (1) невозможности «исторического разрешения жизненных противоречий» и (2) осмысленности, человеческого существования именно в истории, в культуре. В истории не обрести «гармонии», попытка найти выход за пределами истории — как раз один из тупиков романтизма.

²²Из письма Флоровского Ю. П. Иваску от 28 мая 1963 г. известно, что Бицилли написал рецензию на «Пути...» для «Русских записок», однако «Милоков отклонил» ее (Флоровский, 2014: 649, прим. 25).

В дальнейшем, как хорошо известно, оценки Флоровского истории русской философии скорее прогрессировали в своей критичности. Так, в феврале 1952 г. Флоровский писал Д. И. Чижевскому (Янцен, 2012: 558):

Воспоминания Степуна нагоняют грусть и отчаяние (начала не читал). Пробую читать переписку Блока и Белого (в Летописи, с предисловием Орлова) и — как-то не идет. Пересматриваю «Весы» с 1904 года: душно, кошмарно и беспредметно. Плохо я верю в «героизм русской литературы», даже если его и не понимать по Венгерову. Мало нахожу пищи для «народной гордости» и даже для «любви к отечеству». Впрочем, оных никогда не имел. Я, по-видимому, окончательно оглох к «России», и теперь бы уже не смог написать даже «Путей Русского Богословия». Теперь для меня «звучат» только патристические голоса, хотя и не так, как Вагнер звучал для Шпета (и не по тем же причинам).

Герценом Флоровский продолжал заниматься и много позднее — так, например, в письме к Д. И. Чижевскому от 27.XI.1953 г. он отмечал: «Только что приобрел новый том Литературного наследства о Герцене и Огареве²³, но еще не просмотрел внимательно. Значительная часть материалов — из Пражского собрания» (там же: 580). Впрочем, насколько можно судить сейчас, до тех пор, пока остаются не введенными в научный оборот результаты работы Флоровского над новыми изданиями «Путей» (неоднократно обсуждалась возможность немецкого издания, готовился английский перевод, исправленный и дополненный), принципиальных изменений его взгляд не претерпел на историю русской философской мысли XIX века — как на спор и попытки преодолеть романтизм. Другое дело что с годами представление самого автора о важности этих попыток все более умаялось — в той большой исторической перспективе, к которой он стремился, это оказывалось эпизодом, утрачивающим свою романтическую значимость, конца одного и начала новой эпохи.

ЛИТЕРАТУРА

Gavrilyuk P. L. Georges Florovsky and the Russian Religious Renaissance. — Oxford : Oxford University Press, 2013. — DOI: 10.1093/acprof:oso/9780198701583.001.0001.

²³Имеется в виду: Литературное наследство. Т. 61: Герцен и Огарев. I. — М.: Изд-во АН СССР, 1953.

- Бердяев Н. А.* Ортодоксия и человечность : прот. Георгий Флоровский. Пути русского богословия // *Путь*. — 1937. — № 53. — С. 53–65.
- Бицилли П. М.* Избранные труды по филологии / под ред. В. Н. Ярцевой. — М. : Наследие, 1996.
- Бицилли П. М.* Очерки теории исторической науки / под ред. Б. С. Кагановича. — СПб. : Аxiома, 2012.
- Блейн Э.* Жизнеописание о. Георгия // *Георгий Флоровский : священнослужитель, богослов, философ* / под ред. Ю. П. Сенокосова. — М. : Прогресс-Культура, 1995. — С. 17–240.
- Вишняк М. В.* «Современные записки» : воспоминания редактора. — Bloomington : Indiana University Press, 1957.
- Гаврилюк П. Л.* Авторский текст диссертации прот. Георгия Флоровского «Историческая философия Герцена» : новый архивный материал и реконструкция композиции // *Вестник ПСТГУ : Серия II: История. История Русской Православной Церкви*. — 2013. — Т. 50, № 1. — С. 63–81.
- Гаврилюк П. Л.* Георгий Флоровский и религиозно-философский ренессанс. — Киев : Дух і літера, 2017.
- Галчева Т. Н., Голубович И. В.* «Понемногу приспосаблиюсь к „независящим обстоятельствам“» : П. М. Бицилли и семья Флоровских в первые годы эмиграции. — София : Солнце, 2015.
- Досталь Ю. М.* Письма русских ученых-эмигрантов Н. П. Кондакова и Г. В. Флоровского Иржи Поливке // *Славяноведение*. — 1999. — № 4. — С. 90–101.
- Житомирская С. В.* Судьба архива Герцена и Огарева // *Герцен и Запад* / под ред. С. А. Макашина, В. Р. Щербиной, Г. П. Бердникова. — М. : АН СССР, Институт мировой литературы им. А. М. Горького, 1985. — С. 549–642. — (Литературное наследство ; 96).
- Козырев А. П.* Две модели историософии в русской мысли (А. И. Герцен и Г. В. Флоровский versus софиология) // *История мысли : историография* / под ред. И. П. Смирнова. — М. : Вузовская книга, 2002. — С. 131–142.
- Колеров М. А.* Утраченная диссертация Флоровского // *Исследования по истории русской мысли : ежегодник за 1997 год* / под ред. М. А. Колерова. — СПб. : Алетейя, 1997. — С. 245–248.
- Мейендорф И. Ф.* «Пути русского богословия» о. Г. Флоровского // *Вестник РХД*. — 1980. — № 132. — С. 42–46.
- Повилайтис В. И.* Что есть история? : версии русского зарубежья. — Калининград : Изд-во РГУ им. И. Канта, 2009.
- Половинкин С. М.* «Инвектива скорее, чем критика» : Флоровский и Флоренский // *Исследования по истории русской мысли : ежегодник за 2003 год* / под ред. М. А. Колерова. — М. : Модест Колеров, 2004. — С. 19–50.
- Соболев А. В.* Радикальный историзм отца Георгия Флоровского // *Исследования по истории русской мысли : ежегодник за 2003 год* / под ред. М. А. Колерова. — М. : Модест Колеров, 2004. — С. 69–76.

- Тесля А. А. История как критика : об «Опыте теории исторической науки» П. М. Бицилли // Сборник материалов международной научной конференции «Гуманитарная наука русского зарубежья: к 140-летию со дня рождения П. М. Бицилли». — М. : ИМЛИ РАН, 2020. — готовится к печати.
- Флоровский Г. В. Пути русского богословия / под ред. И. Мейендорфа. — Paris : YMCA-Press, 1988.
- Флоровский Г. В. Герцен в сороковые годы // Вопросы философии. — 1995. — № 4. — С. 79–97.
- Флоровский Г. В. Историческая философия Герцена : заключение // Исследования по истории русской мысли : ежегодник за 1997 год / под ред. М. А. Колерова. — СПб. : Алетейя, 1997. — С. 249–257.
- Флоровский Г. В. Из прошлого русской мысли / под ред. М. А. Колерова, Ю. П. Сенокосова. — М. : Аграф, 1998.
- Флоровский Г. В. Письма Г. В. Флоровского к П. А. Флоренскому (1911–1914) // Исследования по истории русской мысли : ежегодник за 2003 год / под ред. С. М. Половинкина. — М. : Модест Колеров, 2004а. — С. 51–68.
- Флоровский Г. В. Проф. Н. Н. Глубоковский : Православие по его существу. СПб., 1914 // Исследования по истории русской мысли : ежегодник за 2003 год / под ред. А. В. Соболева. — М. : Модест Колеров, 2004б. — С. 77–85.
- Флоровский Г. В. Христианство и цивилизация : избранные труды по богословию и философии / под ред. И. И. Евлампиева. — СПб. : РХГА, 2005.
- Флоровский Г. В. Тупики романтизма (Заключительная глава из книги «Духовный путь Герцена») (1929) // Исследования по истории русской мысли : Ежегодник за 2004–2005 год / под ред. М. А. Колерова, Н. В. Плотникова. — М. : Модест Колеров, 2007. — С. 477–511.
- Флоровский Г. В. Двенадцать тезисов диссертации протоиерея Георгия Флоровского «Историческая философия Герцена» // Вестник ПСТГУ : Серия II: История. История Русской Православной Церкви / под ред. М. Бейкера, П. Гаврилюка. — 2013. — Т. 52, № 3. — С. 126–132.
- Флоровский Г. В. «Я бы охотно написал об этом, только не испугаетесь ли Вы?» : Г. В. Флоровский // «Современные записки» (Париж, 1920–1940) : из архива редакции / под ред. В. В. Янцена. — М. : Новое литературное обозрение, 2014. — С. 639–686.
- Черняев А. В. Флоровский как философ и историк русской мысли. — М. : ИФ РАН, 2010.
- Черняев А. В. Наследие А. И. Герцена в духовной эволюции Г. В. Флоровского // Вестник Московского университета : Серия 7: Философия. — 2013. — № 1. — С. 3–11.
- Янцен В. Материалы Г. В. Флоровского в базельском архиве Ф. Либя // Исследования по истории русской мысли : Ежегодник за 2004–2005 год / под ред. М. А. Колерова, Н. В. Плотникова. — М. : Модест Колеров, 2007. — С. 462–586.

Янцен В. Другая философия : переписка Д. И. Чижевского и Г. В. Флоровского (1926–1932, 1948–1972) как источник по истории русской мысли // Исследования по истории русской мысли : ежегодник за 2008–2009 год. Т. 9 / под ред. М. А. Колерова, Н. С. Плотнокова. — М. : Регнум, 2012. — С. 464–904.

Teslya, A. A. 2020. "A. I. Gertsen v istolkovaniyakh G. V. Florovskogo i kontseptsiya istorii russkoy filosofii v 'Putyakh russkogo bogosloviya' [A. I. Herzen in the G. V. Florovsky Interpretations and the Concept of the History of Russian Philosophy in 'The Ways Of Russian Theology']" [in Russian]. *Filosofiya. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki [Philosophy. Journal of the Higher School of Economics]* IV (2), 282–307.

ANDREY TESLYA

PHD IN PHILOSOPHY, SENIOR RESEARCH FELLOW, SCIENTIFIC DIRECTOR RESEARCH CENTER
FOR RUSSIAN THOUGHT, INSTITUTE FOR HUMANITIES,
IMMANUEL KANT BALTIC FEDERAL UNIVERSITY, KALININGRAD

A. I. HERZEN IN THE G. V. FLOROVSKY INTERPRETATIONS AND THE CONCEPT OF THE HISTORY OF RUSSIAN PHILOSOPHY IN "THE WAYS OF RUSSIAN THEOLOGY"

Submitted: June 09, 2020. Accepted: June 15, 2020.

Abstract: A. I. Herzen (1812–1870) was dedicated to two major works by the outstanding historian of Russian thought and theologian G. V. Florovsky (1893–1979): his thesis, defended in Prague in 1923, and prepared for 1928 on its basis, having undergone significant revision and addition, the book. At first glance, Herzen's choice as a subject of special investigation looks like a random intellectual biography of Florovsky. However, whatever determines the original choice of subject matter — the circumstances of the place and time available in the conditions of emigration by literature, etc. It has become an instrument of reflection on the central problems of the history of Russian philosophy, and the concept, built within the framework of the dissertation and substantially refined and developed in the book, became the "working scaffold" of "The Way of Russian Theology", Florovsky's main book, written in 1930–1936. In this article, we seek to show that the history of Russian philosophy is understood by Florovsky in the 1920s, and partly in the 1930s, as the first assimilation of romantic philosophy, and then the discovery of dead ends in the latter. Romanticism is understood by Florovsky as a protest against "logical providentialism", a chiliasm view that seeks to interpret history as a logical deployment of the original meaning. Correspondingly, romanticism manifests itself, including the framework of individual intellectual biography, as an "individualistic" revolt, defending personal meaning and meaning, and, by the latter's irrational (passionate) foundations, in the assertion of "irrationalism", which turns out to be compatible with "naturalism", comprehending history as a "natural process", a way of removing the opposite of "nature" and "culture" within the framework of the romantic preference of the former. The transition here is the notion of "fate", understood as "rock" (as interpreted in the 19th century). Herzen is understood by Florovsky as a key figure in this intellectual movement, which goes all the way to the end, thanks to his intellectual honesty and fearlessness before inconvenient conclusions. In this way, he reveals the "deadlocks of romanticism", one solution

to which K. N. Leontiev seems to be making a decisive choice in favor of “aestheticism” (and, consequently, the meaninglessness and unjustifiability of history from the point of view of faith), while F. M. Dostoevsky either, in the early versions of Florovsky’s interpretation, goes beyond the “deadlocks of romanticism” or, in the later versions, finds a way to overcome them.

Keywords: Historicism, Historiography of Russian Philosophy, Russian Emigration, Romanticism, P. M. Bicilli.

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-2-282-307.

REFERENCES

- Berdyayev, N. A. 1937. “Ortodoksiya i chelovechnost’ [Orthodoxy and Humanity]: prot. Georgiy Florovskiy. Puti russkogo bogosloviya [Archpriest George Florovsky. Paths of Russian Theology]” [in Russian]. *Put’ [The Way]*, no. 53: 53–65.
- Bitsilli, P. M. 1996. *Izbrannyye trudy po filologii [Selected Works in Philology]* [in Russian]. Ed. by V. N. Yartseva. Moskva [Moscow]: Naslediye.
- . 2012. *Ocherki teorii istoricheskoy nauki [Essays on the Theory of Historical Science]* [in Russian]. Ed. by B. S. Kaganovich. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Axioma.
- Bleyn, E. 1995. “Zhizneopisaniye o. Georgiya [Biography of Father George]” [in Russian]. In *Georgiy Florovskiy [George Florovsky] : svyashchennosluzhitel’, bogoslov, filosof [Cleric, Theologian, Philosopher]*, ed. by Yu. P. Senokosov, 17–240. Moskva [Moscow]: Progress-Kul’tura.
- Chernyayev, A. V. 2010. *Florovskiy kak filosof i istorik russkoy mysli [Florovsky as a Philosopher and Historian of Russian Thought]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: IF RAN.
- . 2013. “Naslediye A. I. Gertsena v dukhovnoy evolyutsii G. V. Florovskogo [Legacy of A. E. Herzen in Spiritual Evolution G. V. Florovsky]” [in Russian]. *Vestnik Moskovskogo universiteta [Bulletin of MSU]: Seriya 7: Filosofiya [Series 7: Philosophy]*, no. 1: 3–11.
- Dostal’, Yu. M. 1999. “Pis’ma russkikh uchenykh-emigrantov N. P. Kondakova i G. V. Florovskogo Irzhi Polivke [Letters of Russian Scientists-Emigrants N. P. Kondakov and G. V. Florovsky to Irzhi Polivka]” [in Russian]. *Slavyanovedeniye [Slavic Studies]*, no. 4: 90–101.
- Florovskiy, G. V. 1988. *Puti russkogo bogosloviya [Ways of Russian Theology]* [in Russian]. Ed. by I. Meyyendorf. Paris: YMCA-Press.
- . 1995. “Gertsen v sorokovyye gody [Herzen in the 1840s]” [in Russian]. *Voprosy filosofii [Question of Philosophy]*, no. 4: 79–97.
- . 1997. “Istoricheskaya filosofiya Gertsena [Historical Philosophy of Herzen]: zaklyucheniye [Conclusion]” [in Russian]. In Kolerov 1997a, 249–257.
- . 1998. *Iz proshlogo russkoy mysli [From the Past of Russian Thought]* [in Russian]. Ed. by M. A. Kolerov and Yu. P. Senokosov. Moskva [Moscow]: Agraf.
- . 2004a. “Pis’ma G. V. Florovskogo k P. A. Florenskom (1911–1914) [Letters G. V. Florovsky to P. A. Florence (1911–1914)]” [in Russian]. In Kolerov 2004, 51–68.
- . 2004b. “Prof. N. N. Glubokovskiy [Prof. N. N. Glubokovsky]: Pravoslaviye po yego sushchestvu. SPb., 1914 [Orthodoxy in Its Essence. St. Petersburg, 1914]” [in Russian]. In Kolerov 2004, 77–85.
- . 2005. *Khristianstvo i tsivilizatsiya [Christianity and Civilization]: izbrannyye trudy po bogosloviyu i filosofii [Selected Works in Theology and Philosophy]* [in Russian]. Ed. by I. I. Yevlampiyev. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: RKhGA.
- . 2007. “Tupiki romantizma (Zaklyuchitel’naya glava iz knigi ‘Dukhovnyy put’ Gertsena’) (1929) [Dead Ends of Romanticism (Final Chapter from ‘Herzen’s Spiritual Way’) (1929)]” [in Russian]. In Kolerov and Plotnikov 2007, 477–511.

- . 2013. “Dvenadtsat’ tezisev dissertatsii protoiyereya Georgiya Florovskogo ‘Istoricheskaya filosofiya Gertsena’ [Twelve Theses of Archpriest George Florovsky’s Dissertation ‘Historical Philosophy of Herzen’]” [in Russian], ed. by M. Beyker and P. Gavrilkyuk. *Vestnik PSTGU [Bulletin of Saint Tikhon’s Orthodox University of Humanities]: Seriya II: Istoriya. Istoriya Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi [Series II: History. History of the Russian Orthodox Church]* 52 (3): 126–132.
- . 2014. “‘Ya by okhotno napisal ob etom, tol’ko ne ispushayetes’ li Vy?’ [I’d Love to Write About It, But Wouldn’t You Be Scared?]: G. V. Florovskiy [G. V. Florovsky]” [in Russian]. In *“Sovremennyye zapiski” (Parizh, 1920–1940) [“Contemporary Notes” (Paris, 1920–1940)] : iz arkhiva redaktsii [From the Editorial Archive]*, ed. by V. V. Yantsen, 639–686. Moskva [Moscow]: Novoye literaturnoye obozreniye.
- Galcheva, T. N., and I. V. Golubovich. 2015. “*Ponemnogu prispособlyayus’ k ‘nezavisya-shchim obstoyatel’stvam’*” [“Little by Little, I’m Adjusting to the ‘Independent Circumstances’”]: P. M. Bitsilli i sem’ya Florovskikh v pervyye gody emigratsii [P. M. Bitsilli and the Florovsky Family in the Early Years of Emigration] [in Russian]. Sofiya: Solntse.
- Gavrilyuk, P. L. 2013. “Avtorskiy tekst dissertatsii prot. Georgiya Florovskogo ‘Istoricheskaya filosofiya Gertsena’ [Author’s Dissertation Text of Archpriest George Florovsky ‘Historical Philosophy of Herzen’]: novyy arkhivnyy material i rekonstruktsiya kompozitsii [New Archive Material and Reconstruction of the Composition]” [in Russian]. *Vestnik PSTGU [Bulletin of Saint Tikhon’s Orthodox University of Humanities]: Seriya II: Istoriya. Istoriya Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi [Series II: History. History of the Russian Orthodox Church]* 50 (1): 63–81.
- Gavrilyuk, P. L. 2013. *Georges Florovsky and the Russian Religious Renaissance* [in Russian]. Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780198701583.001.0001.
- Gavrilyuk, P. L. 2017. *Georgiy Florovskiy i religiozno-filosofskiy renessans [George Florovsky and Religious-Philosophical Renaissance]* [in Russian]. Kiyev [Kiev]: Dukh i litera.
- Kolerov, M. A. 1997b. “Utrachennaya dissertatsiya Florovskogo [Lost Florovsky’s Thesis]” [in Russian]. In Kolerov 1997a, 245–248.
- Kozyrev, A. P. 2002. “Dve modeli istoriosofii v russkoy mysli (A. I. Gertsen i G. V. Florovskiy versus sofologiya) [Two Models of Historiosophy in Russian Thought (A. I. Herzen and G. V. Florovsky versus Sophology)]” [in Russian]. In *Istoriya mysli [History of Thought] : istoriografiya [Historiography]*, ed. by I. P. Smirnov, 131–142. Moskva [Moscow]: Vuzovskaya kniga.
- Meyendorff, I. F. 1980. “‘Puti russkogo bogosloviya’ o. G. Florovskogo [‘Pathways of Russian Theology’ of Father G. Florovsky]” [in Russian]. *Vestnik RKhD [RCD Bulletin]*, no. 132: 42–46.
- Polovinkin, S. M. 2004. “‘Invektiva skoreye, chem kritika’ [The Invective Is More Likely Than a Criticism]: Florovskiy i Florenskiy [Florovsky and Florenskiy]” [in Russian]. In Kolerov 2004, 19–50.
- Povilaytis, V. I. 2009. *Chto yest’ istoriya? [What Is the History?]: versii russkogo zarubezh’ya [Russian Overseas Versions]* [in Russian]. Kaliningrad: Izd-vo RGU im. I. Kanta.
- Sobolev, A. V. 2004. “Radikal’nyy istorizm otsa Georgiya Florovskogo [Radical Historism of Father George Florovsky]” [in Russian]. In Kolerov 2004, 69–76.
- Teslya, A. A. 2020. “Istoriya kak kritika [History as Criticism]: ob ‘Opyte teorii istoricheskoy nauki’ P. M. Bitsilli [About ‘Experience of the Theory of Historical Science’ P. M. Bitsilli]” [in Russian]. In *Sbornnik materialov mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii “Gumanitarnaya nauka russkogo zarubezh’ya: k 140-letiyu so dnya rozhdeniya P. M. Bitsilli” [Collection of Materials of the International Scientific Conference “Humanities of*

- Russian Abroad: To the 140th Anniversary of P. M. Bitzilli*]. Unpublished. Moskva [Moscow]: IMLI RAN.
- Vishnyak, M. V. 1957. "Sovremennyye zapiski" ["Contemporary Notes"]: vospominaniya redaktora [Editor's Memoirs] [in Russian]. Bloomington: Indiana University Press.
- Yantsen, V. 2007. "Materialy G. V. Florovskogo v bazel'skom arkhive F. Liba [Materials of G. V. Florovsky in F. Liba's Basel Archive]" [in Russian]. In Kolerov and Plotnikov 2007, 462–586.
- . 2012. "Drugaya filosofiya [Another Philosophy]: perepiska D. I. Chizhevskogo i G. V. Florovskogo (1926–1932, 1948–1972) kak istochnik po istorii russkoy mysli [Correspondence Between D. I. Chizhevsky and G. V. Florovsky (1926–1932, 1948–1972) as a Source on the History of Russian Thought]" [in Russian]. In *Issledovaniya po istorii russkoy mysli [Studies on History of Russian Thought] : yezhegodnik za 2008–2009 god [2008–2009 Yearbook]*, ed. by M. A. Kolerov and N. S. Plotnikov, 9:464–904. Moskva [Moscow]: Regnum.
- Zhitomirskaya, S. V. 1985. "Sud'ba arkhiva Gertsena i Ogareva [The Fate of Herzen and Ogarev Archives]" [in Russian]. In *Gertsen i Zapad [Herzen and East]*, ed. by S. A. Makashin, V. R. Shcherbina, and G. P. Berdnikov, 549–642. Literaturnoye nasledstvo [Literary Heritage] 96. Moskva [Moscow]: AN SSSR / Institut mirovoy literatury im. A. M. Gor'kogo.

ТАТЬЯНА РЕЗВЫХ, ГЕННАДИЙ АЛЯЕВ*

ЛЮДВИГ БИНСВАНГЕР: МЕЖДУ МЕТАФИЗИКОЙ С. Л. ФРАНКА И АНАЛИТИКОЙ ПРИСУТСТВИЯ М. ХАЙДЕГГЕРА**

Получено: 10.04.2020. Принято: 18.04.2020.

Аннотация: Статья посвящена анализу онтологии и гносеологии основоположника да-зайн-анализа Л. Бинсвангера в контексте двух важнейших концепций, повлиявших на нее. Речь идет о понимании бытия человека как разомкнутости М. Хайдеггером, с одной стороны, и философии диалога с ее ориентацией на рассмотрение в качестве подлинного бытия не самозамкнутого, уединенного Я, а трансцендентно-имманентного бытия Мы, к которой относится и онтология Франка. Анализируется трансформация Бинсвангером хайдеггеровской установки на присутствие как «всегда мое» в сторону признания в качестве основного антропологического феномена дуального бытия Мы или любви. Применительно к Франку, сравнительный анализ опирается как на многократные признания Бинсвангера о его солидарности с Франком, сделанные им в воспоминаниях, переписке и труде «Основные формы и познание человеческого присутствия», так и на содержательные отсылки в тексте этой книги. Исследуются общие позиции онтологии Бинсвангера и С. Л. Франка, вытекающие из установки на «онтологизм», считающий условием возможности понятийного знания непосредственное знание абсолютного бытия, основанное на причастности субъекта этому бытию. Анализируется специфика онтологизма Бинсвангера, выраженного в раскрытии бытия Мы или любви как совпадении бытия и познания. В статье анализируются мотивы любви как абсолютного бытия, мистические образы и понятия, используемые Бинсвангером. Эти образы и понятия напрямую заимствованы им из неоплатонизма, немецкой мистики, а также работ Франка. В статье также прослеживаются параллели между теориями познания Бинсвангера и Франка. Речь идет о двух уровнях познания — предметном познании и познании присутствия как его металогической основы. Выводы статьи посвящены анализу антиномий в концепции Бинсвангера. В ней, с одной стороны, присутствуют тенденции к сближению бытия Мы с Абсолютным бытием, познания присутствия как любви с мистическим познанием Абсолютного, с другой стороны — представлена попытка мыслить бытие Мы как исключительно человеческое бытие.

*Резвых Татьяна Николаевна, к. филос. н., доцент, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (ПСТГУ, Москва), hamster-70@mail.ru; Аляев Геннадий Евгеньевич, д. филос. н., профессор, Национальный технический университет «Днепропетровская политехника» (Днепр, Украина), gealyaev@gmail.com.

**© Резвых, Т. Н.; Аляев, Г. Е. © Философия. Журнал Высшей школы экономики. Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-011-00918А «Философский диалог России и Европы в эпистолярном наследии С. Л. Франка и Л. Бинсвангера: исследование, перевод, публикация» (организация финансирования — ПСТГУ).

Ключевые слова: онтологизм, Абсолютное, присутствие, разомкнутость, трансцендирование, дуальный модус, любовь, диалог, мистика.

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-2-308-325.

Русская философия формировалась, развивалась и действовала под столь сильным влиянием немецкой, что можно говорить о русской «зачарованности» немецкой мыслью (Булгаков, 1917; Ахутин, 1990). С конца XVIII в. в России последовательно увлекались мистикой Я. Беме, монадологией Г. В. Ф. Лейбница, критицизмом Канта, философией веры Ф. Г. Якоби. В конце XIX в. эти учения уступили свою популярность в России сначала марксизму и неокантианству, а затем эмпириокритицизму и феноменологии. Факты же обратного влияния практически отсутствуют. Тем не менее, изучение источников показывает, что в революционное время, когда русские мыслители оказались в эмиграции, такое влияние все же имело место. Так, исследователям давно известен факт 16-летней переписки основоположника дазайн-анализа в психиатрии, психолога и философа Л. Бинсвангера и русского философа С. Л. Франка. Материалы этой переписки (хранящиеся в архиве Тюбингенского университета) опубликованы и исследованы лишь частично (Франк, Вальшина и Ферстер, 1992; Плотников, 1995; Франк, Григорьев, 2001; Briefwechsel zwischen Frank und Binswanger 1934–1938, 2013; Briefwechsel zwischen Frank und Binswanger 1938–1941, 2014; Briefwechsel zwischen Frank und Binswanger 1941–1945, 2014; Briefwechsel zwischen Frank und Binswanger 1945–1950, 2015; Цыганков, Оболевич, 2018a,b; Резвых, Аляев, 2020), хотя их использовал уже Ф. Буббайер (Буббайер, 2001), а впервые процитировал сам Бинсвангер в своих воспоминаниях о Франке (Бинсвангер, 1954). В этих мемуарах Бинсвангер назвал русского друга и корреспондента одним из учителей в философии (там же: 27), и эти слова не были лишь данью дружбе, а отражали факт прямого воздействия онтологии и гносеологии Франка на формирование философской концепции Бинсвангера.

Знакомство двух мыслителей в 1934 г. совпало со временем, когда Бинсвангер задумал переиздание своей книги «Введение в проблемы общей психологии» (1922) и приступил к ее переделке; работа затянулась и лишь в 1942 г. вышел большой труд «Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins» («Основные формы и познание человеческого присутствия»). Книга написана под прямым влиянием книг «Бытие

и время» (1927) Мартина Хайдеггера¹ и «Индивидуум в роли ближнего» (1928) Карла Лёвита, работ П. Хеберлина, Т. Херинга, М. Бубера и его круга. Но в тексте «Основных форм» Бинсвангер также ссылается на целый ряд немецкоязычных статей Франка («Русское мировоззрение» (1926), «Познание и бытие» (1928), «О метафизике души» (1929), «Абсолютное» (1934)), французский перевод «Предмета знания» (1937), книгу «Непостижимое» (немецкую рукопись Бинсвангер получил от автора в 1938 г.).

Бинсвангер вспоминал, что еще в самом начале знакомства Франк прислал ему свою статью «,Ich‘ und ,Wir‘. Zur Analyse der Gemeinschaft» («„Я“ и „Мы“. К анализу соборности»), упавшую, по словам последнего, «на благодатную почву». Бинсвангер прочел там «... любимейшие мысли о единстве „Я“ и „Ты“ в любящем „Мы“, о глубокой разнице между „Я и Ты“ и „Я и Оно“ и многое другое. Но это была всего лишь одна сторона нашего согласия. Другой стороной, притом совершенно неотделимой от первой, была характерная для русского философского мышления вообще, для С. Л. Франка же в особенности, „склонность к онтологизму“ и, таким образом, к „металогическому обоснованию“ проблемы познания [...] Под онтологизмом русская философия — еще задолго до метафизики познания Николая Гартмана и фундаментальной онтологии Гейдеггера — понимала точку зрения, что „сознание покоится в бытии, что, следовательно, каждый шаг сознания, каждое углубление и обогащение познания по существу является реальным действием, процессом в самом бытии“» (Бинсвангер, 1954: 25–26).

Сам термин «онтологизм» впервые появился у В. Джоберти, а в русской философии получил распространение в 1910-е гг. (Эрн, 1910; Франк, 1915). Им обычно обозначают учения, считающие условием возможности понятийного знания непосредственное (мистическое или интуитивное) знание абсолютного бытия, основанное, в свою очередь, на причастности субъекта этому бытию. Эти учения представлены в платонизме, христианской теологии (Августин, Н. Мальбранш и т. д.), мистике, романтизме, философии всеединства, интуитивизме и т. д. (Historisches Wörterbuch der Philosophie, 1984). В вышеприведенном отрывке Бинсвангер, однако, расширяет понятие онтологизма, прокладывая мост от этих метафизических концепций к хайдеггеровской

¹Используемые Бинсвангером термины «Бытия и времени» мы даем в переводе В.В. Биbihина.

аналитике присутствия. В этом расширительном толковании проводится аналогия между онтологизмом как совпадением процесса познания и бытия (Хайдеггер), с одной стороны, и онтологизмом как совпадением мистического (или интуитивного) познания и укорененности человека в Абсолютном (Франк), с другой. Иными словами, в понятии онтологизма Бинсвангер сближает похоронившую метафизику хайдеггеровскую аналитику присутствия с корпусом метафизических, теологических и мистических учений. Это сближение наглядно демонстрируется в его собственной онтологии и гносеологии, ибо в ней линия хайдеггеровского понимания бытия человека как экстатичности парадоксально соединилась с метафизической (воспринятой от Платона, немецкой мистики от М. Экхарта до Ф. Баадера, а также концепции «непостижимого» Франка) установкой мыслить его укорененным в трансцендентном бытии.

Онтологизм Франка опирается на то, что на вопрос: «что является собственно *бытием*? Как вообще *есть* нечто?» (Франк, 1996: 62), ответ может быть только один: нечто есть лишь на почве Абсолютного. Единство познания и бытия выражается Франком в термине «иметь»: данность нам окружающей действительности в качестве предмета познания обеспечена нашим «имением» реальности, выходящей за пределы действительности, т. е. Абсолютного. Это «имение» совершенно иного рода, чем «данность»; в чувственном опыте реальность нам не дана, в понятиях ее уловить невозможно. Реальность, выходящая за пределы действительности, «имеется» у нас потому, что мы *онтологически* принадлежим к ней. Эта реальность или Абсолютное не дана нам как действительность (предмет), «...мы сами есмь в этом *бытии*, возникаем из него, погружены в него и сознаем себя самих лишь *через его собственное самооткровение в нас*» (Франк, 1990: 265). Мы существуем в ней и поэтому имеем о ней истинное знание, и наоборот, мы знаем себя только через бытие в Абсолютном. Суть нашего бытия в совпадении откровения Абсолютного нам и нашего «имения» его, т. е. трансцендирования к нему. Сознание себя невозможно без выхода за пределы себя к первооснове бытия. Мышление как беседа, «которую душа ведет сама с собою, когда что-нибудь рассматривает» (Платон, Васильева, 1993: 249), возможна только на основе «беседы» с Абсолютным. «Жизнь как *переживание* есть постоянное трансцендирование за границы отдельной жизни, или (что то же) перетекание в то, что лежит за границами единичного существа, а также имманентное в-себе-обладание им» (Франк, Назарова, 2017с: 248). Познание есть трансцендирование к имманентному бесконечному абсолютному бытию,

в котором и существует познающий. В этом трансцендировании человек раскрывается самому себе, становится самым собой, постигает себя как Абсолютное. Онтологизм Франка, следовательно, предполагает трансцендирование к Абсолютному, которое имманентно имеется у человека как его собственное бытие.

Онтологизм Хайдеггера проистекает из понимания человека как экзистенциальности. Человек, по Хайдеггеру, есть существо спрашивающее. Это «... сущее, которое мы сами всегда суть и которое среди прочего обладает бытийной возможностью спрашивания» (Хайдеггер, Бибахин, 2003: 12). Чтобы стать самым собой, человек должен слышать «зов бытия» и откликаться на него (Хайдеггер, 1998: 130):

И таким образом человек, как экзистенциальная трансценденция перемахивая в возможности, есть *существо из дали*. Только через исходные дали, которые он в своей трансценденции создает себе по отношению ко всему сущему, истинная близость к вещам начинает восходить в нём. И только способность слышать даль дает со временем в присутствии (Dasein) как самости пробудиться ответу сопричастия, в событиях с которым оно способно поступиться своим ячеством, чтобы обрести себя как собственную самость.

В спрашивании осуществляется истолкование интенциональности как бытийного, т. е. онтологического, а не познавательного отношения. Этот бытийный характер спрашивания раскрывается в экзистенциалах («бытие-к-смерти», «бытие-в-мире», «страх», «забота» и т. д.). Т. о., Франка и Хайдеггера объединяет понимание человека как трансценденции, существа, спрашивающего и обосновывающего себя.

Принципиальное отличие между ними состоит в том, что у Хайдеггера самообоснование человека происходит через его обращение к собственному бытию; человек является самым собой лишь в *самом* процессе поиска. Поэтому он понимается как проект, историческое время. Хайдеггер не устает напоминать, что присутствие по определению «всегда мое» (Jemeinigkeit), «... оно размыкает себе самому свое собственное бытие» (Хайдеггер, Бибахин, 2003: 70). Присутствие так устроено, что оно не может «отделаться» от себя, перестать быть наедине с собой, т. е. переложить себя на другого; бытие, к которому оно относится, это бытие его самого и никого больше. Спрашивать (или не спрашивать) оно может только себя. «Присутствие понимает себя всегда из своей экзистенции, возможности его самого быть самым собой или не самым собой» (там же: 27). Присутствие обречено на одиночество, у него нет «Другого», а только «другие».

Но для Франка недостаточно быть открытым к собственному бытию для того, чтобы быть. Само наше Я дано нам не как Я, а как Мы. «Феноменологическое исследование показывает, что „я“ вне отношения к „ты“ или, иными словами, без произрастания из недр „мы“ вообще немислимо» (Франк, Назарова, 2017а: 282). И именно Абсолютное «... есть лоно, из которого произрастает и в котором утверждено всякое отношение между „я“ и „ты“» (Франк, 1925: 11). Это отношение таково, что Я впервые рождается из противопоставления себя чужому сознанию, а это чужое сознание впервые рождается из противопоставления ему Я. Нет никакого «моего» и «чужого», нет «внутри» и «снаружи», нет отдельного, замкнутого человека; есть «между», но это «между» находится не в социальном взаимодействии между людьми (Франк, Назарова, 2017b: 294). Мы указывает не на социальность человека, а на устройство его бытия как трансцендирующего к Абсолютному, по слову Гераклита: «Границ души тебе не отыскать, по какому бы пути ты ни пошел: столь глубока ее мера». Т. о., размыкание человека до Мы означает его укорененность в непостижимом, трансцендентном первоосновании.

Особенность подхода Бинсвангера состоит в том, что он вслед за Франком и Хайдеггером понимает человека как трансценденцию, как экзистенциальность, вслед за Франком отождествляет ее с Мы, однако, в отличие от Франка, считает Мы исключительно межчеловеческим. Опираясь на Хайдеггера, Бинсвангер определяет присутствие (*Dasein*) как разомкнутость (*Erschlossenheit*): присутствие «...раскрывается себе самому в самой и в качестве самой способности быть (*Seinkönnen*)» (Binswanger, 1993: 495), оно «несет в своем самом бытии характер незамкнутости (*Unverschlossenheit*)» (*ibid.*: 88). Разомкнутость как раз и означает, что самопознание присутствия осуществляется как его самотрансцендирование, что «каждый шаг сознания» сопровождается процессом «в самом бытии».

Главный вклад Бинсвангера в анализ присутствия состоит в решительном отказе от хайдеггеровской установки понимать присутствие *только* как «всегда мое». Для Бинсвангера «я сам», «всегда мое» является лишь *одним* (и не фундаментальным) из модусов присутствия — модусом *сингулярности*. В качестве «Я есмь» (*Ich bin*) человеческое бытие существует в спрашивании собственного бытия: «Ибо в *вопросах* о тайне моего присутствия, в собственном бытии к основанию бытия в качестве моего, я все больше погружаюсь в *возможности* моего бытия, моя *способность* быть все больше открывается вопрошающему взгляду» (*ibid.*: 433). Этому модусу «всегда мое» Бинсвангер

дает название: «бытие-к-себе-самому и собственное самобытие» (Das Zu-sich-selbst-sein und das eigentliche Selbstsein).

Второй модус связан с бытием в мире (In-der-Welt-sein), с социальным бытием. Его Бинсвангер определяет как модус *плюральности* — модус осуществления социальных ролей, принадлежности к группам, т. е. «совместного бытия (Mitsein) Одного и Другого», т. е. «личности в смысле совместно-мирного обращения или общения» (Die Personalität im Sinne des mit-weltlichen Umgangs oder Verkehrs). Высшее выражение этого модуса, по Бинсвангеру, описано Хайдеггером как «забота».

Однако этими двумя модусами присутствие не исчерпывается. Модусы сингулярности и плюральности возможны лишь потому, что человек обладает гораздо более фундаментальным модусом существования. Бинсвангер определяет этот модус как «любящее бытие друг с другом» (liebende Miteinandersein) Меня и Тебя, «праформу мыйность» (Wirheit). В нем Другой присутствует не в качестве «кого-то», с кем я «имею дело» (как в модусе плюральности), а в качестве любимого Ты. Именно этот модус — модус *дуальности* — и есть «основной антропологический феномен».

Итак, вопреки Хайдеггеру и вслед за М. Бубером, Ф. Эбнером, Ф. Розенцвейгом и Франком Бинсвангер приходит к выводу, что в глубине своего существования человек представляет собой не одиночество (Einsamkeit), а двоечество (Zweisamkeit); смысл его бытия не внутри его, а между ним и Другим. Лишь в дуальном модусе человек, оставаясь самим собой, действительно разомкнут. Глубинный слой человеческого бытия рассматривается как Мы, находящееся «между» Я и Ты, объемлющее их. Бинсвангер, таким образом, создает онтологию любви.

Еще ближе Франку Бинсвангер в своем обосновании гносеологии. По Франку, окружающая действительность или «мир» воспринимается как противостоящее субъекту предметное бытие и познается посредством логических законов как система строго очерченных «определенностей», т. е. понятий, суждений, умозаключений, теорий. Такое знание Франк называет предметным знанием. В нем «... мы пытаемся найти какие-либо фиксируемые в понятиях элементы, которые, имея для нас значение чего-то „само собою понятного“, т. е. уже „знакомого“, делали бы для нас „понятной“, „постижимой“, „привычно-знакомой“ и всю остальную полноту реальности» (Франк, 1990: 189). Иначе говоря, оно осуществляется через сведение нового и неизвестного к старому и известному. Но это понятийное знание возможно только потому, что это предметное, т. е. «мировое бытие укоренено в *сверхвременном бытии* —

в бытии безусловном и, тем самым, во всеобъемлющей *реальности*» (Франк, 1990: 524). В теоретико-познавательном разделе своей книги Бинсвангер делает прямую отсылку к работам Франка: «Здесь мы следуем представлению Семена Франка в Logos-Aufsätzen (Bd. 17 u. 18 [1928/29]) о „познании и бытии“ и статье „Абсолютное“ в „Jahrbuch für die idealistische Philosophie Bd. I [Zürich 1934]“. Из места появления этой статьи не следует заключать о ее принадлежности к философскому идеализму. „Теория познания“ Франка есть и остается фундированной *онтологически*. Только автор ответственен за привлечение ее к области психологического познания» (Binswanger, 1993: 516).

Опираясь на выводы Франка, Бинсвангер различает «познание присутствия» (Daseinerkenntnis) и «предметное познание» (gegenständliche Erkenntnis). Последнее, как и у Франка, является познанием «предметной действительности» (gegenständliche Wirklichkeit) как системы расчлененных «определенностей» (Bestimmtheit), т. е. дискурсивным познанием. В нем нечто познается как предмет, т. е. как «это, в отличие от иного», А в противоположность не-А, или, как выражается Бинсвангер, как нечто определенное «с точки зрения». «Предметное познание опирается на когнитивное *принятие за нечто* и мыслительную *обработку нечто*» (ibid.: 519). Соответственно, и познание Другого «с точки зрения» — это познание «нечто в качестве нечто» (ibid.: 452), принятие Другого за «предмет» ради использования в конкретных целях. Другой в таком познании есть для нас тот, с кем мы имеем дело, о ком заботимся, кого используем как наемного работника, подчиненного, коллегу, начальника и т. д. Это отношение определяется Бинсвангером как захватывание его в качестве «добычи», присвоение, и т. д., соответствующее хайдеггеровским «заботе» и «подручности». Именно в такой форме осуществляется познание человека в его бытии в сингулярном и плюральном модусах: как внешний, обособленный предмет.

Но всякое А, по Бинсвангеру, в действительности может быть познано только на фоне всеохватывающей целостности, выходящей за пределы противоположности А и не-А (ibid.: 516). Этой целостностью у Бинсвангера выступает дуальный модус бытия — «мыйность» (Wirheit) или любовь. Познание Ты как определенности возможно, поскольку Ты, существующее на почве Мы, есть «всеохватывающее единство всех *возможных* Ты-определенностей» (ibid.: 517). Конкретное Ты познается как воплощение Ты-вообще, идеала, высшего. Но признание в конкретном Ты воплощения Ты-вообще, осуществления идеального бытия есть

не что иное, как любовь. Т. о., истинное познание — это любовь как процесс взаимного изменения Ты и Я, подлинное «познание присутствия» (*Daseinerkenntnis*) как «определенный вид *бытийного* отношения (Шеллер), или, лучше сказать, „бытийный вид бытия-в-мире“ (Хайдеггер) и — как мы должны подчеркнуть — бытия-за-пределами-мира» (Binswanger, 1993: 456). Это — познание присутствия как сверхмирного бытия. Познание присутствия совпадает с возникновением, развитием любви и с самой любовью. Оно понимается Бинсвангером как формирование образа («образование» (*Bildung*)), сопровождаемое взаимным «воображением» (*Ein-bildung*), взаимным изменением и «превращением» (*Verwandlung*) «обычных» Я и Ты в любящих. Превращение двух людей в любящих Бинсвангер описывает при помощи гетевского понятия метаморфоза или «изменения формы» (*Gestaltwandel*) (*ibid.*: 566). Такое познание имеет и форму научного знания — психологии. Определение этого знания таково: «Итак, „реальным“ субъектом психологического познания, а именно психологического познания реализующегося субъекта, я являюсь только как со-созидатель или со-оформитель психологических форм в смысле двойного бесконечного (любяще-заботящегося) психологического образования (*Bildung*) или оформления» (*ibid.*: 616). Психология есть познание присутствия столь же адекватное, как и сама любовь. Познание присутствия, т. о., описывается как познание человеческого бытия в качестве запредельного его замкнутому «всегда мое» и его социальному «бытию-в-мире». Это познание присутствия как имманентно-трансцендентного Мы.

Реальность Мы оказывается у Бинсвангера антиномичной: она переживается как трансцендентное, высшее, чем «всегда мое», и как имманентное «наше», общее, соборное бытие. Одновременная трансцендентность и имманентность сближает ее восприятие с мистическим опытом, поэтому неудивительно, что Бинсвангер обращается к образам и понятиям мистики, заимствованным из неоплатонизма, немецкой мистики и у Франка.

1. *Почва (Grund)*. Франк, говоря о превосходящей любые определения и любые противоположности непостижимой первооснове бытия, описать которую можно лишь в рамках «антиномистического монодуализма» (Франк, 1990: 315) использует образ «почвы». Бинсвангер также определяет любовь как трансцендирование к «Grund» (основание, основа, почва) (Binswanger, 1993: 434–435):

«Основание» не может быть другим здесь и там, оно не есть тождественный с собой и отделенный от других предметов «предмет», ибо оно стоит в качестве тайны присутствия как по ту сторону категориальной определенности или определенности, так и по ту сторону категорий тождества и инаковости, утверждения и отрицания; поэтому оно должно быть единым, хотя не в смысле единственного числа, а в смысле все-единства (All-einheit).

Определение «основания» как всеединства сопровождается Бинсвангером прямой отсылкой к «Предмету знания» Франка, а также упоминанием: «...я также очень благодарен еще неопубликованному сочинению этого автора, озаглавленному „Непостижимое“» (Binswanger, 1993: 435).

2. *Избыток (Überschwang), Сверх (Über)*. Франк характеризует первооснову как «... избыточествующее, переливающееся через край и в этом смысле творчески *безусловное бытие*» (Франк, 1990: 279). Аналогично Бинсвангер характеризует любовь как «Überschwang» (избыток, изобилие) бытия: «... любовь сверхрациональна или метаэтична, а также сверхнравственна и метаэтична. Ее полнота (plénitude) означает не логическую *противоположность* детерминированности (а также расплывчатости и неопределенности) и не этическую *противоположность* нравственности, следовательно, безнравственность, скорее, она стоит над ними или по ту сторону этих противоположностей, эти противоположности не имеют для нее никакого смысла» (Binswanger, 1993: 159–160). Модус любви выходит за пределы «совместно-мирных» отношений, или, как определяет Бинсвангер, является «бытием-за-пределами-мира» (Über-die-Welt-hinaus-sein). Это непостижимая тайна бытия человека, открывающаяся ему одновременно как имманентное, в собственной жизни, и как трансцендентное «Сверх» (Über). «Это Сверх нужно понимать онтологически, т. е. как некую разомкнутость присутствия в качестве заботы *превосходящую* или *трансцендирующую, разомкнутость*» (ibid.: 87).

3. *Родина (Heimat)*. Для описания реальности «Ты» Франк использует образ «родины» как реальности вне меня самого, но мне тождественной (Франк, 1990: 366). Вслед за Франком, к этому образу не раз прибегает и Бинсвангер (Binswanger, 1993: 62):

Любящие находятся *дома повсюду и нигде*, т. е. что любящее бытие-друг-с-другом «не связано ни с каким (определенным) местом (в мире озабочения)». Пространство, которое они здесь *себе* взаимно производят, есть их *родина (Heimat)*.

4. *Длительность (Dauer), вечное время (ewige Zeit)*. Бинсвангер отвергает хайдеггеровскую характеристику разомкнутости как временности в смысле «заботы» и историчности. Любовь самим своим существованием опровергает конечность и временность человеческого бытия. О любви речь идет там, где любящий идет за любимым не только до «ворот преисподней», но сохраняет присутствие как «бытие-Мы» (Wirsein) с любимым и за пределами смерти (Binswanger, 1993: 26). Решительно отвергая понимание присутствия из конечности (смерти, страха и вины), Бинсвангер фактически характеризует дуальный модус как бесконечное, а, следовательно, сверхвременное бытие. Стремясь найти соответствующий термин для характеристики присутствия как вечного, но не тождественного «потусторонней вечности», а сохраняющего изменчивость, Бинсвангер вводит понятие «длительности» или «вечного времени». «Длительность» любящего бытия-друг-с-другом не имеет отношения к христианской идее вечной загробной жизни, или, как говорит Бинсвангер, к «религиозной мистике и догматике потустороннего» (ibid.: 28), она осуществляется лишь во взаимном бытии друг в друге. Тем не менее, любовь у Бинсвангера обнаруживает свою сверхвременность.

5. *Совпадение конкретного Ты и всеобщего Ты*. В духе индийской мистики познание присутствия описывается Бинсвангером как воображение «сущностной формы Ты», т. е. «Ты вообще» в конкретном Ты. Это познание постигает «нераздельное единство Ты-вообще и Ты» (ibid.: 586). В этом познании и «Я являюсь любящим Я только в совпадении Моего как этого конкретного Я и Моего как любящего Я-вообще» (ibid.: 587). Определяющим в этом познании является то, что в «конкретном Ты» оно видит «всеобщее Ты». В познании присутствия любящие познают друг в друге высшее, в индивидуальном — общее. Такое познание общего в образе индивидуального и одновременное постижение индивидуального как общего было бы невозможно, если бы все «части» индивидуального уже не были связаны с общим, т. е. «целым», если бы целое не проникало во все части особенного. Одним словом, если бы познаваемое не выступало как «образ» (Gestalt). Любимый, Ты — воплощение индивидуального во всеобщем. Это воображение всеобщего в индивидуальном раскрывает Ты как Абсолютное (ibid.: 517):

Что Ты в качестве этого определенного Ты оказываешься в совпадении с *Тыиностью* (Duhaftigkeit) *вообще* для Меня «Абсолютным», именно в этом совпадении Тебя (Нас) и абсолютной Тыиности и Мыйности лежит сущность

способности воображения или *imaginatio* и ее отличия («ограниченности») от философского познания, которое знает *об Абсолютном, о Едином, о бытии* и т. д. и мыслит *все* определенное как развивающееся из него.

6. *Познание как уподобление познающего познаемому.* Поскольку познание присутствия Бинсвангер предельно сближает с метафизическим представлением о непосредственности познания Абсолютного, он прямо сравнивает свою теорию познания с описанным Плотинем восхождением души, при котором душа уподобляется Единому (Binswanger, 1993: 184); с определением познания как уподобления познающего познаемому у М. Экхарта (*ibid.*: 358) и Я. Беме (*ibid.*: 373), а также с кузанистским определением мистического познания как «знания незнания» (*Wissen vom Nichtwissen*) (*ibid.*: 431).

7. *Немота (Sprachlosigkeit).* Знание Абсолютного уподобляется Франком «*немому, молчаливому несказанному знанию*» (Франк, 1990: 231). Бинсвангер, со ссылкой на Беме, также называет молчание священным, божественным языком (Binswanger, 1993: 181):

Прежде всякой языковой артикуляции, прежде всякой «раздельности говорения» (*Schiedlichkeit des Sprechens*) любящая мыйность есть молчащее, вне времени и судьбы *погружение, рассмотрение, соприкосновение, ощущение; «созерцание», «бездна рассмотрения», безмолвие* — все это только особые выражения для *одного бытия встречи.*

«Мыйность любви» есть «неартикулированная, нерасчлененная [...] полнота, следовательно, *немота (Sprachlosigkeit)*» (*ibid.*: 179), которая в обычном языке дискурсивно расчленяется на отдельные единицы. Язык относится к этому молчанию как предметное познание к познанию присутствия.

Концепция Бинсвангера оставляет впечатление антиномичной. Обилие мистических образов, равно как и непосредственные ссылки на мистические учения не означают готовности идти за Франком и другими мистиками до конца и признать себя метафизиком или мистиком. Несмотря на разнообразную мистическую образность, Бинсвангер отказывается отождествлять модус дуальности с Абсолютным как первоначалом всего сущего, запредельным относительно бытию. Возврат к метафизике невозможен (*ibid.*: 356), поэтому «От Абсолютного как мета-логического, т. е. лежащего позади всякой логической возможности определенности, следовательно, от чисто *металогического* основания познания, что должно быть сказано в *противоположность* Семену Франку, не ведет никакой путь к Ты, ибо Ты *есть* только как любимая

или любимый, как жена, сын, дочь, отец, мать, как — равный — друг или „превосходящий“ гений» (Binswanger, 1993: 517–518). Говорить об «Абсолютном» можно только как о самой человеческой любви. Метафизика отвергается Бинсвангером за свою «предвзятость», за то, что она заранее набрасывает определенный «пра-феномен» человека, создает его мифический образ или идею (ibid.: 568–569). Поэтому бинсвангеровский «избыток», «сверх», несмотря на все свои мистические коннотации — это сама «разомкнутость», сама трансценденция, не выходящая за пределы человеческого бытия. Основной модус бытия человека находится не в «трансцендентном», а в самом «трансцендировании» (ibid.: 365), т. е. экстатичности. Поэтому Бинсвангер решительно утверждает, что любовь как основной модус бытия человека делает христианство возможным, а не наоборот. «Только *поскольку* присутствие „первоначально“ может быть в качестве любви, возможны христианская религия и философия религии, Бог способен *открывать* себя в качестве Бога любви человеку „в мире“» (ibid.: 114). Любовь как непосредственное созерцание Бога в неоплатонизме или любовь к личному Богу в христианстве — все эти учения, по Бинсвангеру, возможны, поскольку само присутствие глубже, чем только «единство», «одно», «самость», оно коренится в «дуальном Мы» (ibid.: 134–135).

Бинсвангер стремится истолковать «разомкнутость» присутствия в духе *религиозной* философии диалога, но при этом подчеркивает, что философские и религиозные способы обоснования любви основаны лишь на изначальности самого модуса присутствия как любви. Отрицание метафизической реальности Мы при одновременном требовании переживать Мы как бытие высшее, чем «всегда мое» приводит Бинсвангера к антиномии. Если самость коренится в дуальном Мы, но это Мы не выходит за пределы самости, то Мы не обладает самостоятельной реальностью. Очевидно, что Бинсвангер находится между Сциллой понимания Мы как метафизической реальности и Харибдой остаться вовсе без Мы.

Первичность Ты не мешает Бинсвангеру признавать в Мы нечто вроде сверхличного единства, «соборного» сознания (и бытия). Это подтверждается его концепцией познания как воображения всеобщего в индивидуальном. Но это отождествление всеобщего и индивидуального противоречит установке философии диалога на признание их несводимости друг к другу. Критика этой позиции ярче всего была выражена у Ф. Розенцвейга, считавшего, что человека необходимо полностью вывести из «всеобщего» (Rosenzweig, 2002: 11). Признанием относительной полноценности модуса сингулярности позиция Бинсвангера отличается от установки философии

диалога считать замкнутое бытие человека неподлинным и не отражающим специфики человеческого бытия (Евнер, 1921: 177).

Постоянно колеблясь в выборе между хайдеггеровским человеком как «проектом» и франковским человеком как укорененном в Абсолютном, Бинсвангер остается, все же, на стороне Хайдеггера. Человек у Бинсвангера — «самовозрастающий эрос», имеющий родину в самом себе, хотя и не в одиночестве, а в «двоечестве» с Ты. «Тайна» бытия человека — это тайна эротической любви, воображающей в каждом «тыйность» как таковую. И все же Бинсвангер не превращает теологию в антропологию, подобно Фейербаху, а напротив, считает, что антропология может открыть и открывает путь к Богу. При этом сам Бинсвангер лишь стоит на пороге этой открытой двери, не переступая границы. Можно утверждать, что описанная трансформация дазайн-аналитики Хайдеггера в истолкование любви как основного феномена присутствия вряд ли бы состоялась, не познакомься Бинсвангер с Франком.

Источники

- Франк С. Л.* Письма к Л. Бинсвангеру / пер. с нем. А. Б. Григорьева // Непрочитанное...: статьи, письма, воспоминания / сост. А. А. Гапоненкова, Ю. П. Сенокосова. — М.: Московская школа политических исследований, 2001. — С. 334–346.
- Четыре письма из переписки Л. Бинсвангер—С. Франк / пер. с нем. А. Вальшиной, А. Ферстера // Логос. — 1992. — № 3. — С. 264–268.
- Briefwechsel zwischen Simon L. Frank und Ludwig Binswanger (1934–1938) // Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte. — 2013. — Jg. 17, Nr. 2. — S. 165–187.
- Briefwechsel zwischen Simon L. Frank und Ludwig Binswanger (1938–1941) // Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte. — 2014. — Jg. 18, Nr. 1. — S. 297–330.
- Briefwechsel zwischen Simon L. Frank und Ludwig Binswanger (1941–1945) // Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte. — 2014. — Jg. 18, Nr. 2. — S. 145–193.
- Briefwechsel zwischen Simon L. Frank und Ludwig Binswanger (1945–1950) // Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte. — 2015. — Jg. 19, Nr. 1. — S. 167–217.

ЛИТЕРАТУРА

- Ахутин А. В.* София и черт (Кант перед лицом русской религиозной метафизики) // Вопросы философии. — 1990. — № 1. — С. 51–69.
- Бинсвангер Л.* Воспоминания о Семене Людвиговиче Франке // Сборник памяти Семена Людвиговича Франка. — Мюнхен, 1954. — С. 24–39.
- Буббайер Ф. С. Л.* Франк: Жизнь и творчество русского философа. — М.: РОССПЭН, 2001.

- Булгаков С. Н.* Человечность против человекобожия : Историческое оправдание англо-русского сближения // Русская Мысль. — 1917. — № 5/6. — С. 1–32.
- Платон.* Теэтет / пер. с древнегреч. Т. В. Васильевой // Собрание сочинений. В 4 т. Т. 2 / под ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи. — М. : Мысль, 1993. — С. 192–274.
- Плотников Н. С.* С. Л. Франк о М. Хайдеггере. К истории восприятия Хайдеггера в русской мысли // Вопросы философии. — 1995. — № 9. — С. 169–185.
- Резвых Т. Н., Аляев Г. Е.* От непостижимого к познанию человеческого бытия : заметки С. Л. Франка на полях книги Л. Бинсвангера // Философические письма : Русско-европейский диалог. — 2020. — Т. 3, № 1. — С. 106–120. — DOI: 10.17323/2658-5413-2020-3-1-106-120.
- Франк С. Л.* Русская книга о Фихте // Русская Мысль. — 1915. — № 5. — С. 31–35.
- Франк С. Л.* Религиозные основы общественности // Путь. — 1925. — № 1. — С. 9–30.
- Франк С. Л.* Непостижимое : Онтологическое введение в философию религии // Сочинения / под ред. Ю. М. Сенокосова. — М. : Правда, 1990. — С. 183–555.
- Франк С. Л.* Абсолютное / пер. с нем. А. Власкина, А. Ермичева // Русское мировоззрение. — СПб. : Наука, 1996. — С. 58–72.
- Франк С. Л.* О метафизике души (О проблеме философской антропологии) (1929) / пер. с нем. О. Назаровой // Исследования по истории русской мысли [13]: Ежегодник за 2016–2017 гг. / под ред. М. А. Колерова. — М. : Модест Колеров, 2017а. — С. 252–283.
- Франк С. Л.* О феноменологии общественного явления (1928) / пер. с нем. О. Назаровой // Исследования по истории русской мысли [13]: Ежегодник за 2016–2017 гг. / под ред. М. А. Колерова. — М. : Модест Колеров, 2017б. — С. 284–309.
- Франк С. Л.* Познание и бытие. 2. Металогические основы понятийного знания (1929) / пер. с нем. О. Назаровой // Исследования по истории русской мысли [13]: Ежегодник за 2016–2017 гг. / под ред. М. А. Колерова. — М. : Модест Колеров, 2017с. — С. 211–251.
- Хайдеггер М.* О существе основания / пер. с нем. В. В. Бибихина // Философия : Сборник трудов Самарской гуманитарной академии. Т. 5 / под ред. Н. Ю. Ворониной. — Самара : СаГА, 1998. — С. 78–130.
- Хайдеггер М.* Бытие и время / пер. с нем. В. В. Бибихина. — Харьков : Фолио, 2003.
- Цыганков А. С., Оболевич Т.* «Германия уже стала для меня моей второй родиной» : жизненный и творческий путь С. Л. Франка в переписке с Ф. Хайлером et circum // Историко-философский ежегодник. — 2018а. — Т. 33. — С. 293–313. — DOI: 10.21267/AQUILO.2018.33.21040.
- Цыганков А. С., Оболевич Т.* История семьи и творчества С. Л. Франка в переписке Л. Бинсвангера и Т. С. Франк // Философия : Журнал Высшей

школы экономики. — 2018b. — Т. 2, № 2. — С. 134–155. — DOI: 10.17323/2587-8719-2018-II-2-134-155.

Эрих В. Ф. Нечто о Логосе, русской философии и научности // Московский еженедельник. — 1910. — № 29. — С. 31–40.

Binswanger L. Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins // Ausgewählte Werke. Bd. 2 / hrsg. von M. Herzog, B. H. J. — Heidelberg : Roland Asanger, 1993.

Ebner F. Das Wort und die geistigen Realitäten : Pneumatologische Fragmente. — Innsbruck : Brenner, 1921.

Rosenzweig F. Der Stern der Erlösung. — Freiburg im Breisgau : Universitätsbibliothek, 2002.

Rezvykh, T. N., and G. Ye. Alyayev. 2020. “Lyudvig Binswanger: mezhdru metafizikoy S. L. Franka i analitikoy prisut-stviya M. Khaydeggera [Ludwig Binswanger: Between the Metaphysics of Simon L. Frank and Martin Heidegger’s Analytics of Dasein]” [in Russian]. *Filosofiya. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki* [Philosophy. Journal of the Higher School of Economics] IV (2), 308–325.

ТАТ’ЯНА РЕЗВЫКХ

PHD IN PHILOSOPHY;

ASSOCIATE PROFESSOR AT THE SAINT TIKHON’S ORTHODOX UNIVERSITY OF HUMANITIES, MOSCOW

ГЕННАДИЙ АЛЫАЕВ

DOCTOR OF LETTERS IN PHILOSOPHY;

PROFESSOR AT THE DNIPRO POLYTECHNIC NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY, DNIPRO (UKRAINE)

LUDWIG BINSWANGER: BETWEEN THE METAPHYSICS OF SIMON L. FRANK AND MARTIN HEIDEGGER’S ANALYTICS OF DASEIN

Submitted: Apr. 10, 2020. Accepted: Apr. 18, 2020.

Abstract: The paper focuses on ontology and epistemology of the founder of Da-sein analysis Ludwig Binswanger. There are two conceptions which contributed immensely to the Binswanger’s analysis: Heidegger’s understanding of human being as disclosedness of being; and the philosophy of dialogue, as far as it is orientated to consider the true being, not as a self-closed and self-isolated the Self (Ego), but the transcendently-immanent being of “We”, to which Simon Frank’s ontology also belongs. It is analyzed how Binswanger transforms Heideggerian set on Da-sein as “always *mine*” to acknowledge the dual being of We or love as the basic anthropological phenomenon. Concerning Frank, the comparative analysis finds its foundation in Binswanger’s own multiple admissions of his solidarity with Frank that have been uttered by him in his memories, correspondence, and the book “Basic Forms and the Knowledge of Human Presence”. It is examined the common positions of Binswanger’s and Frank’s ontology that come from the common set on “ontologism”, which conditions the possibility of notional (conceptual) knowledge with the immediate knowledge of absolute being, founded on belonging of the subject to this being. It is analyzed specifics of Binswangerian ontologism, expressed in his understanding of the being of We or love as a coincidence of being and knowledge. The paper analyses the motives of love as absolute being, mystical images and concepts,

used by Binswanger. All these images and concepts he borrows directly from Neo-Platonism, German mystics, and Frank's works. The paper also traces a number of parallels between Binswanger's and Frank's theories of knowledge. By this, we mean two orders of knowledge: the notional knowledge and the knowledge of Da-sein as the metalogical foundation of the former. The paper's conclusions deal with the analysis of antinomies in Binswanger's conception. The conception, on the one hand, tends to narrow of differences between the being We with Absolute being, knowledge of Da-sein as love with mystical knowledge of the Absolute, as on the other hand, it is an effort to think about being of We as a merely human being.

Keywords: Absolute Being, Ontologism, Da-sein, Disclosedness, Transcending, Dual Mode, Love, Dialogue, Mystics.

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-2-308-325.

REFERENCES

- Akhutin, A. V. 1990. "Sofiya i chert (Kant pered litsom russkoy religioznoy metafiziki) [Sofia and Devil (Kant in the Face of Russian Religious Metaphysics)]" [in Russian]. *Voprosy filosofii [Question of Philosophy]*, no. 1: 51–69.
- Binswanger, L. [Binswanger, L.] 1954. "Vospominaniya o Semene Lyudvigoviche Franke [Memories of Semyon Lyudvigovich Frank]" [in Russian]. In *Sbornik pamyati Semena Lyudvigovicha Franka [Studies in Honour of Semyon Lyudvigovich Frank]*, 24–39. Myunkhen.
- Binswanger, L. 1993. "Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins" [in German]. In *Ausgewählte Werke*, ed. by M. Herzog and Braun H. J., vol. 2. Heidelberg: Roland Asanger.
- "Briefwechsel zwischen Simon L. Frank und Ludwig Binswanger (1934–1938)." 2013 [in German]. *Forum für osteuropäische Ideen-und Zeitgeschichte* 17 (2): 165–187.
- "Briefwechsel zwischen Simon L. Frank und Ludwig Binswanger (1938–1941)." 2014 [in German]. *Forum für osteuropäische Ideen-und Zeitgeschichte* 18 (1): 297–330.
- "Briefwechsel zwischen Simon L. Frank und Ludwig Binswanger (1941–1945)." 2014 [in German]. *Forum für osteuropäische Ideen-und Zeitgeschichte* 18 (2): 145–193.
- "Briefwechsel zwischen Simon L. Frank und Ludwig Binswanger (1945–1950)." 2015 [in German]. *Forum für osteuropäische Ideen-und Zeitgeschichte* 19 (1): 167–217.
- Bubbayer, F. [Bubbayer, F.] 2001. *S. L. Frank: Zhizn' i tvorchestvo russkogo filozofa [Life and Work of the Russian Philosopher]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: ROSSP·EN.
- Bulgakov, S. N. [Bulgakov, S. N.] 1917. "Chelovechnost' protiv chelovekobozhiya [Humanity versus Humangodness]: Istoricheskoye opravdaniye anglo-russkogo sblizheniya [Historical Justification for Anglo-Russian Rapprochement]" [in Russian]. *Russkaya Mysl' [Russian Thought]*, nos. 5–6: 1–32.
- "Chetyre pis'ma iz perepiski L. Binswanger — S. Frank [Four Letters from the Correspondence between Binswanger and Frank]." 1992 [in Russian], trans. from the German by A. Val'shina and A. Ferster. *Logos*, no. 3: 264–268.
- Ebner, F. 1921. *Das Wort und die geistigen Realitäten: Pneumatologische Fragmente* [in German]. Innsbruck: Brenner.
- Ern, V. F. 1910. "Nechto o Logose, russkoy filosofii i nachnosti [Something about Logos, Russian Philosophy and Scholarship]" [in Russian]. *Moskovskiy yezhenedel'nik [Moscow Weekly Newspaper]*, no. 29: 31–40.
- Frank, S. L. 2001. "Pis'ma k L. Binswangeru [Letters to L. Binswanger]" [in Russian]. In *Neprochitannoye...: stat'i, pis'ma, vospominaniya [Unread: Articles, Letters, Memories]*, comp. A. A. Gaponenkov and Yu. P. Senokosov, trans. from the German by A. B. Grigor'yev, 334–346. Moskva [Moscow]: Moskovskaya shkola politicheskikh issledovaniy.

- Frank, S. L. [Frank, S. L.] 1915. "Russkaya kniga o Fikhte [Russian Book about Fichte]" [in Russian]. *Russkaya Mysl' [Russian Thought]*, no. 5: 31–35.
- . 1925. "Religioznye osnovy obshchestvennosti [Religious Foundations of the Community]" [in Russian]. *Put' [The Path]*, no. 1: 9–30.
- . 1990. "Nepostizhimoye [Unfathomable]: Ontologicheskoye vvedeniye v filosofiyu religii [Ontological Introduction to Philosophy of Religion]" [in Russian]. In *Sochineniya [Essays]*, ed. by Yu. M. Senokosov, 183–555. Moskva [Moscow]: Pravda.
- . 1996. "Absolyutnoye [Absolut]" [in Russian]. In *Russkoye mirovozzreniye [Russian Mentality]*, trans. from the German by A. Vlaskin and A. Yermichev, 58–72. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Nauka.
- . 2017a. "O fenomenologii obshchestvennogo yavleniya (1928) [On the Phenomenology of Social Phenomena (1928)]" [in Russian]. In Kolerov 2017, 284–309.
- . 2017b. "O metafizike dushi (O probleme filosofskoy antropologii) (1929) [On the Metaphysics of the Soul (On the Problem of Philosophical Anthropology) (1929)]" [in Russian]. In Kolerov 2017, 252–283.
- . 2017c. "Poznaniye i bytiye. 2. Metalogicheskiye osnovy ponyatiynogo znaniya (1929) [Knowledge and Being. 2. Metalogical Foundations of Conceptual Knowledge (1929)]" [in Russian]. In Kolerov 2017, 211–251.
- Khaydegger, M. [Heidegger, M.] 1998. "O sushchestve osnovaniya [Vom Wesen des Grundes]" [in Russian]. In *Filosofiya [Philosophy] : Sbornik trudov Samarskoy gumanitarnoy akademii [Proceedings of the Samara Humanitarian Academy]*, ed. by N. Yu. Voronina, trans. from the German by V. V. Bibikhin, 5:78–130. Samara: SaGA.
- . 2003. *Bytiye i vremya [Sein und Zeit]* [in Russian]. Trans. from the German by V. V. Bibikhin. Khar'kov: Folio.
- Plato. 1993. "Teetet [Theaetetus]" [in Russian]. In vol. 2 of *Sobraniye sochineniy [Collected Works]*, by Platon [Plato], ed. by A. F. Losev, V. F. Asmus, and A. A. Takho-Godi, trans. from the Ancient Greek by T. V. Vasil'yeva, 192–274. 4 vols. Moskva [Moscow]: Mysl'.
- Plotnikov, N. S. 1995. "S. L. Frank o M. Khaydeggere. K istorii vospriyatiya Khaydeggera v russkoy mysli [S. L. Frank about M. Heidegger. To the History of the Perception of Heidegger in the Russian Thought]" [in Russian]. *Voprosy filosofii [Voprosy Filosofii]*, no. 9: 169–185.
- Rezvykh, T. N., and G. Ye. Alyayev. 2020. "Ot nepostizhimogo k poznaniyu chelovecheskogo bytiya [From the Unfathomable to Realization of Human Existence]: zametki S. L. Franka na polyakh knigi L. Binsvanger [S. Frank's Marginalia in the L. Binswanger's Book]" [in Russian]. *Filosoficheskiye pis'ma [Philosophical Letters]: Russko-yeuropeyskiy dialog [Russian-European Dialogue]* 3 (1): 106–120. doi:10.17323/2658-5413-2020-3-1-106-120.
- Rosenzweig, F. 2002. *Der Stern der Erlösung* [in German]. Freiburg im Breisgau: Universitätsbibliothek.
- Tsygankov, A. S., and T. Obolevich. 2018a. "'Germaniya uzhe stala dlya menya moyey vtoroy rodinoy' ['Germany Has Already Become My Second Homeland for Me']: zhiznennyi i tvorcheskii put' S. L. Franka v perepiske s F. Khaylerom et circum [Life and Creativity of S. L. Frank in Correspondence with F. Heiler et circum]" [in Russian]. *Istoriko-filosofskiy yezhegodnik [History of Philosophy Yearbook]* 33:293–313. doi:10.21267/AQUILO.2018.33.21040.
- . 2018b. "Istoriya sem'i i tvorchestva S. L. Franka v perepiske L. Binsvanger i T. S. Frank [Semyon L. Frank's Life and Writings in the Correspondence Between Ludwig Binswanger and Tatyana S. Frank]" [in Russian]. *Filosofiya [Philosophy]: Zhurnal Vyshey shkoly ekonomiki [Journal of the Higher School of Economics]* 2 (2): 134–155. doi:10.17323/2587-8719-2018-11-2-134-155.

